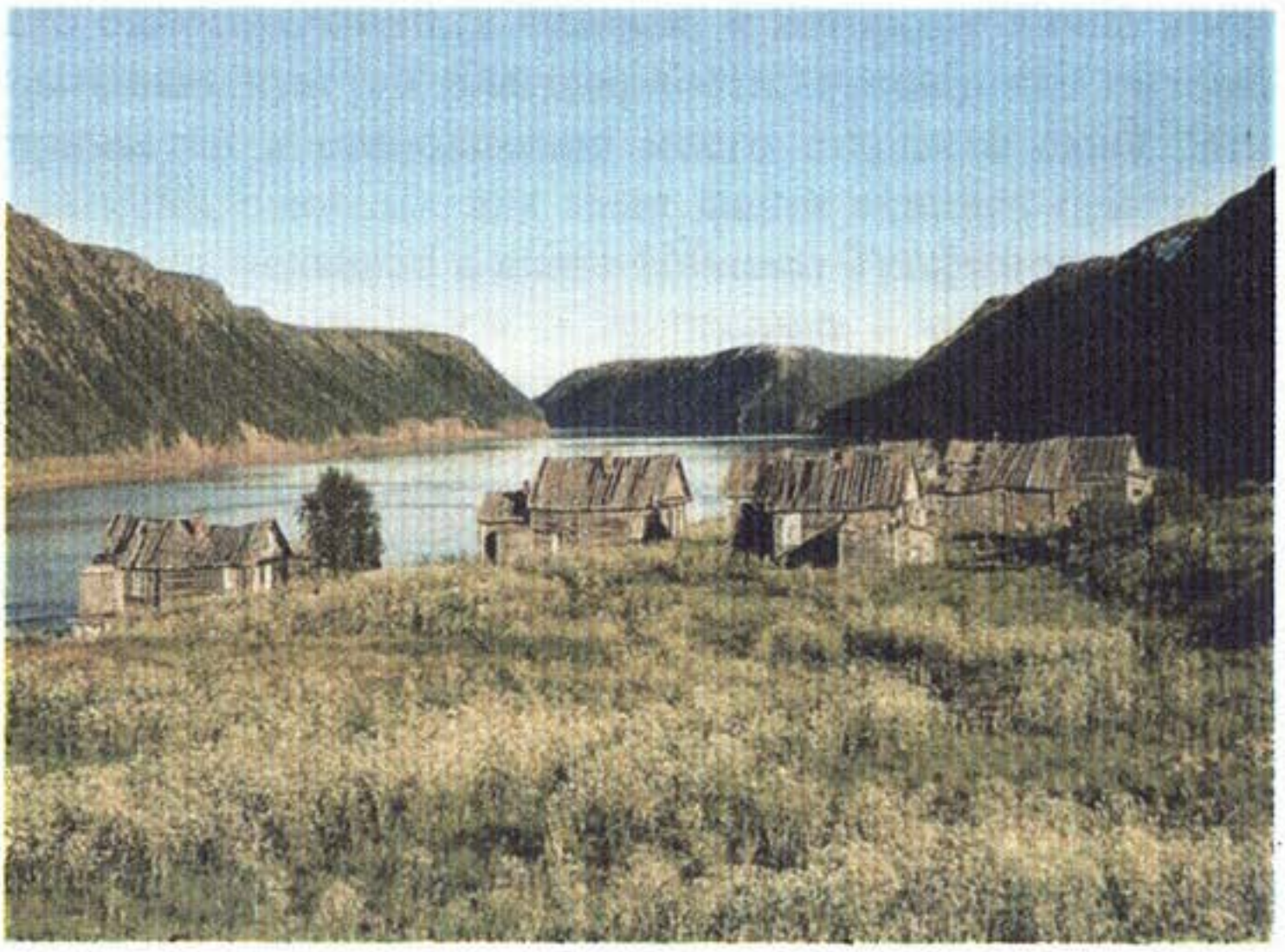
Николай Устинов

Поной — городок, Москвы уголок

Мурманск
2017

Николай Устинов

Поной-городок, Москвы уголок



Николай Устинов
Поной-городок, Москвы уголок

WWW.DARIKNIGI.RU, 2017. – 294 с.

Подписано в печать 16.06.2017. Формат 135 х 205 мм.
Твердый переплет. Тираж 200 экз. Заказ № 102644.

Отзывы читателей о книге

Прочитав книгу Н.Т.Устинова «Поной-городок, Москвы уголок», не могу не поделиться своими впечатлениями. Хотя в Поное прошли лишь первые четыре года моей жизни, воспоминания об этом уголке земли, впечатления о той жизни, чувство единения с родиной предков живы во мне и в членах моего немаленького рода. Сам Николай Трофимович для меня не просто односельчанин, а человек, к которому лично я испытываю чувство благодарности, потому что он был причастен к становлению моего старшего сына. Эти два немаловажных для меня факта явились причиной того, что, услышав о книге Николая Трофимовича, я не могла не обратиться к её прочтению, а читая, ощущала себя именно собеседником: будто сижу с ним рядом, за столом, и участвую в беседе, погружаясь в воспоминания о родном селе, о людях, близких, родных, знакомых и о тех, кого уже не застала в жизни. Воображение уносит в места, сохранившиеся в памяти: «седые выветренные скалы с врезанными в камень морщинистыми ликами», река, «устремляющаяся в коридор скалистых берегов», мостки через всё село, «прорубь на реке», дизельная (там работал отец).

О Поное, о понойчанах я узнавала из рассказов родителей, сестёр, братьев, книга же приоткрыла мне новые стороны жизни: сенокос, работа на тоне в бывшем колхозе «Север», дровосечка, зверобой, избомытье, ларёк в бывшем филимоновском доме, а ещё люди, самозабвенно любившие своё село, работающие на его благо и процветание, жившие ради детей своих и не задумывавшиеся о том, какая горькая участь постигнет их родной уголок.

Есть в книге отдельные места, особенно дорогие моему сердцу. Это строки о моём отце, Совкине Иване Фёдоровиче. Николай Трофимович на страницах своей

книги выразил ему признательность и благодарность. К сожалению, мои дети не застали деда живым, он ушёл из жизни задолго до их рождения. Но мне видится знаковым, что именно Николай Трофимович, работая в ПУ-26, стал мастером группы, в которой учился мой старший сын, и обучил его премудростям, полученным когда-то от моего отца. Будто невидимую связующую нить протянул от деда к внуку.

Хочется отметить подмеченную не только мной, но и многими, с кем посчастливилось обсуждать книгу, особенность, самобытность писательского слога Николая Трофимовича. Восхищают оригинальные описательные обороты, меткие выражения, неизбитые сравнения и метафоры. Особенно, на мой взгляд, автору удались описания природы. Отдельные куски текста я перечитывала с наслаждением, выписывала их и зачитывала своим ученикам.

Книга о Поное не была бы правдивой, обойдись автор без поморского диалекта. Поморские словечки, звучащие со страниц книги, словно окунают в атмосферу села. Часть этих слов, ничтожно маленькая, была известна и мне: моя мама часто употребляет поморские слова, знает немало пословиц, понойских приговорок. Книга же Николая Трофимовича может стать пособием для желающих изучить разнообразие поморских слов.

А главное, эта книга – рукотворный памятник селу Поной, его истории, которая продолжается в людях, крепко связанных чувством любви к своей малой родине.

Н. Куроптева

Перед тобой, читатель, книга, которую можно было бы назвать книгой-мозаикой: так причудливо в ней слиты в один узор разноцветные воспоминания о детстве, о матери, о родном селе, которое превращается в заброшенный островок жизни, в который так хочется вернуться автору, Николаю Устинову.

Поной – это поселение поморов, которые «жили в ладу с землей и с морем», строили своими руками дома на берегу строптивой речки, ловили рыбу, держали скотину, обустраивали нехитрый быт.

Автор вспоминает, как тяжело трудились деревенские мужики, называя их по именам, вспоминая тех, кто передавал подросткам, среди которых был и он, Коля Устинов, навыки управления карбасом, выхода в море на ловлю семги.

Поэтичны воспоминания детства о цветущем багульнике, подступающем по сопкам к деревне, желанной домашней баньке, которая дарила не просто чистоту, а «благостный покой». Любовью проникнуты строки, посвященные матери.

В любом времени года автор находит необычайную привлекательность.

В очерках, написанных в разное время, Николай Устинов представил настолько свежие, лишенные шаблона описания природы, что хочется их перечитывать снова и снова.

Чего стоят такие примеры: «багульник плотный, ярко- фиолетовый, будто с неба пролились тысячи чернильниц»; «скалы – это рубеж, за которым ветер из циника превращается в безвольного подпевалу».

Это произведение проникнуто болью за уходящую в прошлое русскую деревню, в нем ощущается неравнодушный взгляд талантливого автора.

Т. Тупицкая.

Предисловие

Два чувства дивно близки нам.
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва.

А. С. Пушкин

Немало губительных поветрий, выдававшихся за социальное и экономическое благо, пронеслось над поморской деревней в минувшие десятилетия. Ещё в 60-е годы, когда по чьему-то недоброму и неумному умыслу шла ликвидация неперспективных деревень, сёл, жители вынуждены были покинуть сёла Дроздовку, Варзино, Воронье.

Тогдашних жителей фактически насильно перевезли в перспективные, по разумению чиновников, поселения. Старшее поколение хорошо помнит эту широкомасштабную ликвидацию так называемых неперспективных сёл и деревень.

Моего родного села коснулось это в 70-е годы. Людей фактически депортировали, и это было настоящей жизненной драмой. Люди потеряли нить жизни. И всё же, несмотря на сокрушительные бури нашего века, память у людей уцелела. Люди сохранили историческую память о своей малой родине и по сей день.

Мы смотрим в будущее, оглядываясь на прошлое и должны всегда помнить о своих истоках, о неразрывной связи времён. И как знать, может, придёт тот день, когда село Поной и другие деревни вновь появятся на карте Кольского полуострова.

Поной – это земля моих предков. Мы коренные народы, поморы, по паспорту русские, но кровно связаны с малочисленными народами, проживавшими в нашем селе. И жили все единой, дружной семьёй. Пас-

ли оленей, ловили рыбу, добывали морского зверя. Картофелем, овощами и молоком ни у кого не одалживались, имели своё. Административный зуд укрупнения докатился и до нашей глубинки. Колхоз упразднили, село смели с лица земли, а жителей собрали в районное село Ловозеро. Через десятилетия, когда были проданы реки, пастбища и река сёмужья, хватились, а поздно. Там, где был картофель, овощи, все поросло бурьяном, пастбища, луга оскудели, а люди разъехались.

Более 400 лет стояло на берегу реки Поной одноимённое село. Река впадала в Белое море. И не зря выбрали люди её каменистые берега, и она в благодарность платила им щедростью и обилием рыбы. Всё выдержало село: и шведские набеги, Гражданскую и Великую Отечественную, разруху. Долго приходило в себя село Поной. Дело ведь не в том, что лишилось оно многих крепких мужицких рук. Смятение и страх тоже ломают людей, косят не хуже, чем пули. А помогло понойчанам выжить, прийти в себя, только единственное – вера в то, что всё было не зря и не напрасно. Вера по нынешним временам наивная и многими отрицаемая как ложная. Как бы там ни было, но именно вера помогала поднимать колхоз «Север».

Одни названия чего стоили! «Чкалов», «Память Ленина», «Искра», «Большевик»... Разве опустошенный, разуверившийся человек такие слова помнит? Отпричитав и отплакав, село бралось за своё извечное дело: ловило рыбу, пасло оленей, строилось, растило детей. И вот пробил его час.

Может, сёла, прожив своё, умирают, как люди, и нет в этом никакой трагедии? Не знаю. Но почему так щемит сердце, когда смотришь на заброшенные сельские дома, на дворы, где по весне буйствовала берёза и смородина, посаженные когда-то людьми на долгую жизнь. Вот таким было село более тридцати лет назад.

Причины всем известны, о них говорено-переговорено. Укрупняли совхозы и порушили на том основании не только моё село. И от этого удара Поною было не оправиться. Три четверти его жителей разбежались кто куда, в основном в города, поближе к хорошим дорогам, школам, клубам. И то, что не смогли сделать ни шведские набеги, ни две войны, ни разруха, было сделано дуроломной политикой укрупнения. Из села будто вынули душу, лишили её надежды. И стали добывать царицу-сёмгу чужие, равнодушные люди – те, кого пошлют. Умирало село Поной, крошечная точка на карте России, песчинка, затерянная в бескрайней тундре…

А перед этим районное начальство на последнем собрании колхоза обещало чуть ли не золотые горы. Признаюсь, такие посулы, выданные чиновниками, как говорится, с порога, прямо в лоб, меня, да и не только меня, но и других жителей села Поной несколько обескуражила. Жителей будто подхлёстывала очевидность и ясность ответов выступающего номенклатурного работника, будто всё хотелось поймать его на каком-то противоречии. Так вот говорю сейчас: совсем не здорово живётся сегодня бывшим жителям моего села. Странно звучит, но сама идея создания совхоза на базе двух колхозов самостоятельного хозяйства имела под собой не столько экономическую, сколько политическую почву и исходила от Ловозерского райкома партии. В то время колхоз «Север» был одним из первых колхозов-миллионеров. А политика состояла в том, чтобы создать уставшим от тягот «захолустной» жизни людям нормальные условия, вернуть в умирающее село разбежавшуюся по городам и весям молодежь.

Вот эти «радетели», каждый в своё время и приложили усилия к ликвидации «неперспективного» села Поной и скороспелого выселения его жителей, разрушили культуру, старину и уклад жизни древнего поморского села. Да пробовали люди восстановить и вер-

нуть всё на круги своя. Но то ли не хватило им напористости или умения выколачивать деньги на строительство или праздность их была сильнее, но ничего из этого не получилось. Пусть не судят меня слишком строго бывшие понойчане за подобные слова. Но без любви и веры в это село, в этот край, не посмел бы я высказать в глаза эти обиды. Просто больно видеть продолжающийся процесс обмена тетёрки на коня, а коня на корову... Есть такая сказка, где в итоге петушка меняют на батожок, с чем и пришёл старик к старухе... А далеко ли можно уйти с батожком в руках?

И до сих пор тянет обратно в родные места. И как часто вспоминаются приезды в Поной, где, привыкнув, можно снова вобрать в себя свет полярных ночей, когда солнце за каких-нибудь полчаса скатится по склону сопки с запада на восток и, зацепившись за гору, вскарабкается и вновь заиграет чешуйками воды, превратив море в одну серебристую рыбину. «И радость, и горе помору – всё от моря», – говаривали в старину. Какое-то тревожное чувство остаётся после каждой встречи с селом. И чем дальше, тем острее. Словно дали тебе прикоснуться к давно забытому, почти неосязаемому, что в детстве, давным-давно, хорошо знал и понимал. А с годами забыл, замутил!

Родная сторона! Тут бы и поставить точку. Мол, всё хорошо. Как бы то ни было, обустроили жизнь людям. Тем более, что по нынешним временам, такое событие не редкость. Но точку ставить рано. Пребывают в тревоге понойчане, и не ясен их завтрашний день.

И очень обидно, когда колхоз, едва-едва, ценой огромных усилий и энтузиазма – да-да, именно это слово здесь уместно – вставший на ноги после таких катаклизмов, получавший миллионные прибыли, был раздавлен дуроломной политикой.

С каким-то смешанным чувством тревоги и вместе с тем надежды я улетаю в очередной раз из Поноя. Тревога – это понятно. Мало, наверное, найдётся сего-

дня по России людей, кто не был бы встревожен. Но есть ли надежда? И на что? На то, наверное, что не умерла ещё в людях душа и что не всё, слава богу, измеряется рублём и что можно, оказывается, «рвать постромки» только из любви к своему селу.

Выражаю искреннюю признательность и сердечную благодарность за оказание финансовой поддержки в издании книги Андрею Кокаровичу Рейзвиху.

А также благодарность коллективу Ловозерской библиотеки за помощь в оформлении книги, Владимиру Михайловичу Кузнецову за предоставленные фотографии, Тамаре Николаевне Тупицкой за редактирование книги.

Поной – маленькое, уже поверженное, доживающее годы, а может, месяцы или даже дни, село. Уже обескровленное, наполовину вырубленное. Каким оно было раньше, когда в нём кипела жизнь? С какими мыслями, какими надеждами здесь жили люди, ставившие добротные, прочные, тёплые дома, в которых любили, рожали, растили детей, откуда уходили, чтобы обязательно вернуться? Ничего этого я никогда не узнаю.

Передо мною настоящее, которое уже давно стало прошлым. Археологический факт современности, который я пытаюсь понять. Прошлое понимать гораздо легче, чем настоящее. Прошлое – это всегда только схема, скелет, с которого снят покров индивидуальности. Скелеты людей, у которых при жизни нельзя было найти ни одной общей черты, теперь удивительно похожи друг на друга.

И всё же мне не по себе, когда я разговариваю со здешними жителями, живущими в преддверии неизбежного отъезда. Они говорят о том, что было, о своей прошлой жизни, как о чьей-то другой, потому что между ней и теперешней пролегла глубокая пропасть, края которой уже никогда не сойдутся. Даже если произойдёт чудо, ничто не вернётся на круги своя.

Страшнее всего, что осознание этого их не возмущает. Тот факт, что жизнь расколота надвое, их теперь вроде бы не трогает. И это не бесчувственность, не непонимание. Это смирение.

Вместе со смирением приходит безразличие. Ко всему. Даже к самому себе. Остаётся единственный импульс: продержаться... До чего? Было бы, наверное, легче, если бы они возмущались, требовали вернуть колхоз, просили о помощи. Это стало бы свидетельством их жизнеспособности, сил, желания переиначить случившееся. А вот так смириться, жирным крестом равнодушно перечеркнуть жизнь

свою и своих близких, прошлое своего рода и своей земли…

Та, которой жили они, была настолько трудна и тяжела, что, возможно, выработала в людях не смирение, как представляется мне, а такое вот сверхъестественное терпение. И за ним вовсе не отчаяние, а глубокая мудрость человека, привыкшего не лезть на рожон, не переделывать зиму в лето, а следовать природе, воспринимая и этот поворот событий, разрушающий до основания столетиями возводимый порядок, как очередное стихийное бедствие, человеку неподвластное. Может быть, и так.

Поморские сёла, стоявшие на этих берегах и четыре, и шесть веков, должны теперь сгинуть, исчезнуть, уйти в «город». А ведь вопрос не в том, кто и как будет этот самый город кормить. Вопрос совсем в другом: что свяжет человека с землёй, с природой, от которой его и так уже оторвала современная цивилизация? И то, что деревня сейчас предстаёт перед нами в самом неприглядном своем виде, в развале, в пьянстве в бессмысленной, преступно низко оплачиваемой работе, от результатов которой зависит не только существование народа и государства, потому что от железками и химией ещё никто сыт не был, но и само здоровье нации, - явление не только закономерное, но, прямо сказать, искусственно созданное, временное, которое требует своего скорейшего исправления… Я уверен, что через пятьдесять лет снова потянутся люди из городов в село, поняв выгоды трудной и в то же время многократно окупающей себя работы на земле. Но к чему им будет возвращаться? К каким пепелищам? Труднее всего начинать сызнова, когда перед глазами, как предупреждение, высятся развалины надежд твоих предшественников. Вот почему надо так бережно относиться к наследию прошлого, в том числе и к

деревне российской, сохранив всё, что ещё возможно из стоящего на земле: дома, поля, дороги, тропинки.

Дороги долговечнее людей. Спустя полсотни лет находишь в лесу дорогу, всё ещё соединяющую давно уже не существующие деревни. Вот и здесь люди почти совсем ушли, а тропинки, выбитые их ногами и ногами предшественников, ещё ведут тебя по кругу их былых забот, к заброшенным полям, к зарастающим покосам, ветвятся причудливой сетью вокруг деревни, ведут к былым коровникам, к новому сеновалу, к электростанции, на аэродром, на берег…

Приглядываясь к ним, пройдя из конца в конец, по этим тропам при желании можно прочитать всю историю Поноя: так много требовалось настойчивых человеческих ног, изо дня в день, из года в год, из поколения в поколение утаптывающих мириады песчинок, срывающих с камня медлительный цепкий лишайник, чтобы тропа оказалась вбитой так глубоко, не зарастая полярной березкой и ивой, не разрушаясь упорными здешними ветрами…

Земля не может остаться пустой? Рано или поздно на место ушедших придут другие, новые, которые первым делом возьмутся за перестройку деревни, так и брошенной когда-то на полдороге, уже не прося вышестоящее начальство о снисхождении, а требуя, ставя его перед свершившимся фактом?

Не случайно все медали и грамоты ВДНХ получал колхоз-миллионер, а не государственные хозяйства. Люди знали и любили свою землю, привыкли трудиться на совесть, с верой в полезность того дела, которое идет на пользу всего общества, а не только для них одних. Как можно было не помочь им? Как можно было не снять с них лишнюю, бесполезную нагрузку?

А между тем все левые директивы, исходившие сверху, – объединение, расширение – просто подрывали доверие людей, веру в разумность и

нужность своего труда, подрывали доверие к основному принципу «каждому по труду». Но труд не оправдывал себя, потому оказывался бессмысленным в своём общественном выражении… Теперешнее поморское село, поневоле сохраняющее не только оболочку, но и внутреннюю структуру традиционной жизни, должно превратиться в посёлок рыбаков, с новыми своими укладами, которых с неизбежностью потребуют преобразования. Он должен быть насыщен культурно-бытовым обслуживанием, связью, транспортом, медицинским и научным персоналом; у жителей должны быть своя электростанция, клуб, своя школа, телекомплекс и все остальное, что необходимо для современной жизни, что влечет молодёжь в города.

Надо ликвидировать не колхозы, а то множество грабящих колхозника и общество инстанций, которые мешают прямому контакту хозяйства с государством, производителя с потребителем! Почему кто-то, а не колхоз, должен обрабатывать выловленную колхозниками рыбу (фактория «Лахта»)? Почему они сами не имеют право это делать? Ведь колхоз – это единственная у нас демократическая форма решения всех хозяйственных вопросов, когда в управлении участвует каждый член коллектива. Общее собрание колхозников – вот главный орган колхозного самоуправления, позволяющий вести оперативную финансовую политику, менять направление хозяйственной деятельности, менять структуру хозяйства…

Всё это на бумаге? Всякая действительная инициатива глушится сейчас же сверху? Но разве использование микроскопа в качестве молотка указывает на то, что микроскоп себя изжил, а не на что-то другое?

Потому что именно колхозы, а не совхозы и госхозы, как это ни покажется странным, несут в себе зародыши социалистического общества. Об этом

писал, это подчеркивал, на это указывал В. И. Ленин. В кооперации он видел отнюдь не способ приобщения единоличника к коллективному труду. Это с успехом делается на любом предприятии, на стройках, в исправительно-трудовых лагерях и тому подобных организациях для приобщения коллектива к управлению экономикой государства, к коллективному управлению.

Разве колхозник или председатель колхоза виноват, что получает «свой» план сверху, в директивном порядке, составленный неизвестно кем и никаких реальных оснований не имеющий?

Будущее русского Севера вот за такими маленькими, экономически сбалансированными силами, которые не надо расширять и «укрупнять», как пытались когда-то делать. Люди должны сами выбирать свой путь и свой завтрашний день. Только тогда они и смогут почувствовать себя хозяевами.

«Направленный» в деревню для руководящей работы человек, не чувствующий, а часто и не понимавший самой сути деревни в первую очередь пытался её переиначить, если не на городской, то на поселковый лад. Ему интуитивно хотелось обрубить, уничтожить, выкорчевать те корни местной жизни, на которых он то и дело спотыкался. Они ему были непривычны и непонятны, они мешали и раздражали. Мечтая о созидании, он первым делом принимался за разрушение. Может показаться странным, но именно с разрушением в деревне давно смирились. Не потому, что деревенские жители читали М. Е. Салтыкова-Щедрина, в частности «Историю города Глупова», а потому, что такова была жизнь на протяжении многих десятилетий.

А деревенский человек лучше городского знает, что плетью обуха не перешибёшь, поэтому начальству перечить не следует. Что-то ломают, что-то останется, как-нибудь приспособимся. В действительности их

страшило не настоящее, а будущее. Не только их деревне, как они видели, – всему прежнему, привычному для них миру, в котором они родились, выросли и привыкли жить, приходит конец. И этот конец начнется со сменой поколений.

Вот и в этот раз вместо того, чтобы пройти по древним стойбищам, уйти от современности в тысячелетие прошлого, мы идём по развалинам того мира, который строили десятки поколений русских людей. Не только здесь, на всем пространстве России. Строили, чтобы передать этот мир в наследство нам, чтобы мы сделали его ещё лучше, ещё богаче, ещё красивее, ещё удобнее для человека.

А мы его разрушили. За несколько десятков лет мы сумели разрушить то, что создавалось веками. Вырвать с корнем, вырубить так, чтобы не осталось и следа. Это был далеко не первый, скорее, последний удар, которым добивали поверженную русскую деревню, приклеив на фасад не подлежащий обжалованию приговор «неперспективная».

И как не вспомнить прозвучавшие когда-то в самом начале злые, ненавидящие, но пророческие слова уезжавшей из России Зинаиды Гиппиус: «И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, народ, не уважающий святынь!»

Люди не смирились, они продолжали бороться за право жить на своей земле и в своём доме, за право самим выбирать своё будущее.

Привыкнув всю жизнь противоборствовать стихиям, терпеливо пережидать ненастье, свалившийся на них произвол поморы восприняли как очередное стихийное бедствие, которое надо пережить. Сами они жили в ладу с землёй и с морем, верили в собственные силы, их не страшил тяжёлый труд, поэтому, несмотря на невзгоды, они сохраняли надежду на лучшее будущее, которое готовы были строить своими руками, только бы им в этом не препятствовали… Похоже, это

время наступило. Оно пришло вместе с новым поколением, которое не могло и не хотело жить по-старому, с новыми идеями и с новыми требованиями к обществу и к человеку, что привело к яростным схваткам между сторонниками и противниками нового курса. Люди маленького кусочка России, которые живут одной жизнью и одними заботами со всей нашей страной. И в этом плане они, я надеюсь, могут послужить читателю примером «к познанию России» Как назвал последний труд своей жизни замечательный русский ученый и мыслитель Д. И. Менделеев.

1975 год

Багульник

Вы видели, как цветёт багульник? Нет, не просто багульник, а целые сопки – большие, маленькие и совсем огромные. Это рассказать невозможно. Снизу и до самых макушек они делаются оранжевыми, фиолетовыми, розовыми. И запах от него – на всю тундру. Запах прямо-таки сильнейший, приятный, немного конфетный издали и одуряющий вблизи. Голова начинает кружиться, будто человек сладкого чего-то объелся или браги ягодной перепил. Багульник плотный, ярко-фиолетовый, будто с неба пролились тысячи чернильниц. Снизу то теплыми, то холодными толчками начал наплывать плотный, вязкий, сладкий, как помада, багульниковый запах. Над высокими горами, высоко, в куполе неба всходило, пучилось, дымно темнело облако. Сквозь него ещё пробивался свет, падая пучками на багульниковые сопки, пламенно и больно зажигая их оранжево, фиолетово, розово. От их кровавости невозможно было отвести глаза. Багульниковые сопки потеряли цвет, будто вылиняли от солнца или смыли с них акварель летние проливные дожди. Они сделались бурыми, почти коричневыми, под цвет багульниковой листвы, отяжелели, грубо выперли к небу свои горбы.

Баня

Утро севера – сонливое, скупое
Лениво смотрится в окно волоковое;
В печи трещит огонь и серый дым ковром
Тихонько стелется над кровлею с коньком.

А.А. Фет

Был светлый тёплый день. Солнце не изнуряло землю зноем. Шаловливый ветерок, играя, срывал с березок пожелтевшие прозрачные листья, кружил их в

воздухе и бережно опускал на примятую дождями траву. Стояли прозрачно-ясные дни бабьего лета. Над деревней, купаясь в пуховых облаках, длинными вереницами тянулись гуси, утки. В воздухе плавали паутинки, освещенные нежарким осенним солнцем.

Я торопился с Терско-Орловского домой. Всё лето мы, подростки – Куроптев Саша, Куковеров Лёша и я сидели на тоне, где бригадиром был Григорий Павлинович Куковеров. Мы ловили боярышну-сёмгу наравне со взрослыми, получая за это 0,5 пая. Вот сейчас бригадир отпустил меня домой: пришёл вызов из Архангельска (я поступал в лесотехнический техникум). Порато[1] соскучившись по дому и домашней баньке, ноги сами несли меня по знакомой натоптанной тропе, мимо ручья Губного, а дальше тундрой до реки Русинги, а от неё уже рукой подать до Поноя.

Дни становились прозрачнее, по утрам подмораживало, обметывало инеем траву, но иней держался недолго, тут же таял, а к полудню припекало настоящим теплом, словно лето одумалось и возвращалось снова. Дойдя до реки Поной, я крикнул перевоз, здесь же затарахтел мотор и на катере подъехал Володя Шошин, мы благополучно переправились с ним через реку, и я шагал уже по мосткам[2], замечая что-то да новое, происшедшее за три месяца. Вот у кого-то новый забор, а сосед справа заменил мостки, кто-то соорудил новую стайку для овец. Перед каждым двором были навалены горою моребойные[3] чурбаки, люди запаслись дровами на зиму. Звонче отдавалось эхо, и любой звук разносился по селу, и далеко окрест стучали по поле-

---

[1] Порато – очень. Зимой тёмно порато. Поной.

[2] Мостки – настил из досок на улице, во дворе, в хлеву. Ф стайке – мос, во дворе – мос. Поной.

[3] Моребойные – дрова, собранные на берегу моря. Поной

ньям колуны и топоры, блеяли ягнята и овцы, стонущая взахлёб, где-то выла бензопила, вгрызаясь в сухое дерево. Неподалёку от магазина, в небольшом ларьке, когда-то бывшем филимоновском доме, а ныне предназначенном для продажи керосина собиралась очередь. Люди запасались керосином, хотя село было сплошь электрифицировано, но на всякий случай делали и запас керосина. А вдруг сильный ветер, который не редкость в наших краях, частенько проникал в село, ибо дуло, как из трубы. Или, не дай бог, электростанция сломается. Не зря в Поное бытовала пословица: «Там гора, тут гора, в небо дыра – вот и Поной». А под вечер, ближе к закату, тянулись в небе косяки гусей, и печальный, разлученный крик их брал за душу. Застя ладонями глаза от солнца, люди поднимали головы, где бы ни застал их этот крик – на огороде, во дворе, в поле или бредущими по улице – и с непонятной тоской глядели вслед. Будто и не гусей провожали, а что-то отрывали от сердца, прощались с чем-то навсегда.

Наносил воды, нащипал лучины. Без лучины дрова начинают модеть[4]. Еловое полено попалось гладкое, сухое: едва только коснешься косарём, лучина так и отскакивает с треском. И в печке она взялась сразу, смолистые сухие поленья вспыхнули, загудели, даже нисколько не шаяли[5]. Густой, едкий дым, точно молоко, сочился сквозь каменку, скапливался у потолка и опускался всё ниже. Защипало глаза. Дрова зазниялись[6].

---

[4] Модеть – тлеть. Прет да модет – ничёго не горит. Поной.

[5] Шаять – тлеть, гореть без пламени. Головёшка огнём не горит, а шает. Поной

[6] 6. Зазниялись – затлеть, начать гореть без пламени. Зазниялись дрова ф печки, запахло от них, дровами пахнёт. Поной.

Три раза накидывал дров, чтобы прогреть как следует баню, заодно уважить баенника[7]. Уже не дым, а огонь пролизывал камни, вода в котле едва не кипела. Когда угли прогорели и выветрился угар, заткнул трубу (баня топилась по-чёрному). Дав баньке с часик настояться и после того, как мама нашоркала[8] её вехтем[9], сразу же рванул в первый жар. В давно желанную домашнюю баньку, отмыться там, попарится, пообмякнуть душой и лежать с благостным покоем на сердце. Поплескал на каменку из ковша. Зарокотало, зашипело, будто бы взрыв вырвался из печки. Горячей волной отдал пар, ноздри обожгла знойная сухость, и резче запахло веником. Хорошо прочищает грудь березовый запах. Забрался ещё выше и, задрав ноги, покалил их, похлестался веником до красноты. Вскоре не было уже сил шевельнуть ни рукой, ни ногой, долго лежал на полке, блаженно закрыв глаза и ощущая, как тело постепенно наливается лёгкой истомой, становится невесомым.

На улицу выскочил, словно слегка пьяный. В глазах рябило, во рту ощущался сладкий привкус, почему-то казалось, что тропка качается под ногами, как бревно на плаву, видать лишку попарился. Быстрей бы добраться до дому, где в холодных сенях у мамы стоял в пятилитровой банке настоящий хлебный квас, настоянный на солоде. Выпить залпом и пройтись по чистым брезентовым половикам босиком, потом лечь на них и долго лежать, наслаждаясь белизной и чистотой половиков, нехотя скользя утомлённым взглядом по сол-

---

[7] Баенник – сверхъестественное существо, якобы живущее в бане. Ты баенника боисса. Поной.

[8] Нашоркала – шоркать – тереть, скоблить. Избу моем, стены ножикама, голикама шоркам. Поной.

[9] Вехтем – тряпка для мытья, веник, сделанный из берёзы или можжевельника. Поной.

нечным теням, прыгающим по стенам. Каждую субботу мама мыла и шоркала сени, настилая полы выбеленными половиками, и в этом тоже был свой особый шик. Была, конечно, в селе и колхозная баня. И с окончанием работы – первым делом, конечно, баня. Как не попариться после трудов, праведных? Понойцы любят свою баню, гордятся ею. Ещё загодя, в пятницу вечером, жестяная труба бани дымит, как первобытный паровоз. Утром в субботу начинается шествие. Мужики несут в сумках чистое бельё и сверху берёзовые веники с пожухлыми листьями. Бабы ведут за руку детишек, несут тазы и шайки. В парной на полку только и разговоров про рыбу. Парная понойской бани заменяет народу парламент. Тут, на полку, под шипенье пара, обсуждаются все важные вопросы, волнующие понойчан: урожаи, дожди, смерть человека или рождение...

Бревенный порог

По чьей речке плыть,
Той и славой слыть.
Поморская пословица

За всю мою жизнь мне трижды приходилось спускаться на лодке через Бревенный порог. Дважды мы спускались с Долгих Павлом Ивановичем и моим шурином Куроптевым Виктором Савватеевичем. Третий раз спускались с шурином. Порог назван Бревенным не зря. Через него сплавляли лес, и ломало брёвна, очевидно, отсюда и название Бревенный.

Из Каневки мы выехали ближе к полудню. Само солнце, словно потеряв за ночь свои очертания, расширяется далеко во все стороны, рассеивается и незаметно переплавляет своё яркое золото в спокойную свежую голубынь. Далеко, очень далеко видно вокруг! Солнцу осталось прокатиться всего несколько оборотов, теперь его диск напоминает обсосанную шайбу красноватой

карамели. На белом до боли небе цепь синих перистых облаков, словно следы на мартовском снегу. Охристое полотно воды заштриховано тенями ветвей. Сквозь редкий серый туман, как сквозь сигаретный дым, темнеет зелень берегов.

До глубокой темноты осталось несколько сумеречных часов. Мы должны ими воспользоваться, чтобы поспеть к порогу. С Бревенного стали спускаться в самое неподходящее время, под вечер и в дождь. Такая погода не редкость, даже в сенокос стоит только задуть моряне и, глядишь, замутилось на горизонте, посерела и зарябила вода в реке, по-осеннему зашумели деревья, а небо всё ниже приникает к земле, давит на душу ожиданием чего-то. Иной раз с полусуток всё примеривается погода, потом вдруг оторвётся ветер, тихо станет вокруг, да так, будто всё на свете сразу перестало дышать, и вот уже пошёл он, не желаемый, мелкий, как из частого сита, дождь.

Река миновала плато. Она устремляется теперь в коридор скалистых берегов. Стиснутые отвесными скалами кипящие пороги сменяются спокойными и глубокими плёсами. Не одна жизнь туристов оборвалась на этих коварных порогах. На скалах, омытых дождём и отшлифованных ветром, ни пылинки. Только карликовые берёзы- скалолазы держатся в расщелинах, растопырив пальцы корней. Седые выветренные скалы с врезанными в камень морщинистыми ликами, крошево и плитка у подножья – остатки древней мозаики. В поисках прохода между скалами река вьётся бесчисленными излучинами, течение здесь особенно бурное. Быстрины, бурые тюленьи спины камней – управлять лодкой невозможно. Тут прибегаешь к испытанному приёму: отдаешь себя на попечение стихии. Отскакивая от валуна к валуну, покружив немного в последнем водовороте, лодка слегка покачиваясь, успокаивается наконец в свежем мощном течении.

Река резко сворачивает к югу. Скалы – это рубеж,

за которым ветер из циника превращается в безвольного подпевалу. Влажный тёплый воздух убаюкан берегами. Тишина такая плотная, что из неё можно кроить пиджаки. Узкая песчаная отмель посреди реки. Русло проходит то слева, то справа от неё. Приходится всё время менять курс. Миновав отмель, лодка снова набирает ход. Теперь надо успеть к последнему порогу дотемна. И тут случилось непредвиденное: заглох мотор и бешеной струёй лодку понесло к камням. Виктор Савватеевич на всякий случай сидел на вёслах, но после отчаянного гребка вёсла лопнули и сломались. И тут я уже, не ожидая, что мотор заведётся, просто от отчаяния дёрнул за пусковой шнур, и мотор, стреляя и чихая, завёлся. Лодка набрала скорость и на полном ходу стукнулась о камень, в результате столкновения вышибло верхнюю доску, и только случайно лодку развернуло и бросило к скалам, где был пятачок приблизительно метр на метр, что позволило нам пристать к берегу. Бросив спальники прямо на камни, несмотря на затянувшийся нудный дождь, мы моментально уснули.

Отдохнув от пережитого, продолжили начатый спуск. Берега расплываются, отдаляясь друг от друга, лодка посреди реки – как тень большой птицы. С правого берега сползает в воду скала, словно полузатопленная гигантская лодка.

Последний перекат перед деревней. Он полог и вроде бы доброжелателен. Слишком полог и слишком доброжелателен, чтобы его принимать за перекат. Его лепет глохнет в тумане, для нас его попросту нет – и не было никогда. Наши мысли уже на перекате. Далёкое падение воды доносится сюда, словно шум ливня над полем. Берега сужаются, растущие по краям и округлившиеся в тумане, карликовые березки скатываются с обрыва, словно отрубленные головы. Течение реки и грохот перепада спешат друг другу навстречу. Русло всё круче уходит вниз, река словно летит под гору. Те-

чение выносит лодку на плёс, принявший здесь форму капли, в узком перешейке которого их приветствует громыхающим маршем перепад.

В Поной приехали в темноте. Дождь перестал. По всей деревне светилось два-три окошка, да и те каким-то робким, лампадным светом, в остальных домах, еле видимых во тьме, не было никаких признаков жизни. Но вот зажегся обнадеживающий свет в соседней избе, затем в моём доме. Скрипнула дверь, вышла, встречая нас, моя мама. Наконец-то мы дома!

1974 год

Бухта революции

Свежеет ветер, меркнет ночь,
А море злей и злей бурлит,
И пена плещет на гранит –
То прянет, то отхлынет прочь.

А.А. Фет

Струги воды хлестали в оконце нашей маленькой рыбацкой избушки, что расположилась на лужайке, покрытой незабудковым голубым ковром. Вода стекала на землю мутными потоками. Изредка поблескивала молния. Этот весёлый шумный дождик принесён с юго-запада и назван шелоником[1]. Поморы назвали его в честь родины дедов и прадедов – новгородчины, где течёт река Шелонь. Ветер из отчего края, добрый, тёплый, обычно к вечеру стихал и, по словам стариков, «уваливался в постель к женке», никогда ей не изменяя.

С полуночи не переставая дул ветер – зябкий, бесприютный, словно бобыль-бродяга. Ночи летом в

---

[1] Шелоник – юго-западный ветер. У шолоника жонка красива – на ночь стихнет. Поной

наших местах светлые: солнце, нырнув за горизонт, сразу начинает подниматься снова. Час был поздний. На берегу – ни души. Солнце закатилось за низкие фиолетовые облака, которые затянули небо у горизонта. По морю поплыл редкий, как крупная сеть, туман. Пригревало солнце. Вода блестела в его лучах, вспыхивала перламутром. О борта карбаса[2] плескались волны. К вечеру стала разыгрываться непогодь. В Горле Белого моря и так не бывало спокойно: тут всегда толкутся суматошные волны. Лохматые, сердито кипящие, они кидаются на каждое проходящее судно порой с самых неожиданных сторон. А тут к вечеру стал крепчать, свирепея, полуночник[3], ветер похуже севера, в этот ветер рыба идёт. Он затянул небо мглой, приволок низкие тучи с дождём. Карбас стало трепать ненастье, как бумажный кораблик под проливнем. Карбас стоял на отводнице, не оторвало бы от отводницы. На тоне Красный нос опять-таки ветер-побережник[4], гонит в невода серебристую боярышню-рыбу сёмгу. Этот ветер дикой, холодный и взводень[5] большой роет, худой ветер, только успевай отводи все посудины в Северную губу иначе раскатает по дощечке. Ветер моряна[6] – порато[7] сильный, холодный, но в реке, где стоял РУЗ (рыбоучётное заграждение), он всегда приходил с рыбой. Обедник[8] – хороший ветер, но без рыбы. Южный[9]

---

[2] Карбас – большая поморская лодка.

[3] Полуночник – северо-восточный ветер.

[4] Побережник – северо-западный ветер.

[5] Взводень – высокая волна.

[6] Моряна – северный ветер.

[7] Порато – очень. Зимой тёмно порато. Поной

[8] Обедник – юго-восточный ветер. Обедник не будет долго дуть. Поной

[9] Южный ветер – летний.

с гор идёт, волн почти не даёт, но а всток[10] – эти хорошие ветры. Запад так и есть запад. А пока что дул полуночник, который приходит с моря Баренцева, со свирепым полуночником приходит накат, и море, неистовствуя, несётся на берега, кидается на отмели, заливая их, мутя воду, роняя на песок клочья пены. Лохматятся, свирепеют волны, ставя брёвна плавника в полосе прибоя торчком. Накат подобен очистительному летнему ливню с грозой. После него на побережье становится тихо. Море ластится к берегу, сквозь разрывы в тучах в приполярной сумеречности проблескивает весёлый солнечный луч. Обычно после этого шторма, после отлива чего только не выкинет море: всякие баночки, бутылочки, сети, верёвки. Белое море выносит из вод бескорые, мытые-перемытые корневища столетних сосен и лиственниц, взятые неведомо где, то ли в мезенских, лекушонских да онежских лесах, то ли в чащобах Приуралья. А иной раз виновато вьюжит волна обломки корабельных бортов, поплавки от неводов да закрученные папирусными свитками куски бересты… Вот тебе и июнь месяц, который стоял прозрачный, солнечный, но прохладный: всё время не переставая дули резкие ветра с полуночной стороны. Даже в заветерье, хоть и на солнышке, ватник не снимешь.

Начался прилив. Волны шумят значительно ближе, а в неводе опять вода, скоро она совсем накроет его, и там, где теперь песок и я, ночью будет ходить сёмга, натыкаться на сеть, и идти вдоль неё в сторону моря, стараясь её обогнуть и будет попадать в горло невода и кружиться там бессильно и настойчиво, в поисках выхода, пока вода снова не спадёт и не придут рыбаки и не станут их бить и класть в ящики. Будут всюду слюдяно блестеть мелкие лужи ходившей в ней

---

[10] Всток – восточный ветер. Фстоки да обедники большэ дожа дают. Поной

сёмгой, песок гофрированный со следами чаек, море шипит где-то далеко, и там над чем-то вьются чайки, присаживаются и опять взлетают.

Солнце наконец садится. Долго и мёртво мерцает оно последней искрой, верхним своим окончанием, и эта последняя искра коричневеет и гаснет. Остаётся одно остывающее небо на том месте, гряда прозрачных облаков и широкая краснота. Остаётся космический свет над головой, остаётся белая ночь с тишиной, с безветрием, со слабым ропотом волн приближающегося моря. Утром опять солнце, опять мелеет море и уходит, обнажая песчаный берег и невод. И в неводе снова плеск и шум, солнечные брызги, и среди брызг и плеска – рыбаки в мокрых одеждах, с мокрыми палками в руках. И бьют, бьют, кротят, усыпляют рыбу, стаскивают в ящики и на носилки.

Приливы – очень интересное явление. Не всякое море имеет приливы. Только те, что свободно связаны с Мировым океаном. В Чёрном или Каспийском морях их практически нет. Зато самые большие приливы в России - все в северных водах. На Охотском море, к примеру, в устье реки Пенжины приливная волна до десяти метров, в устье реки Мезень, впадающей в Белое море, высота её больше девяти метров, в устье реки Поной, также впадающей в Белое море, более четырёх метров. Приливы возникают на земле через строго определённые промежутки времени – 12 часов 25 минут. Это связано с движением Луны по своей орбите. Каждые сутки «полная вода» запаздывает на 50 минут. Современные учёные-океанологи могут рассчитать и подготовить таблицы приливов на год, десятилетия, сто лет вперёд.

Поморы, веками жившие на побережье Белого моря, тоже имели свои «таблицы приливов» – рукописные лоции и руководства мореходов. Их передавали из поколения в поколение. Старожилам Беломорья достаточно было посмотреть на Луну, отметить размеры

серпа, восход или заход, или кульминацию в полнолунии, чтобы точно знать, время ли отправляться в море. Поморские кочи и ладьи, рыбацкие карбаса передвигались по протокам дельты и в море исключительно с учётом попутного приливного или отливного течения.

На берегах Белого моря увидишь прилив во всём его величии и многообразии. Волна, прежде чем появиться здесь, проходит долгий путь. Она рождается в пучине Северной Атлантики, примерно на широте Великобритании. Около суток бежит к берегам Беломорья. Здесь то затихает, то взметает свой «девятый вал». Приливы очень велики. Сходящиеся берега его подобно воронке концентрируют мощь волны. Интересно наблюдать, как течение реки поворачивается вспять, вверх от моря. Волна разворачивает стоящие на рейде доры и баржи противоположно течению. Очень интересно наблюдать, когда плывущие вниз плоты леса замедляют свой и без того неспешный ход, а порой дрейфуют вверх по реке.

Пройдёт время, обратное течение затихнет, и речные воды вновь побегут к морю.

Приливы – самое яркое и незабываемое впечатление моего детства и всей моей жизни, что я жил в Поное. Ещё мальчишками мы и без часов знали, когда песчаная коса Бабьей корги исчезнет под водой и волны заплещутся вблизи угора. Наступит час, отмели у берега обнажатся и многочисленные ручьи потекут в сторону отступающей воды. Здесь начиналось для нас раздолье, особенно в Лахте. Ловили руками мелкую рыбешку, искали красивые раковины, вытягивали из воды зелёную вату водорослей.

Многие устья рек Беломорья благодаря небольшим размерам подходят для реализации экологически чистых технологий соленостной энергетики. Нужно только углубить их, открыть доступ приливу и морской воде. Это к тому же помогло бы восстановить традиционный уклад жизни поморов. Когда они жили морем,

ловили вблизи устьев рыбу, промышляли морского зверя. Но опять же, не повлияет ли это на ход сёмги, которая, преодолевая большие расстояния и пятиметровые пороги, стремится в реки, чтобы народить новое потомство, а самой погибнуть.

А пока Луна, рождая океанский прилив, бесполезно тянет волну из Атлантики в устья Беломорья. Энергия волны рассеивается напрасно в штурме запертых природой ворот устьев. Надо бы прислушаться к дыханию моря и взять Луну с её приливной волной в компаньоны. Тогда наверняка можно возродить берега славного моря, священного Гандвика.

Солнце, затканное охристой пеленой приближающегося шторма, не торопилось тонуть в морской пустыне. Наконец оно опустилось совсем низко. Затем, растворённое водным горизонтом, расширилось, стало неясным и исчезло. Холодные сумерки быстро сгустились, перешли в вязкую тьму. Нынче смеркалось рано. Это уже мелькнул конец сентября, будто лисовин махнул огневым хвостом, враз оголились радушные березняки. Стих листопад. Длинными стали по-сиротски печальные вечера, изба почернела от холодных дождей. Дождей давно уже не было, хоть небо и хмурилось постоянно, облака ползли низкие, рыхлые. По-прежнему тянул восточный ветер, всток, и море дышало тяжело, шумно, некрутые волны шуршали по гальке, перебирали камушки, вылизывали, обкатывали им бока. Внизу мерно и широко шумел прибой, шёл прилив, холодно. Ветер нёс особенно грустный запах осеннего моря. А само море было глубоко и таинственно черно.

От ветра поскрипывал поморский крест. По рассказам старожилов, крест был поставлен на могиле Михаила Семёновича, отца моего дяди Геннадия Михайловича Устинова. Кресты на Поное имели иное начало: может быть, тем же крутым ветром, каким загнало сюда и нас, загнало в это становище утлые судёнышки промышленников, и надолго затянул один и тот

же ветер, запирая все пути к выходу не на один день мрачно-скучного гореванья. Ловцы сошли на берег и долго поджидали вожделенной поры, когда уляжется ветер или переместится в попутный. Проходит не один день скучного житья на голой луде, и не один раз по сорок рубили плешивых (старинный поморский заговор-против ветра, считаешь сорок плешивых, каких знаешь в деревне, иногда это помогало). А между тем флюгарка на мачте по-прежнему реет в ту же враждебную сторону, по-прежнему несётся страшный гул от дальнего взводня со стороны моря и по-прежнему черно и сумрачно это море, до половины покрытое густой, серебристо-белой пеной. И уже замечено, что всегда после того, как вкапывали крест в землю, так сразу же переставал дуть ветер.

Весна

Но миг один – и солнцем вешним
Согреет юные поля,
И счастьем светлым и нездешним
Дохнёт воскресная земля.

А. А. Фет

Весна 1969 года была трудная, затяжная. К началу мая еле-еле набухли и посерели речные изгибы. С зимней стороны домов таяли последние суметы, а с летней на припёках кое-где проклёвывалась первая травка. Весеннее солнышко приветливо глядело с голубого неба, по которому двигались перистые белоснежные облака, и пригревало изрядно. В воздухе, полном бодрящей остроты, пахло благодаря соседству пекарни хлебом. Вода капала с крыш, блестела в колдобинках и пробивала канавки на обнажённой, испускавшей пар земле с едва пробиваемой травкой.

Всё на дворе словно трепетало жизнью. Над потеплевшими полями всходило большое солнце, пахло

навозом и весенней водой. Хотя под вечер морозы были ещё крепкие, красная заря пробивалась сквозь холодную небесную мглу. Уши пощипывало, приходилось разворачивать шапку и нахлобучивать её. Низкое солнце светило в лицо, холодный ветер обжигал по-зимнему. Землю отпустит к обеду, и то не везде. Мороз выжал влагу на горушках. Уже пора бы пахать и сеять, а в природе бог весть что творится. Лужи стеклянно позванивали под ногами, студеный ветер завывал в голых кустах. Даже солнце, казалось, светило холодным светом, отдавая не уютом. Но днём по небу плыли озолоченные солнцем лёгкие белые облака, лужи на дорогах подсохли; по оврагам и ручьям бегали зайцы, потерявшие зимний наряд; по гнездовьям хлопотали птицы. Но вот наступили дни, что по ранним утрам над рекой дымил туман; с восходом солнца тающей лебяжьей стаей туман поднимался вверх, исчезал. В горах долго погасал закат, вечер стоял тихий, ясный; на озёрах шумно хлопотали гусиные стаи.

Было солнечно, и с утра начиналась теплынь. Земля, разморенная теплом, парила. Над полем, которое открылось сразу за складом (бывшей церковью) ходили голубые волны марева. В этих волнах берёзовый лес за речкой, уже загустевший от первой зелени, дрожал и горбатился. Всё вокруг дышало, свиристело, радовалось обилию тепла и солнца: на деревьях пели птицы… Из-за реки на деревню летели знойные песни (табаркание) куропаток. Казалось, во всём мире небо нежно синело над крышами; и река разлилась и ровно шумела внизу под деревней. Прошла неделя. Неожиданно переменилась погода: вдруг из-за реки нахально подул пронзительный сиверко, стремительно понёс белые потоки тяжёлых снежных хлопьев. Исчезла куда-то вся живность, пуночки, солнце потухло и скрылось, и даже шум половодья чуть притих, словно давая потачку уходящей зиме. А зима в последний раз круто распорядилась на земле. Снег летел почти не с небес, а с

горизонта, хлестал откуда-то сбоку. В небе над полем шла полоса снежной крупы и хлестала в рамы свинцовой дробью. И здесь снег повалил, густой и рыхлый, как вата. По самому центру неба плавится жёлтое солнце. Над дальним порыжелым от нахлынувшего тепла гольцом зависает, дрожа запотелыми боками, оттаявшее по весне облако. На бурых ветвях деревьев гулко звенят нестойкие, уже слабые промерзни. Притаивало уже с неделю, но высокие ныне снега ещё прочно держались, и только в поречной низине, по которой ежезимне ложилась тракторная дорога на Лахту, весна означилась темными тучевыми пятнами по осевшим сугробам. В глубоких до страсти колеях открыто и радостно плескалась рыжая вода, и, как ни выхлёстывали её трактором, она тотчас натекала туда до самого верху, всклязь. Стоило только взглянуть с высокого угора на эту поречную ширь, на потемневшую дорогу по ней, чтобы убедиться: весна копит силу в низинах. Лёд на реке обмяк, почернел. И за спиной слышно было, как глухо и нетерпеливо ворочался лёд. Я подошёл ближе и не узнал реку. От Поноя поднимался туман. Местами гладь реки уже освободилась от рыхлого белого покрывала. В этих плешинах виднелась рябь, вся в солнечных бликах. Блики эти до боли слепили глаза. Над селом ложился туман. Туман выползал из-за речки и прятал всё: и улицы, и дома. Было волнующе легко, как бывает лишь весной, и было такое настроение, что хотелось свершить что-то великое, необычное…

Яростно подняла река ледяные выросты, а из-под них, неистовая, крутая хлынула наружу вода и, пенясь, голгоча, надвинулась на берег, легко ломая и круша белые торосы. В розовом утреннем свете взбунтовавшаяся река была удивительна хороша. День был весенний, теплый, тихий. И на солнечной белизне снега стали ярко проступать краски: розовые, черные, серые валуны, ломая во льду продушины, медленно обнажались над белым полем. А льдины топорщились вокруг каж-

дого камня пластами, обломками, искристые, плавились и лучились в своих изломах синим, голубым, зелёным светом. И, пока шёл отлив, всё белое поле сказочными цветами усеялось. Словно живые, распускались они, цвели и играли красками. Но потом прошло время, вода дрогнула, зажила. Лёд стал подниматься. Скрылись окатыши-валуны, сравнялись продушины. И всё исчезло. Будто ничего и не было.

Раньше других больших и малых рек от ледовой неволи освобождалась река Поной, холодная, она ломала неволю бурно и дерзко. Гул ледолома третий день сотрясал дома. Ещё жидкое, весеннее солнце разливалось по талой земле. Почки на деревьях разрывало бледной зеленью, на некоторых березах появились молоденькие, распускающиеся листочки, некоторые уже распрямились из трубочек, но были маленькие, бледные под солнцем, с глубокими бороздками. Новая трава не прорезалась, летошние сучья прели, обугленные снежной влагой, кругом покой, лишь вершинками деревьев лёгкий ветер играл молодо и упруго. Весна (наконец-то!) взломала на Поное лёд. Скрежеща и дробясь, льдины влезали одна на другую, дыбились, как белые медведи и, словно обнявшись, медленно уходили под воду.

Наконец пришла долгожданная пора. Зашумели талые воды, весна быстро и шумно двигалась на север. День и ночь над Поноем кричали стаи перелётных птиц: на дикий скалистый север летели гуси, наполняя всё трубными кликами, белоснежными облачками над кремнистыми вершинами проплывали лёгкие лебяжьи стайки. Утиные косяки зашумели на тихих озёрах. Над синими силуэтами заречных хребтов, в желто-рудых просторах рассветного неба, лежали похожие на гигантских рыб, сизые облака. По краям облаков играли алые блики – предвестники солнца. От Поноя тянул зябкий утренний ветерок. Сиреневый отсвет лежал на снежных завалах, берёзы плыли в сиреневом тумане,

березняк тянулся густой, чащобный – красота! Багровое солнце, словно в изморози вставлено в стекло окна, у которого лежу я. Но солнце не уходит изо дня в день держится в раме, вставленное в окно. Розовая пелена затягивала небо, как сетью. Солнце катилось где-то за домами, среди ночи не прекращая свой путь; и дома, и жиденькие деревца у дощатых мостков – всё было залито нежным цветом. К зениту розовые облака понемногу светлели, перемежаясь с бледно-голубыми оттенками неба; здесь, на переходе к почти белесой голубизне, они становились розово-серыми, чуть более холодными. Старики сидели на мостках, посматривали на подсинено-белые снега, толковали о наступившей весне, предугадывая, какой она будет. Сияло солнце, утомляло голубое небесное бездонье; глаза ещё не привыкли к такому избытку света. В эту пору, людьми овладевают смутные желанья, возникают надежды, светлей становится на душе, так хочется изведать что-то новое, совершить доброе.

Как-то холодным ещё вечером я убирал у скотины. Накидав овцам сена, вышел из стайки и залюбовался закатом. Раскалённое докрасна небо дымилось, а самый его край, который касался земли, уже подплавился, подплыл янтарной жижей. И туда, в жидкий янтарь, медленно опускалось огромное кроваво-красное солнце и словно само плавилось, таяло, как кусок масла на горячей сковороде. Последними лучами солнца, обливало ещё землю, багрово отсвечивало в окнах соседнего дома. Пробиваясь сквозь ползущий со стороны ночи холодный туман, оно бледно окрашивало угрюмые пахты, трепетало на заснеженных холмах. И от этого казалось, что камни шевелятся, что вся огромная гора тяжело ворочается в зыбком вечернем тумане, укладываясь на ночь. А на дворе в текучей мгле сумерек прозревают близкие белые ночи. Они ещё на подступах, но всё уже объято предчувствием удивления и перемен. Ещё недавно своим чередом склонялись дни и

приходила ночь с темнотою, звездами, тяжелой сыростью на исходе и остывшими камнями у реки. И вдруг подкрались бесконечные, сквозные вечера; солнце уже давно-давно село, давно выгорел закат, но свет его неугасимо тлеет и мало-помалу с загадочным упрямством начинает прозревать, подниматься выше, выше, и в трепетных потоках его вспыхивает и так ярко горит Марс, будто его раздувают. И всё, что обращено в эту бессонную сторону, явно встревожено слепым неурочным светом, всё таит чуткую настороженность. А другая половина неба темна и непроглядна, там ночь, и потому двоится на белое и черное весь сумеречный мир: дома, деревья, заборы, даже столбы – всё с одного боку подсвечено, вроде присыпано ложным серебром, а с другого – сердитые потемки, которые тоже замышлены не для сна. День отстоял на славу, солнечный, яркий, искристо играли тугие снега, берущиеся в наст, звенькало из первых сосулек, загорчил первым подтаем воздух.

За Поноем после заката долго томилось, впитываясь внутрь, долго потом уже новым, не зимним мягким пологом лежала по белому полю нежная синева. Но ещё до темноты взошло и разгорелось звёздное небо с юным месяцем во главе и пролился на землю капельный, росистый сухой свет. За беленькими тонкими занавесками в двух окнах, глядящих на Поной, мерцал под ранним месяцем ранний вечер. Сбилось со своего сияния электричество, и опять увидели небо, запотягивались, как всякая божья тварка за солнышком, стали замечать, когда скобочка молодого месяца, когда полная луна.

Весна наступила. Утром солнце и мороз с еле заметной розовой мглой над тундрой, с лёгким инеем на прошлогодней траве, со звонким хрустом тонкого льда на снеговых лужах. К обеду небо синело, темнел за рекой березняк и начали течь ручейки. Зимняя дорога ледяной, порыжевшей от навоза (с осени навоз возили

в лепёшках) лентой косо пересекала вытаявшие межи полей, а по сторонам на оголённых пригорках что-то клевали пуночки. По вечерам с табарканием летали куропатки, разбившись на пары. Снегу стало мало, да и он стал зернистым, без наста. На берёзах перед окнами упоенно заливались птицы. Небо почти чистое, лишь под самым горизонтом окаймлённое редкими облачками. Ещё только одиннадцать часов, а солнце парит, как в полдень, заливая светом всю округу нетерпимо ярко отражаясь в реке: там кружились и падали в воду чайки. Такой весны никто не помнил во всём Поное. Вышел на воздух и зажмурился – так неожиданно ярко и резко ударил в глаза свет. Казалось, всё солнце, стоящее как раз над горой, скатывалось с горы сюда. Снег пылал, искрился, а в лёгких тенях отливало мякотной синью.

Тепло было весеннее, с запахом. На углу крыши у дома наплавлялась сосулька, на мелких от снега, проплешистых местах распрямлялся голубичник. Свежей, первозданной зеленью покрылись поля. От кипучих побегов молодой листвы курчавились деревья. Днём тёплый, пахучий, будто настоянный на цветах воздух дрожал от гула: всё живое неистово прославляло землю, солнце, жизнь. Над тундрой за рекой вставало солнце в полкруга, и тени от берез отпечатались длинными пронизанные багрянцем. И небо розовело, и тундра, и птицы, перелетающие с дерева на дерево. Певучая звонкость как бы призывала к движению и радости. Небо перемигивалось звёздами. Тишина. Истома. Не жарко и не холодно. Солнце светит одинаково ярко и в полдень, и в полночь. Всё-таки солнце – это прекрасно! Не вспоминаешь о нём в кромешной тьме и мёртвом электрическом свете полярной ночи. Всё некогда. А покажется добрый, сияющий диск над заснеженными сопками, и веселее застучит сердце навстречу весенним радостям. Откроешь утром глаза – не нужно тянуться к выключателю. Вместо жёлтого, опостылев-

шего за зиму света, комната наполнена пронзительным сиянием огромного, раздвинутого солнцем внешнего мира. Звенит прозрачный воздух под взмахами упругих утиных крыльев, по берегам речек и озёр важно разгуливают гуси, лебеди неторопливо опускаются на голубеющие воды и гордо поднимают свои головы. Всё это бывает в тундре только раз в году – весною.

Весна в тундре – время, когда птицы, звери и люди возбуждённо хлопочут, радостно поют и кричат, забывают о сне, о невзгодах, об опасностях! Все заняты охотой на птиц. Дети ловят птиц капканами, петлями, а взрослые отправляются подальше и приносят с собой жирных гусей и уток. В каждом доме тебя угощают гусятиной.

По деревне плыл черный, смоляной дым от кипящей в котлах смолы, которой смолили карбаса и доры. Некоторые доры уже были спущены на воду и ждали отплытия на тони. Небо было светло-голубое, пустое, будто стеклянное, море – огромное, выпуклое и спокойное, а метрах в двухстах от берега, как наваждение, неподвижно стояла на якоре дора. Куда хватало глаз, всё застыло – на берегу и на воде, было неподвижно, безлюдно и мертво. Вода была необычно прозрачна. Стояла на Севере весна, та пора, когда березы ещё голы, когда ночи уже тлеют, истекают светом по горизонту, когда на многие километры слышно, как однообразно напряженно играют, поют куропатки, а снег еще только сошел, всё залито полой водой, и часа в четыре солнце уже высоко и греет вовсю.

И когда у оленей появляется потомство, они тянутся из лесов в лесотундру, к берегу моря, где открытые пространства оберегают их от внезапного нападения хищников, где раньше пробивается трава и начинает зеленеть кустарник, а ветра спасают от гнуса, появляющегося вместе с теплом.

Лето – время нагула отощавших за зиму оленей, воспитания телят приводило пастухов следом за оле-

нями на морской берег, когда в реки начинала идти сёмга, приближались к суше стада морского зверя, а позже, с появлением ягод и грибов, открывалась охота на подросшую птицу. Олени находятся там до самой осени, пока не потянет с северо-востока холодным и острым ветром, когда исчезают комары и мошки, а по лесистым холмам и на ярко вспыхнувшей красным и желтым тундре высыпают в неимоверном количестве грибы, олени становятся беспокойными, начинают рваться с привязей, тянутся вслед за пасущимися на воле в леса, вглубь тундры к озёрам, где в сосновых борах и на каменистых грядах достаточно ягеля и легче пережить долгую полярную зиму.

Всюду ещё лежал снег. Холодновато поблескивал лёд на реке. Казалось, ничто не предвещало близкой весны. Но слабевший ветер незаметно подул уже не с востока, а с юга. Снег обмяк, отяжелел и, тусклый, пропитанный влагой, стал покрываться бурыми и глинисто-желтыми пятнами. Раздутые ноздри жадно втягивали свежий воздух и почудилось, что внизу, где-то глубоко под речным льдом, ворочается, набирая силы, что-то живое, крепкое, молодое. После пасмурных дней последней весны в Поное, 1975 года, в небе устоялась тёплая голубизна, синие тени легли на подтаявшие снега, в ослепительных полях лоскутками обозначились проталины. Холодный дымом стелющийся моросняк ушёл наконец-то за далеко маячившие на западе холмы, сладко повеяло теплом, земля просохла, проклюнулись язычки травинок на согреве и навалилась страда. Малиновая заря, озаряя темный восточный горизонт, явственно разливалась в небе. У завалинок возле изб в полдень курился парок, и запах весны, резкий, ещё не перебродивший, настаивался в молодом воздухе. Под ногами хрустела прошлогодняя трава, кое-где в тенистых местах от земли ещё тянуло холодом. Однако в воздухе было по-весеннему знойно, березовая мелкота, наступающая на пашню, метала первые листья,

пахло землёй. Дышалось легко, потому что была весна. От домов снег уже сполз, в улице он перемешался с грязью, но по ночам всё это сковывало морозцем. И под угором снег истощился, синевой обозначился изгиб Поноя. Земля дышала, млела под солнцем, как приласканное материнской рукой дитя. Пахло оттаявшим навозом. С крыш давно согнало снег, дома почернели, притихли, будто нежилые: редко у кого горел свет, дни стали длиннее, а ночи короче.

Чистая голубизна неба, местами запятнанного прозрачно-белыми мазками легких облаков, яркое солнце, весело клонящееся к закату – всё это навевало предчувствие близкой весны. На земле ещё лежал снег, но у людей на душе было тепло и отрадно. Первый взвоз уже начал просыхать, поля освободились от снега, он хоронился кое-где по низинам. И ребятишки, сделав своеобразный крюк из проволоки, катали обруч по высохшему первому взвозу и мосткам. Оглушительная луна сияла в пустом небе. Земля спала в мёртвом свете. Поверх головы светились большие окна, за которыми полыхала молодым светом ранняя весна. Она полыхала над огромной землёй, летевшей вместе с весенним солнцем к далёкому созвездию Лиры. В бороздах за щетиной стерни поблескивали лужи, земля отогревалась, млела под внешним солнцем; воздух был острый, бередливый, как прохладный морс. Заметно приблизившееся к верхушкам деревьев солнце не жарко и красновато просвечивало сквозь эту кисею, уже не ослепляя глаза, а заставляя лишь чуточку прищуриваться, и с ласковой, сонной нежностью касалось лучами прижмуренных век, словно бы трогало их невесомой и теплой материнской рукой. Река открылась темной, холодной водой от деревни до моря. Льды отодвинулись в море и стояли там по всему горизонту призрачной, дрожащей в мареве стеной. От них приходили стылые ветры, они и сами в каждый прилив придвигались к реке, сильное полое течение Поноя останавлива-

ло их, крошило, перемалывало. Горизонт всё дальше уходил вглубь моря, растворялся в его беспредельности. С сопок стекали ручьи, размывая последний снег, по берегам таяли грязные, позабытые ледоходом льдины. На угорах тонким зеленым ситчиком пробилась первая травка. Я шёл к дизельной, что стояла на шолонниках по мягкому, насыщенному влагой снегу, он легко вминался под ногами, но где-то в глубине, спрессовываясь, держал крепко, почти как наст. Подобрался к березам, что росли возле школы, тронул жёсткую, робко оживавшую листву. Невидимым облаком поднялись от земли терпкие скипидарные запахи, утопили меня в себе, отделили от белого мира зимы.

На просохшей горбинке сел. Зеленоватый мох был теплым, скупо зацветал белесыми крапинками. А вверху, в неощутимом сквознячке, тоненько посвистывали чёрные берёзовые ветки, отягощенные вздутыми пузырьками почек, оттуда, словно после проливного дождя, падали редкие холодные капли.

Возвращение из армии

Край родной долготерпения,
Край ты русского народа!
Не поймёт и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Ф. Тютчев.

У иных людей одна пора жизни переходит в другую легко и плавно, как бутон в цветок, свободно распускающий все свои лепесточки, и жизнь ни на минуту не перестает ощущаться единым целым: в прошлом её корни, в настоящем – цветение. Но бывает и так: что осталось в прошлом – мертвеет, отодвигается в глубокую даль и смотрит на тебя оттуда, точно из другого

века, и кажется, что жил по ту сторону переломного дня не ты, а кто-то другой, только внешне похожий на тебя. Так было и со мной.

Но какие бы думы ни одолевали меня, сегодня всё равно с самого утра был, мой праздник – возвращение из армии. Так бывало в детстве, когда ещё в ночи просыпался с бьющимся от непонятной радости сердцем, чувствуя свежий запах намытых полов, подошедшего сдобного теста и первый, многообещающий грохот заслонки об устье шестка. Не стану слагать гимн печке, её достоинства общеизвестны: согревает избу, сушит обувь и одежду, лечит, а главное – кормит. Городскому человеку (и то поперву) печь может показаться громоздкой, но никто из деревенских этого не замечает, сызмальства убедившись в целесообразности именно такой печки, внушительно-надёжной, вместительной, круглосуточно удерживающей тепло. Вот уже мать щиплет лучину, вот уже первый отсвет огня затрепал на стене и потянуло теплом, и весь мир, ещё дремотный, полусонный, такой странный во тьме, сразу кажется надёжным и добрым, потому что в нём уже пробудились отец и мать, они обогревают его и доглядывают за ним. Угарно и сладко пахло от истлевающих в самоваре углей, косо и лениво висела над столом солнечная пыль, едва шевелящаяся, густая. В другое окно виден был левый рукав Поноя, его искрящееся жаркое на солнце течение и берег на той стороне, разубранный по луговине березой и смородиной, уже запылавшей от цвета.

В открытую уличную дверь несло от нагретых и мытых до белоснежной белизны деревянных мостков сухостью и гнилью. Каждую субботу мама шоркала мостки и сени с песком и вехтем, по которым потом ступать была одна благодать. Вспомнил в подробностях канувшее детство, и оказывается, ни капли горечи в нём, и есть лишь удивление и радость, ибо большей воли и большего счастья не суждено изведать человеку,

чем в те начальные годы, когда обида крепилась в памяти не дольше утренней росы.

В конце мая дни бывают жаркие, а вечера свежи и приятны. Земля, накалённая солнцем, остывает не сразу, медленно. Пока не остынет земля, не охладятся бревенчатые стены, в избах стоит мучительная духота. Воздух в избе густ и горяч. Дышится тяжело. С удовольствием вспомнил о чердаке: там, на кровати, всегда спал затяжным и сладким, как в детстве, сном. До утра я проспал на чердаке. Когда открыл глаза, то первое, что увидел – тоненький пучок света. Он пробивался сквозь дыру в крыше и перечеркивал наискось, снизу вверх, темное пространство чердака. В этом лучике густо плясали пылинки.

«Утро уже», – понял я. Я не раз видел этот лучик и знал, что утром он перечеркивал чердак снизу вверх, в полдень тянулся прямо от одного края дощатой крыши до другого, а к вечеру полз вниз. Было душно, пахло пылью и сухими березовыми вениками, которые связками висели под самой крышей. Утро занималось розовое, нежное, солнце выкрасило крыши деревни неземными красками, испятнало стены, двери, белую печку – пестро и весело. Часов семь, наверное, было.

Сперва красная заря над логом, потом красный шар оторвётся, поплывёт, проследив по реке красную дорожку, выше, выше- вот уже ослепительно-белое, смотреть невозможно, и такое же ослепительно-белое в реке – два солнца глядят друг на друга. Ветер колышет прозрачную штору и вносит на чердак волну пряного аромата. Малиновой шалью повисла на кустах заря. В траве, где с вечера чирикали птицы, алмазами блеснули и зажглись капли небесной влаги. Тряхнул гагачьим пухом зрелый одуванчик, зарозовел иван-чай. В лиловом тумане утра золотой иглой скользнул первый луч восходящего солнца. Вот уже загудел трудолюбивый шмель, целуя умытые лепестки цветов, и весёлым колокольчиком взвился в небо.

Я таращусь в майское утро, уходящие неверные сумерки белой северной ночи, стараясь разглядеть, что там ещё за окном. Я знаю: это ветви березы унизаны листьями. В окнах светлело, они были мертвенно-серые, как чахоточные. Вздрогнул от знакомого скрипа калитки. Этот скрип я помнил с тех пор, как помнил себя, и сразу догадался: отец. Мне всегда было приятно просыпаться вот так же рано от этого скрипа и знать, что это кто-то из домашних, что ты окружен надежным теплом родительского крова. Что это для тебя тут подымаются до восхода, управляются со скотиной, топят печи, метут полы, что так было в доме и до рождения его отца, что мир этот прочен, устойчив, как берег Поноя, и тогда я снова погружался в сладостную дрему, чтобы встать к горячей картошке, к ладке жареной кумжи.

Окончательно проснувшись, я надел отцовские упорки (отрезанные от голенищ валенки или сапоги) и в полумраке сеней, уже не сдерживаясь, как кошка, ловко слетел с чердака по почти отвесной лестнице, по пути отстраняясь от лёгких, пахучих вениковых туш.

Плотно позавтракав, я решил сходить на рыбалку, по которой за два года службы очень соскучился. Прошёлся берегом до Богатой корги и, наловив изрядно хариусов, уже возвращался домой, мечтая, что скоро идти в клуб, где можно увидеть друзей. Быстро наступил вечер.

В клубе было не пусто. Ребята стояли в коридоре и курили. Девчата сидели на первом ряду, шушукались. Меня встретили радостно:

– Здорово, солдат!

Девки затихли и глядели на меня с любопытством. Я со всеми поздоровался, закурил, спросил у киномеханика Андрея:

– Какой фильм?

– «Стряпуха».

– Будешь крутить?

– Народ придёт на три рубля, буду. А так, пошли они… – выругался он.

– Ты, Никола, нам голову не задуряй. Кино... Ты за бутылкой беги, пока Шмара-продавщица не закрылась. С дембеля обязан поставить.

Порядок был вечный. Я достал деньги, на которые тут же купили две бутылки вина. Выпили, закурили, стали солдатство свое вспоминать: кто где служил, да какие случаи бывали.

Между тем в клубе людей не прибавлялось. Сиротливо стоял, невеликий, в десять рядов, табунок стульев. Пустовал и голый бильярдный стол с шарами. Девчата грызли семечки. Время от времени кто-либо из парней подходил к ним за семечками. Начиналась шутливая перебранка, возня.

Серое полотнище экрана шевелилось, морщинилось, видно, поддувало откуда-то.

– Андрей, поставь музыку, – попросили девчата.

Киномеханик поглядел на часы, объявил:

– Кончилась музыка! Народу нет – крутить не буду.

– Андрей, покрути, – жалобно запросили девчата. – Хорошее кино про любовь покрути.

– Любовь крутить вы сами умеете. Тут все учёные…

– Уж какой день не показываешь.

– Народу нет. Давай три рубля – буду крутить, – решительно заявил киномеханик.

– Ага! Не круто?

– Давай. Хоть для одной буду крутить. Вот то-то, – победно закончил он.

Под эту перебранку и выбрались из клуба. Деревня уже опустилась в глухую тьму ночи.

В 2005 году мне посчастливилось побывать в моём родном доме. Остался наш дом на краю деревни, как на ладони. И мне представляется, что как-то неуютно ему без близкого соседства других изб, расположенных

когда-то так тесно. Остался дом рядом, Куроптева Николая Савватеевича. Долго ли ещё простоит наш дом? Не знаю, но без него я бы утратил что-то самое важное, опорное в жизни…

1972 год

Гроза

А уж от неба до земли,
Качаясь, движется завеса,
И будто в золотой пыли
Стоит за ней опушка леса

А. А. Фет

На рассвете в деревню пришла гроза. Хотя ночью ничто грозы не предвещало, но к утру она прошла над деревней, разродилась коротким обложным ливнем, изрубила молниями тучи и унялась где-то за Бревенными сопками. Утренний свет погас. Тяжко ударили в пыль первые капли. Гром проломил небо и с воем обрушился на деревню. Он оглушительно захохотал и покатился далеко за Поной. Река вспыхнула, и в ней отразились горы и березняк. На чердаке под крышей зашептались испуганно воробьи. И через реку белой матовой чащей двинулся ливень. По воде пошёл шелест, она закипела и уперлась в берега. Над рекой свистнула и зашипела, сгорая на лету, короткая синяя молния. В другой стороне, за деревней, охнула и оступилась другая прямая полоса бьющегося огня, щёлкнула над самой землёй и разлетелась в разные стороны. На крыше домов легла стремительная густая толща воды. Гром ходил по деревне, как по половицам, прихрамывал и трещал каким-то тяжким костылём. При свете грозы далеко видно стало во дворах всех ещё третьего дня настиранное развешанное бельё. Оно металось на верёвках и грядках, рубашки взмахивали пустыми ру-

кавами, словно кидались бежать. Тучу свалило, и она шла стороной на Лог, Русингу. Тучу крутило, изнутри её вмешивало и душило. Молнии били чётко, и гром катился нервно и крупно и рассыпался, будто проламывал половицы. Потом туча разом вся распахнулась, в воздухе вокруг потемнело, и по деревне прошёл гул. На мгновение туча замешкалась, словно размышляя, куда свалиться, не поворотить ли назад. Потом она осела и пошла прежней дорогой. Она шла низко, грохотала, дымилась и как бы вытаптывала землю. Здесь я подумал, что есть что-то мстительное в её грохоте.

Белая лента молнии, раздвоившись вилкой у тучи, резанула зигзагом мутный свод неба. Вслед за молнией, ещё раз глухо ворчнув, ударил гром с раскатом, словно на небе протарахтели по булыжнику железные бочки. Сизо-черная туча, клубясь и пенясь, дулась, ширилась, захватывая полнеба, до огненно-белого солнца. Гулко ухнул вдалеке второй раз гром, будто кто ударил обухом топора в дно опрокинутой бочки. Вслед за ударом грозы прямо над головою отполированным лезвием кривой шашки сверху вниз и наискосок в землю резанула молния, и брюхо нависшей тучи лопнула за Поноем. Космы тучи, будто растрёпанные чёрные волосы, тащились за рекою. Дождинушка полил как из ведра, пригибая ветви берёз и прибивая траву обочь дороги. Дождь лил, шуршал – ровный, плотный, холодной мглой, туманом наполнил пространство от облаков до земли, медленно, неутомимо истязал людей за какие-то их грехи. Тяжёлые тучи продолжали грузно выползать из-за гор и тёмным пологом стелились над Поноем. Порывистый ветер прижимал траву. Тьма сгустилась ещё больше, и сразу стало прохладней. По берегу пронёсся вихрь. Ослепительно яркая молния разорвала темноту, и от раската грома загудела земля. Дождь широкой, шумной полосой приближался со стороны моря. Достигнув реки, дождь старательно начал решетить её поверхность. По воде пошли пузыри, лопаясь и появля-

ясь опять. И тут неожиданно накатила буря. Свет заслонили тучи, стемнело ещё сильней. Холодный ветер ломал на деревьях ветки и крутился, вздымал их к небу. Дождинушка ударил ещё сильней, крупный, с градом. Ветер навалился на дома, ронял заборы, поднимал крыши, срывал от причалов доры и карбаса и уносил их в открытое море. Молнии слепили глаза. Понойчане в страхе попрятались по домам.

Три дня над Поноем бушевал порывистый ветер с дождём. На речном просторе вспучивались белопенные волны, шарахались на берег, с шумом захлёстывая камни. Ветер вдруг обманчиво сникал. Берёзки в эти короткие передышки целомудренно оправляли потрёпанные сарафаны. Их смирённый ропот заглушался перехлёстом волн, что отчаянно бились о камни. А ночью всё стихло так же, как и пришло – сразу. Дождь шебаршил тихо по крышам, вкрадчиво скребся в стену. Гроза удалялась, только голубые молнии ещё долго плескались за окном. А дождь всё сыпал и сыпал, словно навёрстывая упущенное за лето. Капли воды стекали, висли на листьях, с нудным звоном тюкали лужу у крыльца, нагоняя тоску, которая, казалась, просачивалась в каждую щель.

Утром, когда уплыли задумчивые облака и грустные травы легли к ногам, когда взошло солнце, земля засверкала, занялась зелёным огнём, открылись далёкие взгорья, изволоки и зелёная земная зыбь, заливной луг первого взвоза. Утро после ночной грозы оживало, неторопливо, исподволь. Бури будто и не бывало.

Какая-то птичка робко заявила о своём пробуждении. Деревья примолкли. Солнце то проглядывало, то пряталось в низких и рваных тучах, и тогда шёл мелкий дождь.

Разная бывает тишина: тревожная, грозная, задумчивая, ледяная. Это была теплая и нежная тишина ожидания, как перехваченное на миг дыхание перед чудом, которое обязательно произойдёт.

И оно произошло. Тоненький посвист с мелодичными перебивками поплыл в воздухе, подала чистый, похожий на звон серебра, голос пеночка-веничка, и вдруг ударил, рассыпался высоким звоном со всевозможными коленцами жаворонок полярный.

В половине пятого, когда солнце позолотило тюль на окнах, я встал: пора было собираться ехать в Лахту на ремонт линии, в то время я работал связистом. Время было раннее, густая испарина подымалась от смоченной дождём земли, от трав и деревьев. Туман устремлялся навстречу поднявшемуся солнцу, ещё слабо пропуская его лучи, но по всему было видно, что день может выстояться погожий, редкий случай в это дождливое лето. Разутрилось. Небо выступило уверенно, обозначило облака, лёгкие, крутобокие, они тоже будто очнулись и пошли, а над горой понемногу занималась заря. Это уже была не та широкая, щедрая заря, что одаривает летнее утро, эта была поскромней и с какой-то прохладцей, жалась в прищуре горизонта.

В Лахту мы выехали на доре, пока была полная вода. В народе говорят: не всякий гром бьет, а бьет, да не по нам. В тот день гром ударил по нам. Ещё только-только мы въехали на доре в Лахту, как заметили небольшую толпу народа, навстречу нам вышел начальник фактории.

– Андриана Степановича убило, – сказал он и больше ничего не смог пояснить. Уже проходя сквозь толпу, я слышал обрывки негромких разговоров, из которых понял, что Степановича убило молнией.

Собираясь на линию, он шёл к карбасу, опутавшись через плечо мотком провода, в него и ударила молния.

К вечеру нанесло снова жаркую грозу, удары грома следовали часто, один за другим, а в промежутках между ними весь душный и нагретый воздух и стекал белым искорьем и трещал по сухим стенам дома, будто отдирали старые залубеневшие обои.

После грозы с моря потянуло мокрым холодом. Но воздух был свеж и припахивал морскими водорослями. И снова утро было влажное и тёплое. Солнце томилось в вязком тумане, однако грело пристально, обещая жаркий день и дождь к вечеру.

Детство

Гуляла весна девчонкой с голубыми мечтами. Тундра подернулась дымкой. Снег, умирая, подарил жизнь травам, цветам, листве. Вечерело. По пологому склону горы солнце катилось в море, на ночлег. Косые его лучи в переливах речной воды вспыхивали, как янтари. Сбежавшие к реке олени дожевали остатки зари, лениво поднимались на берег и ложились беззаботно под кустики рогов.

Детство… Как всё-таки свежи в памяти его следы! Кудрявая ива, ползучие берёзки… Речка...

Я вновь на берегу этой замечательной реки. Повороты всех тропинок помню наизусть. Здесь я рос, ходил на рыбалку и охоту. Так вот же она, всё та же гора, по которой я с пойманной впервые куропаткой мчался на лыжах сломя голову, повесив свой первый трофей на пояс, чтобы видели все, какой я промышленник. К дому я шёл, хмелея от счастья, и ноги не чуяли земли. Нет, я не шёл, а летел. И даль становилась как будто светлее. Сияло солнце. Раздвинув широко золотые ресницы, оно глядело на меня с любопытством.

На память пришёл родной дом, где прошло моё детство. Дом был большой, как казалось мне тогда. Он сухо потрескивал от мороза, а коли позёмка мела, снег шуршал о стекло, словно кто-то силился заглянуть в окна, и что-то глухо хлопало по крыше, то ли доска карниза, то ли железный лист возле трубы. Тонкие стрелочки льда протягивались по мокрому стеклу, с жилой стороны – в избе выстывало.

Старшие сестрёнки ушли в сельский клуб на танцы: была суббота, и сегодня завели старенький клубный движок, который прерывисто пухал, издавая электроэнергию. Младшие братья спали сладким сном.

Мама в то время находилась в районной больнице, а отец в стаде. Я сидел за столом, читая книгу при керосиновой лампе, огонь которой испуганно вздрагивал, когда о стену дома разбивался порыв ветра, я сидел, накинув на плечи зимнее пальто, и совал голые руки под мышки, ежился, напряженно прислушивался ко всем звукам, долетавшим снаружи. Мне внушала опасение лампа. Я то и дело взбалтывал её, слыша жидкий плеск внутри: керосин кончался, а идти в сени, добавлять керосину было страшновато. Хоть бы сёстры пришли скорей! Я вытягивал шею, напряженно всматривался в тёмное окно.

То мне чудился знакомый свист, которым лихо владел мой друг Паша Шевелюхин, то скрип лыжных палок по снегу, то глухое притопывание на крыльце. Но это только чудилось. Охапка поленьев лежала наготове возле печки, но я не затоплял её, медлил: а то выстынет в избе до сестриного прихода. Пар от дыхания ударялся в лампу, язычок пламени трепетал. Старые часы тикали громко и скрипуче, а стрелка словно заржавела: она едва-едва ползла по циферблату. Казалось, всё отступило куда-то: и соседские дома, и всё живое, и стоит дом наш посредине равнины, а вокруг ни души.

Чувство одиночества нарастало. Мной овладевало отчаяние. Я уже не верил, что сёстры придут, уже злился, уже готов был плакать и вглядывался в стрелки часов – читать не хотелось; тщетно вслушивался в долетающие звуки – ничего, кроме шуршания снега по стене и глухого хлопанья по крыше. И вдруг – о чудо! Я явственно услышал сестрин смех. Сёстры идут. И лампа начала светить ярче. Быстро наломал лучин для растопки печки. Лучины весело затрещали, потянуло смоляным дымком.

Я сбрасываю с плеч пальто, мне уже не холодно, и дом кажется обжитым, уютным, светлым. Растопка из лучин догорает, постреливая алыми угольками – это к гостям! Примета такая. Занялись поленья. Я начинаю лихорадочно вытаскивать задвижку в трубе, щипать дальше лучину от соснового полена, специально лежащего на печи для этой цели. И растапливаю печку. Пламя весело шумит и рвётся вверх, в трубу. Тяга такая, что поленья хоть привязывай: не дай бог, через трубу вылетят целиком.

Они входят. Красный отблеск пламени из печи радостно играет на белом боку большой печи. Не слышно тягостного стука маятника старых часов, не слышно зловещего хлопанья на крыше – весело и хорошо. Сейчас сёстры сядут у печки, они будут разговаривать, делиться впечатлениями о проведённом вечере в клубе, а я спокойно продолжу читать. А потом мы все вместе сходим в стайку, где должна окотиться одна из овец, дадим овцам пахучего сена на ночь. Попьём горячего чая, а потом ляжем вместе на одной кровати, под одним одеялом, и будем спать, грея друг другу спины…

Дровосечка

Пришла, и тает всё вокруг,
Всё жаждет жизни отдаваться,
И сердце, пленник зимнихвьюг,
Вдруг разучилося сжиматься.

А. А. Фет

Земля лежала ещё под снегом, деревья стояли голые. Высокое небо было ясным и холодным. К западу тянулись холмы, пестревшие весенними проталинами. По утрам ещё курился морозный пар над Поноем, льдисто сверкал на полях крепкий наст и ребятишки бегали в школу не дорогой, а прямиком, но уже чувствовалось приближение весны.

Зима неторопливо скатывалась под весну: снег скипелся сахарно, стеклянным настоем обложило сугробы, и хотя зеркальный, слепящий глаза покров пока не держал на себе человека, но уже ладно отполировал забои. Земля потекла, из её натужившегося чрева потекли первые соки, и неясные сиреневые пролысины обманчиво упали на встопорщенные ивняки. Весной запахло, весной, хотя морозы в полной силе и добрый хозяин, не жалея дров, дважды в день калит печи. Но в предутренние смирные часы особенно сладко отзывается душа на растворенную природу, когда в атласном небе трепетно прогибаются к земле зазеленевшие звёзды, готовые прорасти в снегах, а воздух хмельно дзинькает, как подгулявшая чернозобая синица. Весеннее, но ещё холодное солнце заливало прозрачной позолотой запушенные снегом улицы Поноя. Начала горбиться и чернеть дорога от фермы до полей: по ней возили навоз. Зори разгорались всё ярче, солнышко как бы набухало день ото дня, вставало огромное, багрово-красное, выманивало из-за реки на забереги куропаток. Далеко открылась речная даль, скатившаяся к морю.

Обычно в эти мартовские дни собирались дровосечки. Приходили друг к другу односельчане и просили помочь в заготовке дров, в основном это были пожилые, одинокие женщины. Вечер выдался светлый, безветренный. С чистого, безоблачного неба глядел месяц, окрашивая избы понойчан в молочный цвет, когда пришла Августа Ивановна просить нас мужиков на дровосечку. Отказываться было нельзя, потому что и тебе пришлось просить бы людей о помощи, хотя и было мне в то время всего четырнадцать лет, но в Поморье это уже считалось, что ты мужик.

Небо на востоке почти прозрело, стало подниматься, а понизу, с широким захватом, занялось всё нежно-розовым, ещё не выспевшим светом, зато лёгкие, развеянные за ночь и вознесённые в голубеющею высь облака жарко полыхнули в пронзительно моло-

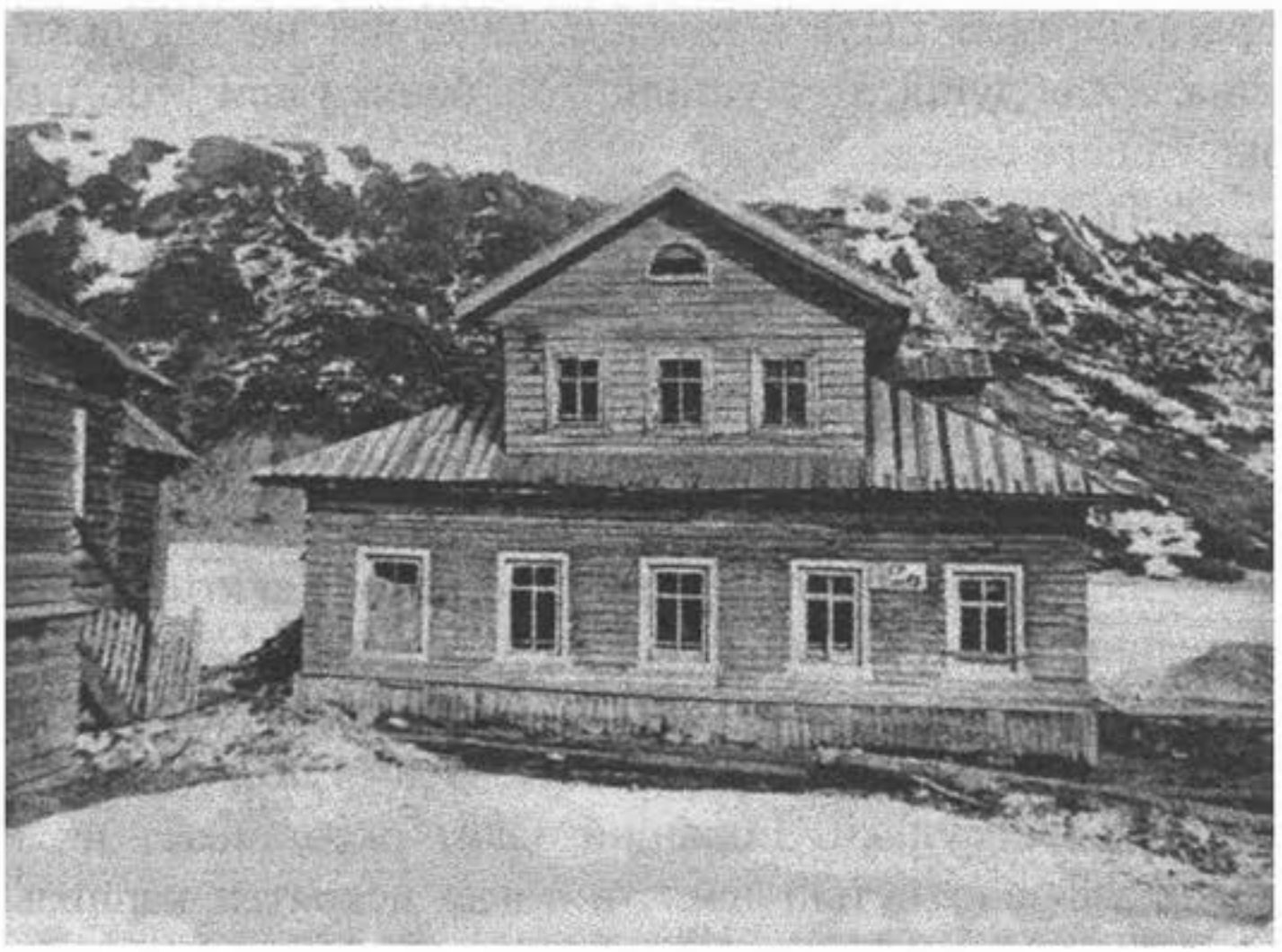
дых лучах солнца, ударившего по ним из-за горизонта. Мы уже отъезжали на тракторе. Верёвки для вязания бунтов (дрова складывали в кучу, перевязывали их верёвкой и спускали с горы, бунт катился до самой реки) и топоры – всё было приготовлено с вечера. И когда поднялись на очередную вараку (место, где рубят дрова), иногда дрова – мелкий белобокий березняк – были ещё с начала зимы нарублены и стояли костром), то увидели, что и само солнце уже легло на Бревенный, шафранно-красное, как обрубок железа, раскаленный в горне и только-только брошенный на наковальню.

Весна задерживалась, по ночам сковывало наст, утренники стояли звонкие, ядреные, но вот где-то накопилось избыточное тепло и широко хлынуло по земле, отгоняя ещё дальше на север зиму. До этого три дня подряд над деревней тянулись нескончаемой холстиной низкие тучи, цепляясь свисающими обрывками за реку, пробуждая её встряской. Непрекращающаяся изморозь настойчиво съедала снега. Как всегда, раньше всех обнажился шошинский угор возле школы, и в полях появились проплешины. Потом вернулось солнце, напористое, обновленно ясное, оно тоже принялось за работу, что подстёгивало нас спешить с дровосечкой. Река Поной должна была вот-вот сорваться, в ней копилась полая вода, бегущая из ручьев, но пока она шла поверху, наледью. День наполнялся светом и теплом. За рекой в кустарниках табаркали куропатки.

Уже не так драло наледью полозья тракторных саней, а кое- где в затишках зарождались первыми капельками, совсем ослабевшими за ночь, ручейки. Солнце ударило прямо в глаза, заставив зажмуриться, и всё вокруг сразу пришло в движение, пока слабое, осторожное, но разгонистое. День обещал быть богатым и звонким, небо стояло открытое, чистое, воздух от солнца подмяк, ледок по дороге начал запотевать. В березняке, где нам предстояло рубить дрова, лежал ещё снег, но он повсюду проседал, источаясь, из него тор-

чала, как взросла за эти дни, прошлогодняя трава, виднелись проталины. Деревья за речкой, ещё не пробудившись окончательно, уж распрямились, отогревались, протяжно пошевеливались от собственных токов. Горчило: воздух за ночь не успел поднять в вышину вчерашнего натая. Солнечные лучи стелились как бы вдоль земли, не доставая до неё, но наклонялись всё ниже и ниже.

Нарубив три больших бунта берёз и скатив их с горы, мы, шестеро мужиков, начали загружать тракторные сани. Солнце поднималось всё выше, припекая, и по дороге уже засочилось, засверкало, собрались первые, короткие течи. Снег по сторонам, посинев, набухал и тяжелел, тяжелел и воздух, постепенно пропитывался сыростью.



Последний купеческий дом

День полностью разгорелся, потекли ручьи, пока ещё безголосые и натужные; над полями с подгорной стороны заструился, волнуясь, воздух, молодой берез-

няк за ним выбелило солнцем в одну клубящуюся полосу, колюче, занозисто каркала в полёте ворона; путался, не направляясь, слабый земляной ветерок. День стоял светлый, но неяркий и тихий – какой-то сонный. И это при солнце на небе, солнце, казалось, источилось, догорая, его слабый свет повисал в воздухе, не доставая до земли, когда мы выехали уже обратно.

Зимняя река Поной совсем прохудилась, лёд болезненно посинел, у берегов, да и не только у берегов, разлились полыньи. Дорога через Поной, оттаявшая по сторонам, почернела и выточилась, по ней с недовольным карканьем ходили вороны. Солнце стояло ещё высоко, когда мы приехали домой и, разгрузив сани, сидели на крыльце в предвкушении званого ужина, где должны быть и кулебяка с оставшейся с зимы сёмги, и грибки, и всякое разносолье, и, конечно, незаменимая брага, которая была в каждом доме, нет не для пьянства, а для души, то с устали, то с баньки или угостить зашедшего соседа.

После трескучих морозов и затяжных буранов несказанно хороши бывают мартовские оттепели. Люди знают, что ещё не весна, что будут ещё не раз стоять над землёй неподвижные холодные туманы и бесноваться непроглядные вьюги. И может быть, потому-то так дороги эти тёплые редкие дни. В полдень начинаются капели. Не часто и как будто нехотя скатываются с крыши первые капли и падают в сугробы нанесённого буранами снега. Они летят до земли медленно, продолговатые, синевато-прозрачные. Вечерами под крышами повисают сосульки. Горящий закат окрашивает их в оранжево-золотистый цвет, и тогда искрятся карнизы домов, отделанные причудливой хрустальной бахромой.

1967 год

Есть ли власть у сельской власти, или Так ли важно иметь сельское поселение?

Местная власть – самая близкая к народу. И значит, самая важная, ведь от неё зависит решение насущных проблем людей, а значит, и их благополучие. Полномочий у органов местного самоуправления много, но по причине скудости бюджета решать волнующие людей вопросы удаётся не всегда. И идея правительства Мурманской области об укрупнении сельских муниципальных образований вызвала неоднозначную реакцию со стороны как руководителей сельских поселений, так и общественности.

Вопрос этот непростой. По мнению многих, в дотационном поселении муниципальная система управления оказалась полностью неэффективной. Из-за отсутствия средств и грамотных специалистов местные власти не могут решить даже простейших проблем, не говоря уж о ремонтах дорог и реформах ЖКХ. Вполне уместным считаю назвать некоторые из проблем.

Взять берега реки Вирмы. Да, живописными эти берега назвать было бы не очень правильно, из-за нашего же бескультурья. Но правый берег Вирмы в районе школьного моста был довольно приличен до того, как решили почистить русло реки. В результате теперь перед глазами огромные камни (откуда только взялись!), загородившие проход людям и место катания детишек зимой. А дамба, построенная в сторону «семёрки», которая впоследствии была вывезена? Кем это сделано, остаётся только догадываться, но явно не простым работягой.

А авиаперевозки? Не думаю, что мэр Москвы или его приближенные отправляли самолёты из аэропорта Внуково или Домодедово. Это прямая задача авиаперевозчика, который несёт ответственность за

пассажиров и грузы. Что это, нечем заняться нашим чиновникам?

Прошёл слух, что за капремонт будет увеличена плата пока до шести рублей за квадратный метр. Проглотим и эту пилюлю, как бы она ни была горька? Два года назад отдыхали в Краснодарском крае, и я рассказал о том, как мы платим за отопление и летом, которое отключают уже в мае. Люди, которые были из многих уголков нашей необъятной Родины, были удивлены, не поверив, что платим за воздух.

Теперь о том, что надо регистрировать домики, находящиеся на озере. Я согласен, всё правильно, но извините, не такую же цену баснословную, под сто тысяч! Недавно по телевизору смотрел передачу, где фермер под Москвой взял в аренду 400 тысяч гектар, заплатив за межевание 70 тысяч, что вполне реально. А у нас 35 квадратных метров стоят столько же. Это просто аксиома. Парадокс, приближённый к абсурду. Считаю, что и с этим негативом тоже должна бороться администрация.

Выскажу мнение многих людей о ликвидации поселения. Оптимизация системы местного сельского управления в 2014–2015 годах показала, что ряд территорий не могут самостоятельно работать как с доходами, так и с расходами. 95% поселения живёт лишь за счёт дотаций из вышестоящих бюджетов. У них нет ни возможности самим зарабатывать, ни стимула: зачем, если всё равно получат дотацию?

Всем известно, что деньги из области сельские поселения получают через районы. У области нет возможности работать с каждым поселением напрямую. Особенно если учесть, что уровень местных специалистов по финансам недостаточно высок. По-моему, срок деятельности достаточно велик, чтобы делать выводы о несостоятельности и иждивенчестве «отстающего» поселения. Им был дан шанс проявить себя.

Налог и дотации – особо животрепещущая тема для маленьких территорий. Налог на имущество и на

землю – главный источник дохода. Налог на имущество физических лиц – тоже, казалось бы, стабильный источник. Следующий по значимости – налог на доходы физических лиц. Хотя немудрено, что большинство глав не слишком жалуют районную «надстройку». По мнению общественности, если уж что и следует упразднить, так это именно её. Система управления района к настоящему времени утратила свою роль связующего звена между областью и деревней. Именно от грамотности и наличия местного управления зависит развитие села, а вовсе не от укрупнения. Я не думаю, что если самоуправление уйдёт, деревня рухнет.

В советское время «деревенская власть» была самая близкая к народу. По любому вопросу люди привыкли обращаться не в район, а в сельсовет. А сегодня надо ехать к специалистам или в Мончегорск, или Оленегорск, где оформляют и все необходимые справки. А это опять же транспортные расходы. Можно будет сэкономить деньги «на хозяйство» путём сокращения руководящих и прочих должностей в поселениях. Надеюсь, да и не я один, деньги сберегутся и урон селу в целом будет не нанесён. Конечно, как говорят и сами власти, всё определит народное мнение. И высказать его можно будет на референдуме.

Президент России высказал следующую мысль: когда руководитель-хозяйственник идёт во власть, он приносит в неё новые идеи, новые подходы к решению наболевших проблем, и положительный результат его работы сразу виден по качеству жизни людей. Обратный результат получается, когда руководитель прячется за спиной своих ставленников, продвигая их во власть. Отсюда неумелое руководство, утечка финансов, коррупция, а в итоге страдают простые люди. Воровать стало лучше, воровать стало веселее. А ведь коррупция рождает у людей бесправие и бессилие. Люди сникли от того, что ничего не меняется в лучшую сторону.

А чиновник, наоборот, бодрый, загорелый в любое время года, полон личных планов. И чем дальше занимает своё тёплое кресло, тем безнаказаннее себя ощущает.

Мы также за отмену необоснованных привилегий для работников государственных аппаратов, которые сидят и дрожат, как бы их не выгнали, да пенсию хорошую хотят заработать. Известно, что доходная часть доходного бюджета около 60 млн рублей. Из них львиная доля приходится на содержание аппарата. Не удивлюсь, если зарплата главы сельской администрации соизмерима с зарплатой федерального министра. Благодаря федеральному закону № 131 «О местах самоуправления» в районном центре сложилась парадоксальная ситуация. Бок о бок работают две административные структуры, два совета депутатов. «Двоевластие» ничего, кроме увеличения численности и расходов на содержание чиновничьей братии, дополнительных бюрократических препонов и неразберихи в управлении, не принесло. Происходит дублирование полномочий, люди, наверное, заметили, что один и тот же приказ исполняется двумя администрациями.

На ключевые посты в администрациях («ближний круг»), со слов людей и моих собеседников, назначаются исключительно «свои» выдвиженцы. И их главный критерий подбора кадров – личная преданность, а не профессионализм.

Муниципальное образование сельского поселения его глава превратил чуть ли не в семейную кормушку. Я это к чему? Который год Северный национальный колледж просит в аренду гараж на территории ЖКХ, некоторые из них заняты частниками, неужели частник платёжеспособен, а колледж – нет?

На территории района, на природных сёмужьих реках Поное, Йоканьге, Варзино, Харловке и других обосновались на правах арендаторов турфирмы. Чиновники, наверняка уже заключавшие договоры с ни-

ми, перезаключили заново, не думая вообще про исчезающею популяцию царь-рыбы, которую могли бы ловить и создаваемые наши рыбацкие артели-сезонники. И не происки ли, как говорят, капиталистов, что гибнет сёмга от какой-то неведомой болезни. Недавно показывали по телевидению, как в Териберке жгли автомобильными покрышками не десяток, а несколько сотен тонн этой прекрасной рыбы.

Турфирмы все обслуживают иностранных туристов-рыболов. Истинные барыши коммерсантов – тайна великая есть. И поступление в местный бюджет от их деятельности – не более одного процента.

Недовольство местных жителей вызывают тарифы на коммунальные услуги (самые высокие в области), плачевное состояние жилфонда, отсутствие в районном центре и Краснощелье больничных пунктов. Повальное пьянство уносит сотни жизней людей, плодит бытовую преступность. Я уже писал на страницах нашей «Ловозерки» об этом, но мер, к сожалению, никто не принял и не собирается. Не открыто ни одного нового предприятия, ни одна спортивная секция. А бар открыт. И перекачиваемые деньги, несомненно, идут в карман частникам, а не государству, которое испокон веков занималось водочной реформой.

Проблем накопилось множество, людей понять можно. Как правило, их не интересуют высокие материи, они оценивают свою жизнь по повседневным реалиям, а сегодняшние, к сожалению, таковы, что не дают повода даже для осторожного оптимизма. Лимит доверия к администрации и её главе исчерпан. Терпение ловозерцев не беспредельно.

Бросается в глаза тональность жизни. Тишь, гладь и божья благодать. Никаких проблем. Сплошная веселуха с местным колоритом и забавы. Короче, картина маслом! Подумалось, не может быть всё благополучно в депрессивном районе.

А что власть? Живёт всласть! Она сама по себе. Мы как бы сосуществуем в параллельных мирах, не пересекаемся. За годы правления этих команд социально-экономическая ситуация в районе только ухудшилась. Сразу замечу, информацию получал на уровне слухов, домыслов, предположений, без документальных доказательств. Люди просили не называть их фамилий – мотивация понятна.

Но все они разными словами оперировали одними и теми же фактами. Бюджет района дотационный, в пределах 90%. Высок удельный вес безработных в численности трудоспособного населения.

Конечно, сельское поселение в тесном тандеме сотрудничает с учреждениями, расположенными на территории. Но надо и ещё находить общий язык, поддерживать друг друга. Надо указать, что сельское поселение на протяжении множества лет и даже столетий остаются важным и незаменимым элементом государства. И на протяжении практически всей истории человечества играют важную роль в развитии каждого государства.

Также не видно работы депутатов. Следует признать, денежное содержание народных избранников за последние пару десятков лет существенно возросло. Можно с уверенностью сказать, что слуги народа стали обходиться народу как хозяева. При социализме, например, депутаты районного, городского, областного и прочих советов работали исключительно на общественных началах. Ни на каком уровне зарплату за представительство трудящихся им не платили. Сегодня власть с успехом покупает как чиновников, так и депутатов. Вряд ли многие знают, что размер зарплаты у них прямо пропорционален.

Увеличивается зарплата чиновников – автоматически возрастает и жалованье «слуг народа». Поэтому депутаты и голосуют за многократное повышение квартальных премий и прочих материальных поощре-

ний чиновничьего, а заодно и оплаты своего собственного «изнурительного» труда. К слову, зарплата депутатов Госдумы три года назад в среднем составляла 250 тысяч. И совсем недавно было предложено довести их зарплату до трёх миллионов. Вот где она, нищета полнейшая. В принципе, нашей демократической «власти» никакие политические партии как таковые не нужны. Сегодня у нас есть опора покруче –вышколенный аппарат чиновников, получающий весьма приличное жалованье. Ведь от чиновников давно уже не требуется конкретных результатов работы. Главный критерий их профпригодности – преданность начальству которое подчас они путают с Родиной.

Судите сами, в эпоху так называемых демократических реформ количество чиновников увеличилось в два раза. При этом уровень их заработной платы непрерывно растёт, а коэффициент полезного действия падает. Нельзя же в самом деле симуляцию бурной деятельности, растиражированную во всех средствах массовых информации, считать эффективной работой. Эти бесконечные сюжеты о славных чиновничьих делах, как и их физиономии, у большинства простых людей давно уже вызывают изжогу.

Жара

Что за зной! Даже тут, под ветвями,
Тень слаба и открыто кругом.
Как сошлись и какими судьбами
Мы одни на скамейке вдвоём?

А. А. Фет

День клонился к исходу, а низкое оплавленное солнце всё ещё жгло; и валуны, и деревянные мосточки, и земля, плохо прикрытая выгоревшей травой, да и сама трава, пылившая и хрустевшая под ногой, – всё пылало зноем.

Испепеляющий зной стоял в 1972 году в Поное, небо было раскаленным. Сквозь него, однако, беспрепятственно проникали жгучие солнечные лучи. Пришёл нескончаемо длинный день.

Солнце каталось теперь над Поноем утром, вечером, ночью. Даже небо выгорело от его света. Синева, что была по весне, слиняла. Звёзды выцвели и исчезли, а Луна когда и показывалась, то тоже белесой была: вот-вот совсем растворится на светлом небе. А земля прогрелась в округе и распахнулась: на вараках в тени кустов, на полянах в травяной поросли зацветали ягодники.

Петров день благодатный выдался. Солнце светит, тепло. На небе ни тучки. А тихо – травинка не шелохнётся. Не часто бывают в Поное такие дни. Петров день всегда приходит с большими водами. Вот и в этот год были приливные воды большие.

Солнце поднялось уже высоко, зной съедал голубизну неба, оно становилось белесо-мутным. Жар волнами наплывал сверху, приглушая все звуки, кроме негромких всплесков волн, облизывающих горячие камни-голыши. На эти мокрые валуны почему-то беспрерывно садились бабочки-капустницы, пошевеливая белыми усами до того мгновения, пока не накатывалась очередная волна.

У причала, где обычно останавливались доры и баржи, уже несколько минут плавали у дор и барж, хохоча и дурачась, вздымая радуги водяных брызг, мальчишки. Прыгали с кают барж, слава богу, вода ожила и подходила уже до полной. Июль не принёс ожидаемого дождя, в Поное стояла сушь, такая, что и старики не упомнят. Жухли от солнца трава, деревья, не было совсем ветра. На колхозных полях капуста и репа сулили неурожай, не росли по буграм и в тундре грибы. А солнце каталось по небосводу не заходя, старательно и нещадно сушило землю.

Лишь после полудня побрызгал немного сиротский дождик – и снова в небе ни облачка. Да, сорнякам

июньские и июльские суховеи были нипочём, даже в благодать, особенно свирепствовала сурепка, к июлю она буйно расцвела, иные овсяные полосы совершенно закрыла жёлтым своим огнём, точно расплавленное солнце растекалось по земле в разные стороны. Хотя утро разгорелось росное, парное. Грозивший ночью дождь так и не пошёл, начавшийся было ветер утих, вместе с проблесками нового дня откуда-то накатился не по-утреннему тёплый воздух, листья и трава вспотели, на низких местах закурились туманы, задышала река. По вечерам солнце, большое и багровое, медленно тонуло в мути, утрами, такое же распухшее и красное, поднималось из-за гор, равнодушно совершало над Поноем свой извечный круг и снова садилось, окутанное всё той же зловещей дымкой. Однако вскоре оно всё же поутомилось. Теперь поднималось уже не так высоко, как раньше, тепло и свет его поубавились; когда подходило к северу, опускалось каждый раз ниже, а потом и прятаться за горизонт стало. В эти часы приходила спасительная прохлада. Но ночи светлыми оставались в лёгких сумерках, и улицу видно сквозь. После парной духоты дня понойчане как ожили. В домах – открытые настежь окна. Посреди улицы, на лужайке молодёжь и женатые мужики играют в лапту. На улице разгорячённые голоса, смех.

Подошёл конец августа, и в солнце не стало уже силы и жара была только видимостью жары. Присутствовало во всей природе что-то лихорадочное, что-то горькое и тайное, торопливое, как в бабьем лете, хоть и далеко было до него. Ночи стояли уже туманные, холодные, росистые. Луна над рекой и туманом всходила близкая и красная. Но лето держалось, держалось пыльно и пекло, пока наконец не прошёл обильный дождь с градом, после которого сразу придвинулась осень, объявились вдруг первые жёлтые листья, красно-коричневые загорелись дороги, заросшие подорожником

Забой оленей

Как испаряются, дрожат рогами
Стада оленьи издалека!..
Андрей Вознесенский

Прошла затяжная непогодливая осень, ударили морозы и выпал глубокий снег. Установилась зима. Наступила пора забоя. Стоял на исходе октябрь, пора холодная и мрачная, сильная моряна[1] вздымала и кидала в глаза мокрые листья, кончался листопад.

В губе гуляла непогодь, рвала карбаса[2], мы торопились на Кузьмин на старой и ветхой доре. Было зябко. Резкий ледяной ветер, свидетельствующий о близости моря, то гудел, то стонал, дора неслась, раскачиваясь и вздрагивая, убегая от попутной волны. Небо черно от нависших туч. Вокруг мрак и непрерывный гул бушующего моря. Изредка лишь из-за мчавшихся клочковатых облаков вдруг выглядывала полная луна, освещая своим таинственным серебристым светом холмистое море, несущую дору и рассыпающиеся у носа алмазные брызги верхушек волн. И снова мрак ледяной осенней ночи в море, куда дора попала, посланная председателем колхоза на забой.

От пронзительной моряны все продрогли и пристали к берегу у фактории Лахта. Ветер, однако, не стихал, и волны белогривым табуном налезали на низкий берег. Из гнилого угла, как лохматые быки, медленно шли тучи и волочили тяжёлые серые космы по гребням волн. Стоял 1968 год. В этот год проводили последний забой на Кузьмине. После долгих споров было решено перенести забой на Корабельный, с экономической точки зрения: это было ближе, и морем ехать не надо.

---

[1] Моряна – северный ветер. Поной
[2] Карбас – большая поморская лодка.

В тот год мы с Василием Русиновым не поехали в школу и на год остались поработать в колхозе. И вот теперь и нас тоже отправляли на забойную кампанию. Уезжали из деревни с поворотной водой – это момент, когда всякое течение на море прекращается. Четыре раза в сутки бывает такое: при полном отливе или полном приливе. Пойдёт вода на убыль – течение вдоль берега с запада на восток, к Горлу Белого моря. Но наступает отлив, куйпога, как говорят местные жители, замирает ненадолго вода в море, а затем течение как бы вспять поворачивает – уже с востока на запад. И так до полного прилива. Лёд провис, впал над пустотой, затянулись трещины, словно резаные раны, и лишь кое-где, у огромных снежно-ледяных торосов, виднелись пристывшие провалы воды. Сквозь тонкий стекольный ледок зияла глубина, и далеко внизу серо мерещилось галечное дно. Вода была зеленоватая, полуморская, полусолёная. Из-за гор вставала над морем голубая зимняя луна. Луна казалась глыбой льда, отколовшейся от гор. Сквозь редкие облака пробивалось скупое полярное солнце, оно во всём сиянии поднялось над горами, пробив из края в край пучками ломких спиц, раскрошившихся в быстро текущих водах Поноя. Лёгкий восточный ветер гнал рябь по реке. На селе было пустынно и тихо. Пока собирались, ветер сменился и совсем разошёлся, а с ветром на Поное, да ещё с северным (моряна), шутить нельзя: доры старые, моторы почти утильные, правда, лоцманы бывалые. Чем ближе море, тем сильнее напоры ветра. По Поною уже ходили беляки, ветер налетал порывами, шум то нарастал, то опадал, шторм набирал силу, разгоняя с реки лодки и мелкие катера. Переходили на подветренную сторону, под крутой берег. Через нос доры било, порой накрывая всю её волной. Мы вперебой выхлёстывали вёдрами воду за борт. Моторишко, старый, верный моторишко работал из последних сил, дымясь не только выхлопом, но и щелями. Звук его почти глохнул, натужно

всё в нём дрожало, когда оседала корма и винт забуривался глубоко, дора трудно взбиралась по откосу волны, а, выбившись на гребень, на белую кипящую гору, мотор, бодро попукивая, бесстрашно катил её снова вниз, в стремнины, и сердце то разбухало в груди, упиралось в горло, то кирпичом падало аж в самый живот.

Днище доры скрежетнуло о подводный камень – луду, мотор поперхнулся, зауросил, но под властной рукой Ивана Фёдоровича выправил ровный бег и повлёк посудину в кипящую толчею, туда, где русло неожиданно расступалось и из-за песчаной пологой косы наотмашь захлёстывало море. Волны часто захлопали о борта, взводень[3] плеснулся о тупые скулы доры и обвеял всех водяной пылью.

Мужики сразу очнулись, словно бы пробудились, стали кутаться в то, что находили под рукой, ибо как бы вдруг похолодело, воздух выстудился, окутал тело, старался пробить одежды. Осень, куда денешься: тут в море без тулупов и овчин не суйся даже летом, иначе заколеешь, как кочерыжка, язык во льду зальдится и руки будет не поднять, чтобы убрать из-под носа зелёные вожжи. Вороха облаков прогнулись над вспухшей водой, точно небрежно навитые валы сена, они уходили в дальний край, где море переливалось в небо, но меж теми ворохами, хоть бы блесток сини нашёлся, хотя бы крошечная лужица солнечной влаги – там студенистый мрак возносился, едва сочась дождём. Теперь, считай, до самой зимы заколодило, до ноября осень развесила свои полотенца, и знать, от их гнетущей тяжести едва колебалась морская бездна, и лишь черная слоистая рябь тихо накатывалась, как по стеклу, не тревожа глубин. Деревня, прежде скрытая за бугром, как бы вывернулась из затайки, сейчас хорошо видимая

---

[3] Взводень – высокая волна. На реке такой взводень. Поной

глазу. Она свинцовой подковой легла у излучины реки, вила редкие дымы, вялые, белесые, но отсюда, с морской равнины, казалась особенно родимой, домашней. Тянуло колючей изморозью. Студеным ветром дышало всё вокруг. Чутко трепетал, обглоданный жадной осенью видимый на берегу кустарник. Вместе с порошей на землю, спрятанную от людских глаз, старой волчицей ложилась бессонная ночь, когда мы подошли к Кузьмину.

Но вдруг взошла огромная оранжевая луна, засквозило морозцем. С моря приходит туман, понизу жидкими размокшими хлопьями бьётся о чёрные глыбы мыса, моросит. Ширится прилив, белыми гребешками, закипая, шипят волны. Уже видны гладкие блескучие спины выныривающих белух[4]. С моря медленно, взрёвывая сиреной, подходит СНЛ «Умба». Увязая в незамёрзшем береговом иле, спустились к воде, под которой сверкал твёрдый песок; выбрались на отмель, устланную колотым льдом. В первой же чистой губе обнаружили навагу. Было её так много, что она лежала темными пластами, а когда мы сунули в воду сачки, взбунтовалась, закипела, будто снизу разожгли костёр, подняла со дна песок. Сделалось тесно в губе, навага шелестела плавниками, прыгала на отмель. Поддели сачками, едва вырвали их из воды, плеснули на лёд крупную сизо-белую рыбёшку. Дальше пробиваться ближе к берегу было уже невозможно, чтобы выгрузить вещи. Лёд у берегов, лёд в море. От доры[5] до берега тянулась полоса крепкого льда.

В полной темноте начали выгрузку с дор. Торопились. Работали до полного изнеможения, пробиваясь

---

[4] Белуха – взрослый полярный дельфин. Кожа белуги нга оленьи тяжи хороша была. Поной

[5] Дора – большая морская лодка с двигателем на корме. Баржа по тонкой воды идёт, доры надь вода толста. Поной

в дорах через густое неподвижное «сало». Рассвело. Утро было серое и печальное. Низкие тёмные тучи заволакивали небо. Ветер не стихал.

Волны по-прежнему были громадные и с грозным рёвом разбивались о берег. Потянул крепкий восточный ветер-всток, а чуть попозже перешёл в страшный шторм, достигающий огромной силы 50–55 метров в секунду. Двое суток скрипели якорные геркулесы, и поочерёдно следили за дорами: как бы их не оборвало. Всток утих внезапно. Небо было чистое, без единого облачка. С высокого угора[6] виден сноп лучей, разбросанных по небу. Потом показывается небольшой кусочек солнца. Яркость его после длинной ночи, когда глаз уже привык к серым и блеклым тонам, кажется ослепительной. Кругом бело и тихо. А ночью подкралась снеговая туча, запорошила землю, кинула пышные уборы на скалы и карликовые кусты.

Фото В. Кузнецова

---

[6] Угор – возвышенность, холм.

Зима! Кругом лежала искристо-белая равнина, ветер перегонял с места на место боровки снежной пыли. Утро, день, вечер, ночь – ничего этого нет в зимней тундре. В полдень, как и в полночь, голубовато-серая мгла вместо дневного света. В полдень, как и в полночь, на безоблачном небе звёзды да луна. И вот, когда солнце над морем повисло на высоте сёмужьего прыжка над водой, тишину над простором оборвали крики пастухов, лай собак и рёхканье оленей. От копыт взбудораженного стада загудела, кажется, вся тундра. Под мертвенным светом луны да мерцающих звёзд проносятся по снегу темные островки. Узорчатое кружево рогов плавно покачивается над ними. Это оленеводы подгоняют ближе к коралю оленьи стада. За оленями движется облако колющей леденящей пыли. Едва не касаясь земли, ползли облака, готовые провалиться обвальным дождём или просыпаться круговоротом лёгких снежинок на пустынную тундру. Холодная, серая, мёртвая тундра! Олени быстро бежали, рога их царапали небо, копыта то и дело звенели в ветвях кустарников, утонувших в сугробах. Под полозьями нартов урчал снег, и пели сами полозья. Пели на синем снегу. Сугробы поднимали упряжку, бросали и вновь поднимали как волны. Упряжка бежала к размытому серым днём горизонту, горизонт приближался в ложбинах; отпрыгивал, убегал на гребнях высоких сугробов, дразнил зовущей, недосягаемой далью. Проходят минуты – рогатый островок тонет во мгле полярной ночи. Ни скрип полозьев, ни шумное дыхание животных не будят больше замороженных окрестностей. Ничто не смело нарушить глухую и звонкую тишину – казалось, всё, что напоминало о жизни, метель схоронила под снегом. Следы на снегу – вот всё, что напоминает о только что пробежавшем стаде.

Сумеречный ноябрьский день висел над морем. Позёмка заметала мёрзлую чугунную грязь. Обречённые на смерть олени метались за наспех сделанною

загородкой. Молчаливые пастухи с арканами в руках заходили за загородку, стояли, расставив ноги, испуганная оленья волна всё кружилась и проносилась мимо в шорохе снега и хорканьи быков. Здесь отбирали оленей, которые предназначались к убою. И так уже не маленький штабель оленьих туш был навален на берегу. Не дойдя до берега двух миль, судно бросило якорь. Нам же предстояло загрузить туши и вывезти их к судну. Делаем четвёртую ходку к судну, ветер усилился, и со страшной силой обрушил на нас многотонную волну. Мы моментом покрылись ледяной коркой. После нескольких усилий нам удалось подойти к борту судна, спеша – как бы ещё сильней не усилился ветер – начали выгрузку туш.

Но свирепый побережник[7] не заставил себя ждать и с новой силой обрушился на несчастную дору. Вира, полная оленьих туш, неоднократно ударялась о борт судна, туши выпадали из сетки и бесследно исчезали навеки в морской пучине.

Через неделю, закончив забой, мы, пользуясь поносным[8] ветром, выехали в село. Нам предстояло зайди на факторию Лахта, вытащить воротом доры на берег – дальше уже на оленях, а мы, молодёжь, пешком в Поной: река уже вовсю стояла. Близился Новый год, и нам всем хотелось быстрей попасть домой.

1968 год

---

[7] Побережник – северо-западный ветер. Побережник тожо не жаркой. Поной

[8] Поносный – попутный ветер. Поветерь – ветер поносной. Поной

Закон российских грабель

(письмо в газету «Кольский маяк»)

Декабрь 2010 года.

Всем нам хотелось бы оставить свои беды и неприятности, иметь наперед поменьше переменных проблем и побольше стабильности, уверенности в завтрашнем дне.

Каждый из вас, дорогие читатели, безусловно, подведёт собственные итоги и определит дальнейшие планы. Я же предлагаю свой расклад фактов и оценок, попытаюсь определить главные направления в развитии ситуации на селе. Начну, пожалуй, как это принято у деловых людей, с недостатков, неудач и вопросов, остро требующих своего решения.

Нет нужды подробно объяснять, в каком бесправии и, можно сказать, унизительном положении находится сейчас наше село. И на всё это у нас один ответ – кризис. Да, сейчас это уже стало модно, то птичий грипп, теперь вот и кризис. Думаю, ни у кого нет готовых рецептов выхода из кризиса, однако искать их и находить надо всем сообща, как в муниципальной, так и в сельской администрациях. А под лежачий камень вода, как известно, не течёт. И кто, как не эти люди, должен выражать и защищать интересы нашего населения.

К примеру, на наш район численностью 10000 человек приходится целых три администрации и плюс ещё в Краснощелье. И это порождение «двоевластия» ничего, кроме увеличения численности и расходов на содержание чиновничьей братии, дополнительных бюрократических препонов и неразберихи, в управление не принесло. Людей понять можно. Как правило, их не интересуют высокие материи, они оценивают свою жизнь по повседневным реалиям, а сегодняшние, к сожалению, таковы, что не дают повода даже для осторожного оптимизма.

Лимит доверия к администрации исчерпан. Терпение населения не беспредельно, происходит дублирование полномочий, финансы используются не эффективно, и без того скудный бюджет кроится так и сяк. Сам по себе напрашивается вывод, что ни к чему нам три администрации, на те финансовые затраты, что идут на содержание закамуфлированных чиновничье-олигархических аппаратов, можно было построить не один дом, в которых так нуждаются люди.

Ещё больше укрепляется чувство тревоги и обеспокоенности. Ибо ничего ни о чём не спрашивая, народу навязывают новых царей и вельмож. Земля продается москвичам и питерцам, якобы под развитие туризма. Реки уже давно все проданы. Основная масса населения год от года становится бедней, а самые прикормленные олигархи и чиновники – всё алчнее и богаче.

В своё время в роли ярых защитников режима выступал бывший губернатор области Евдокимов. Прелести буржуазного общества ощутили на собственной шкуре: безработица, нищета, недоступные для многих медицина и образование, распродажа наших недр, лесов, водных ресурсов и самой земли правящей буржуазией с целью наживы. Ходят слухи, что больницу переведут в Оленегорск, вот вам и будет «своевременная и полная» медицинская помощь, и ничего в этом нет удивительного: ездят же люди в Оленегорск и Мончегорск за каждой справкой, это при наличии трёх администраций.

Все мы знаем, что ведущая отрасль района – оленеводство. И очень обидно, что в праздник сельского хозяйства ни одна из трёх администраций не вспомнила об этом и не поздравила оленеводов даже через газету, даже со страниц нашей малотиражки «Ловозерская правда». Поздравил лишь сам директор СХПК «Тундра» и Россельхозбанк. Что это, просто забыли или специальное упущение? Вот и получается, как в народной пословице: у семи нянек дитя без глазу.

Больно смотреть, как на наших землях спокойно разъезжают на импортных снегоходах в полной боевой готовности экипированные с ног до головы москвичи и питерцы, имеющие лицензию на отстрел дикого оленя, а там кого бог пошлёт, хотя почему-то нашим оленеводам-пастухам нельзя иметь огнестрельного оружия, даже для самообороны от зверя. И просто парадокс – оленеводы питаются консервами, а рядом, за 12 км, браконьеры вкушают свежие шашлыки из оленины. Вопрос, кто кого пасёт?

Именно сейчас есть необходимость создания службы егерей. Сейчас открыли месторождение на Фёдоровой тундре, вычерпывают руду, а вместе с тем есть опасение, что могут исчезнуть олени, и в скором будущем не будет уже такой популяции, как северный олень.

В Ямало-Ненецком округе оленеводов уважают, там он хозяин и не зря буровики, ищущие нефть, говорят: «Вот хозяин едет! Вот кому надо отчислять за то, что они на его земле, а не чиновничьей «братии». Вот и работает «закон российских грабель». Это о том, что в России любят наступать на грабли; но ходят по граблям одни, а в лоб бьёт другим. Поэтому ходить по этим граблям, повторять одни и те же ошибки можно до бесконечности. Мы сами по себе ничего не можем. Нам бы сейчас Сталина!

Сталин живёт среди нас. Он живёт в сердцах больных старушек, мечтающих о справедливости, он живёт в униженных и оскорблённых, которые лишились права на жизнь. Вот и получается, что нам нужен то грузинский диктатор, то голландский тренер. Мы не умеем жить. Нам нужен колокольный звон с водкой и плёткой, иначе мы потеряем свою самобытность. И если район возглавит человек, мыслящий нестандартно, умеющий просчитывать «ходы», всё получится. Поэтому так важно, чтобы районную администрацию возглавил человек ответственный, думающий, душой болеющий за свой район, готовый и дело делать, и ответ держать.

Я много, очень много думаю обо всём этом в последнее время. Продолжают действовать силы инерции, защищающие ведомственные интересы. В сердце рождается жалость, тревога за родимую землю, огорчение за нас, людей, ибо это по нашей вине все её беды и проблемы. И мучает душу шукшинский вопрос: люди, что с нами происходит? Отчего стали мы такими, что живём заботами только одного дня, не думая об будущих поколениях? Отчего за мелочной суетой перестали замечать вечные ценности, без заботы о которых не вправе называться людьми?

Давайте задумаемся: разве то, чему мы теперь свидетели, началось вчера или год назад? Да нет, конечно же. У нас за плечами немало деяний, ставших как бы началом той порочной цепочки, последнее звено которой – моё родное село. Люди жили за счёт природы, и это диктовало их поведение: великий грех ради забавы уничтожать живое – букашку ли, травинку ли, или резать стельных важенок, как было несколько лет назад, что в мае месяце проводили забой оленей, заранее зная, что не видать будущих оленей. Это правило распространилось на всех зверей и птиц. Убьешь весной белку – осенью недосчитаешь 15–16 новых белок. А года четыре назад в районе старого аэропорта происходила загрузка оленьих туш в фуру. Целые штабеля туш лежали, готовые к погрузке. Обращался с этим вопросом по инстанции, на что сказали: якобы отстрел производился согласно лицензии, и то только дикого оленя, хотя сейчас дикаря и не найти. Ну а что они дикие – то не докажешь: шкуры и головы сняты, так что здесь никакой экспертизой не доказать. Ещё недавно дух коллективизма и уважения к законам природы пронизывал всю жизнь человека. Видимо, в те времена родился неписаный закон, уходя из избушки, оставлять необходимый припас: хлеб, соль, спички и охапку дров. Человек заботился о другом, заблудившемся человеке. И это не раз спасало голодного, уставшего от неминуемой гибели.

К добрым традициям нужно отнести и то, как, к примеру, шла заготовка ягод. Этим занимались не тогда, когда кому захотелось, а по знаку знатока: всё созрело, пора. Не думайте, что я идеализирую старину, и тогда по-всякому бывало, но в основном народ соблюдал законы, хотя они и не были писаны. И можно с уверенностью сказать, что до пятидесятых годов нашего века текли прозрачные реки, в которых водилась разная живность, цвели разноцветные луга.

А сейчас? В последние эти три десятилетия, что сейчас именуют застойными годами, уж больно вольготно чувствовали себя рвачи и хапуги. Под их влиянием так перевернулась жизнь, что честность, совестливость чуть не совсем, исчезли из наших взаимоотношений. Тундра наводнилась охотниками, рыбаками. В ней стало слишком много случайных людей, не любящих её, не понимающих. Такие, услышав краем уха «тундра – закон», понимают это как полное беззаконие: «что хочу, то и ворочу». И плывут налево оленьи меха и деликатесная рыба. И надругались над благороднейшими обычаями, теми добрыми ростками человечных взаимоотношений, которое подарило нам прошлое. Ухватиться бы за них, удивиться бы душой и сердцем, развить их, нет, растоптали. Традиции заменили сиюминутной выгодой, голым рублём и водкой.

Далёк от мысли, что так вели и ведут себя все приезжие, боже упаси. Но бесспорно, поведение многих из них тлетворно влияет на местное население. Сейчас мы все проходим это испытание –воскресение веры в идеалы нашего общества, в свое время ниспровергнутые обычаи и традиции. Удастся ли? Роясь в книгах, я выписал одну мысль из дневника Пришвина. 31 марта 1947 года Пришвин записал: «В природе милости нет, человек должен от неё требовать не милости...» (Мичурин). В природе нет милости. Человек должен бороться с ней и быть милостивым, и охранять природу, когда он является её царём-победителем».

Взявшему верх в то время потребительскому отношению к природе большой писатель смело противопоставил свое, проникнутое подлинной мудростью, понимание грандиозности проблемы. Тут есть над чем задуматься.

Есть ещё одна категория людей, ставшая большой проблемой для Севера. Я говорю о так называемых «номенклатурных» работниках, руководителях хозяйств и предприятий.

В застойные годы появились начальники, кочующие из одного кресла в другое. Развалит такой хозяйство, его бы в тюрьму, но всегда находятся друзья-приятели, не дают пропасть. Эти люди не профессионалы, им по душе командно-административное «руководство», зато они удобны, послушны. Да-да, именно они в своё время приказывали заниматься у нас малоперспективным и малопродуктивным земледелием (вспомним хотя бы кукурузу), «забывая» развивать исконные проверенные веками отрасли. Из той же «оперы» инициатива учёных из НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера, вознамерившихся загнать всех оленей в капитальные изгороди, куда не только волк, но и мышь-то не проскочит. Словно наказание оленям: «Разбегаетесь? Теперь сидите». Опытные пастухи про себя недоумевали, но вслух возражать боялись: «начальству видней». Да и как возразишь? Авторы таких «новаций» кичатся своею образованностью, у них институты да академии за плечами, что может возразить простой пастух? Но природа их не изменилась. Изменились не олени, а мы, люди, потому что становились всё более тепличными, утрачивая связи с живой природой, её обитателями. Мы сами и наши дела очень страдают от такого дилетантства. Уверен, займись «новаторы» по-настоящему оленеводством, многое решилось бы проще. Тридцать лет назад пробовали в Мурманской области внедрить технологию изгородного содержания. Чем это закончилось, все знают: количество оленей уменьшилось.

Дойдут ли на сей раз до «инакомыслящих» эти слова? Перед настоящей наукой, без кавычек, шапку хочется снять, но от противоприродных, дилетантских прожектов, да ещё внедряемых волевыми методами, становится на душе тоскливо, страшно. Страшно, что оставят нас без оленей, а значит, обрекут на погибель. Приступая к реализации столь масштабных проектов, может, есть необходимость провести всенародный референдум?

Старческая ли ностальгия виной или есть не только субъективные, но и объективные причины, как бы то ни было, а всё больше симпатичного вспоминается о том времени, которое умом давно отвергнуто, а в душе осталось. Вот, пожалуйста: слова советских лирических песен – стихи были вполне приличные и, главное, осмысленные! Не «девочка моя, я люблю тебя», а, например, «есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь».

Банальность, конечно, но сказано неплохо.

2010 год

Зверобой

Хвали море, а сиди на берегу. С моря жди горя, а от воды – беды.

Поморская пословица

С первыми крутыми осенними ветрами: по востоку, полуношнику[1] и северу у берегов Белого моря, покрытого уже большими ледяными припаями[2], начинают показываться стада Юрова[3] лысей, морского зве-

---

[1] Полуношник – северо-восточный ветер. Дня четыре полуношник тянул. Поной

[2] Припай – примёрзший к берегу лёд. Припайки намёрзли. Поной

[3] Юрово – юро. Скопление, стая, косяк рыбы. Такоё бывает юро – тысяча пудоф. Поной

ря из породы тюленей, каковы: нерпа, или тюлень обыкновенный, тюлень гренландский, или лысун, морской заяц. Значительное количество семей этих угребает через Горло и в Белое море, в прямом направлении к островам Соловецким. Частью ради поисков пищи (рыба по осенним ветрам также спешит выплыть из океана в море и его реки), частью наступающий период размножения и деторождения (чему способствуют огромные тороса[4] вёрст по десяти протяжения, отрываемые от береговых припаев и носимые по морю), частью, наконец, жажда покоя на безлюдье и вдали от океанского шума и треска влекут все эти стада, дальнего, сального, барышного зверя. Изредка только высовывают свои чёрные головы на поверхность моря, и то для одного дыхания легкими, звери эти большую часть времени проводят в воде, где, как говорят, и совершают они свой акт соития – «парятся», говоря поморскими выражениями, в течение октября, ноября и первых недель декабря. Тощие с виду, они в это время успевают откормиться до того, что каждый зверь иногда даёт до 10 пудов сала. От Соловецких островов по окончании случки все звери, идущие по направлению Воронова мыса от Сосновца, и, выждавши попутные благоприятные ветры, гребут в январе к Зимнему берегу, на Кеды. Здесь издавна места тихие, малонаселённые, стало быть, удобные для деторождения. Звери выбирают здесь самую большую и самую дальнюю льдину от берега или самый дальний конец припая и при помощи передних ласт выползают на них из воды.

Тут самки, называемые утельгами, мечут по одному, редко по два детёныша, называемых бельками – по белой шерсти, которой они в то время бывают покрыты. Через месяц белая шерсть выпадает, местами

---

[4] Тороса – нагромождение льда, образовавшееся от сжатия льдов. Муш с торосу приехал. Поной

покрывается чёрными пятнами тело; белёк превращается в плеханка и в келка, когда шерсть его начинает делаться серой. «На Сретьев день», – говорят поморы, – льды пятнает и зверя на них – что пня в лесу. После деторождения всё юрово ложится обыкновенно на продолжительный отдых, на залежку. Юрово размещается по льдине таким образом, что в середине держатся бельки и утельги, а по сторонам как бы на страже ложатся самцы-лысуны. Это делается для защиты нового поколения. С другой стороны звери, расположившись на залежке, и уткнувшись мордой в льдину начинают оттаивать её своим дыханием и теплотой тела до того, что продувают её четверти на полторы, вплоть до воды. В некоторых случаях эти звери оттаивают и снизу, и потом уже через них выползают на льдины, процесс этого продувания многие промысловики слышали сами (как дверями). Таким образом, звери имеют готовую и всегда под боком полоньгу[5], через которую могут спасаться в воде при первом приближении злого и беспощадного врага – человека…

Холодное февральское солнце до рези слепило глаза. В небе пустынная неуютная синева. Если бы не лютый холод да льды, глядя на него, можно было подумать: лето, исход дня пред закатом, когда усталое солнце, плавясь от собственного усердия, клонится к горизонту.

В конце февраля полярная зима начинает заметно умерять свои холода, которые в конце января и в начале февраля едва выносимы. В феврале зима сдаёт, кротеет[6], говоря меткими поморскими выражениями. «Солнце на лето – зима на мороз». Перестают играть в

---

[5] Полоньга – полынья. Полоньга – ну проталина в воде, зимой не замерзат. Поной

[6] Кротеет – становиться тихим, спокойным. Вода стала кротеть. Поной

северном краю неба сполохи (северное сияние); северо-восточный ветер-полуночник, сменяющий горные, чаще нагоняет густые туманы, покрывающие сплошным, непроницаемым пластом всё прибрежье. Хотя оно всё ещё засыпано глубокими, в рост человека, снегами, тем не менее привычному уху помора слышатся подчас учащенные, вдвое зловещие крики воронов, чующих свой скорый отлёт в глубь окрестных карельских и дальних финляндских болот. Снег на берегах и на лугах ещё сверкает своим поразительно ярким, едва выносимым для непривычного глаза блеском.

Кругом – белая безмолвная равнина. Кое-где на ней вспучивались торосы. У горизонта они были затянуты белесоватой туманной пеленой, пронизанной розовым светом. Темные разводья, еле заметные из-за торосистых нагромождений. Пороги[7] в реках, не замерзающие во всю зиму, продолжают шуметь по-прежнему, но глухо и далеко не так бойко, как в начале весны. Окраины моря подернуты ещё широким ледяным припаем, и при сильных ветрах всё ещё разгуливают по ним огромные ледяные поля с потрясающим шумом и треском. Подобно раскатам грома, ломаются там самые большие из льдин, торосы набежавшей и бойко разрезавшей их меньшей льдиной.

«Море – наше поле», – исстари говорится на поморской стороне. Поле обширное и горькое. Морская соль в нём перемешана со слезами вдов и сирот. Поле суровое, озвученное иной раз крепким мужицким словцом. Поле тихое и умиротворённое во время наката воды с моря. Нет для поморской души ничего прекраснее этого поля.

Помню, мне было лет восемь, как отец взял меня на зверобойку. Ходили тогда на остров Моржовец. Самый ближний к Мезенскому берегу. Весь он гранитно-

---

[7] Пороги – на мелководье каменистый перепад.

го строения с толстым пластом тундры, покрытым ягелем. Остров этот лежит к северу от Воронова носа, при выходе из Белого моря в Ледовитый океан в 28 верстах от берега; форма его овальная, окружность около 40 вёрст. На нём текут две речки с пресной водой. Лес здесь не растёт; жилья нет, кроме того, что для смотрителя и прислуги при маяке, выстроенном между 1830 и 1841 годами. Речки Золотуха и Рыбная и два озера также с пресной водой.

В середине прошлого столетия, когда Мезень вела заграничный торг лесом, жили на южном краю острова лоцмана по найму лесной компании. Лёд показывается у берегов Моржовца обыкновенно в начале октября, бродячие же торосы в начале ноября, и тогда прекращается всякое сообщение острова с материком. В мае сообщение это опять начинается и производится обыкновенно через посредство казённых судов, имеющихся при маяке. Не принося никакой прямо положительной пользы из- за бесплодья и безлюдья, остров Моржовец весною служит спасательным пристанищем для весновальщиков[8], которых ежегодно, и не один раз, приносит сюда на льдинах.

Голые, унылые, покрытые снегом крутые берега острова приближались, и я, искоса поглядывая на них, ощущал в глубине живота холодок страха. Наконец-то на исходе третьих суток сыскали матёрый лёд и стали устраиваться на ночёвку: вытянули лодку, пожевали всухомятку, что бог послал, завернулись в оленьи полсти[9] и желанно опрокинулись в муторный зябкий сон. Темь навалилась амбарная, глухая, с вкрадчивыми шорохами смерзающихся навальных льдов и редкими

---

[8] Весновальщики – те, кто занимается весенним рыбным или звериным промыслом. Отець уйдёт на веснованьё. Поной

[9] Полсты – шкуры, войлок, служащие подстилкой.

вспышками сиреневых сполохов. А потом пришла желтая ночь без ветра и снега. Опять яркая звездная пыль сыпалась за дальние ропаки[10]. И когда особенно крупная звезда вдруг срывалась с насиженного места, я провожал её взглядом, вдруг вздрагивал зябко и тут понимал, что дремлю. Пошёл снег, очень ласковый в темноте: он падал на лицо нежно и щекотно. Под утро лёгкая позёмка сменилась пургой: побережник[11], ветер с океана навалился круто и яростно, и не было от него спасения. Но пурга так же неожиданно и кончилась, а когда посветлело небо, вокруг несяков, легло плотное покрывало льда. День сероватый, обычный, когда свет убывает и приближается время темных ночей и полярных сияний ещё не кончилось. Горизонт такой далёкий, необъятный сузился, придвинулся к веренице людей, и весь видимый мир стал серым, тусклым, словно сплющился. Ветер с каждой минутой усиливался, воздух уплотнялся, и дышать становилось всё труднее и труднее. Из затаённой глубины души поднимался страх. Казалось, снежное пространство, словно огромный зверь, заглатывает всё вокруг: синие горы, и морские торосы, и скалистые мысы, служившие ориентирами, и само звёздное небо, и путников с их упряжками. Напрасно вглядывался в льды, наползающие на берег, в тщетной надежде увидеть остатки разбитого две недели назад карбаса: вокруг простиралась белая, бесплодная пустыня. Прерывисто вздыхая, до боли напрягая зрение, стал всматриваться в бескрайную снежную сумеречную муть. Ветер свирепо рвал одежду, леденил лицо, шею, перехватывал дыхание. Колкий снег сёк

---

[10] Ропаки – груда льда на берегу реки или на морских мелях. На коргах и наворотит ропак. Поной

[11] Побережник – северо-западный ветер. С побережника мало дожжов жывёт. Поной

щёки. Поветерь – по ветру, попутный ветер будил в наших душах надежду на благополучие и удачу в промысле. Разные дуют ветры в Белом море, но господствуют норд-ост и норд-вест. Самый опасный ветер – северо-восточный. Часто приносит туманы, стоящие по несколько суток. Глянул на запад – увидел вытянутые, плоские фиолетово-серые облака. Глянул на восток – небо прозрачно розовело. Скоро там взойдёт солнце. Серовато-молочными размывами заволакивала море белая ночь. «На промысел поехал – надо знать течение воды и поворот земли». Утренний холод заставил вздрогнуть, заскрипел под ногами отца усохший мерзлый мох. Насилу разлепив глаза, увидел низкое и печальное небо, и хотя ветер поддувал уже слабо, кудлатые тучи спешно пролетали к югу. На севере-батюшке, каждый час – перемена, как ни день, так новое настроение, не гляди, что на дворе июль, самый радостный для души месяц: порой такой торок[12] навалится, таким снегом обложит, что ни зги, ни свету белого не увидать. А совсем рядом лежали тюлени, лениво катаясь по каменной площадке.

Выслеживать нерпу нелегко. Волны у берега толкались, плясали, вспенивались барашками. Солнце то высвечивало сквозь тучи, то пропадало в их черноте. Глаза уставали. Кажется, невозможно заметить в таком месиве мокрую голову нерпы, тем более попасть из мелкокалиберки в неё.

Из-за мыса поднималось солнце. Снег всё сильнее слепил глаза. Было холодно и морозно, со стороны моря тянул пронзительный ветерок. К кромке прибило дрейфующий лёд. Виднелись только две полыньи, пригодные к охоте.

Небольшая нерпочка появилась неожиданно, высунув из воды усатую морду. Я не успел сообразить,

---

[12] Торок – порыв ветра, вихрь, иногда с дождём, градом, грозой. Ветёр тороком пал. Поной

что это и есть объект нашей охоты, как в руках у отца оказалась малокалиберная винтовка и хлопнул тихий выстрел. Было отчетливо видно, как пуля попала нерпе в правый висок.

Зимняя нерпа не тонет: в ней много жира. Мужики столкнули в полынью лодку, и вот уже добыча на льду. Прошло немного времени, полыньи затянуло, но чуть подальше образовались разводья. Часто выныривали белуги[13]. С лодок в белуг метили кутило[14]. На припайке[15] появились бельки[16], и все бросились их кротить[17]. Люди вертелись и крутились между торос, целясь кротилкой[18] тюленю по носу. На льду стоял сплошной рёв и стон оглушенных нерп. Я стоял посередине этого побоища с полными глазами слёз от жалости и хотел, чтобы быстрей всё это нещадное уничтожение бельков закончилось.

Хорошо, – заметил отец, – тепло, солнце светит.

Слово «тепло» вызвало мучительное воспоминание о железной печке в избушке, видневшейся на берегу в трёх километрах от нас. В неё мы ещё не заглядывали, хотя солнце уже клонилось к горизонту. Избушка представляла собой балок, сделанной из тонких досок от тарных ящиков, по крышу засыпанный снегом. Печка, нары и ящик вместо стола. Ночевать здесь предстояло восьмерым. Только жар был обманчив. Ночью, когда переставали топить, становилось холодно, как снаружи.

---

[13] Белуга – полярный дельфин.

[14] Кутило – орудие, род гарпуна, состояло из зазубренного железного наконечника и отделяющегося древка с верёвкой.

[15] Припаек – примёрзший к берегу лёд. Припайки намёрзли. Поной.

[16] Бельки – детёныши нерпы. Бельки – только родяцца. Поной

[17] Кротить – глушить, убивать.

[18] Кротилка – палка, чаще из крепкого дерева, например, берёзы, которой убивают рыбу и морзверя.

После дня на кромке такая жизнь казалась вполне уютной.

Я спросил:

– Сколько платят за нерпу?

– За центнер 13 рублей 84 копейки, – ответил бригадир. – Центнер – это примерно две нерпы. Как-то был случай: один охотник за зиму добыл 154 нерпы. Это 77 центнеров, получил за них 1074 рубля 48 копеек.

За разговором не заметили, как вдали показались белухи.

Белуха – животное из семейства дельфиновых: взрослая 5,5 метров длины и более тонны весом. Название дал белый нарост на коже, тянущийся по верху туловища. С лодок в белух метили особым орудием, родом гарпуна, так называемым кутилом. Состояло оно из зазубренного железного наконечника и отделяющегося древка с верёвкой. Когда начали разбирать склад, то наткнулись на гарпуны, которые лежали там, источая запах ворвани и старого жира…

Зима

Печальная берёза
У моего окна,
И прихотью мороза
Разубрана она

А.А. Фет

Первые заморозки начались уже в конце августа. Утрами, пока солнце не обогреет землю, на зелёной листве деревьев, на поникшей от холода траве лежит нежный, лёгкий иней. С этого времени начинают опадать цветы, сохнут травы и раскрываются во все цвета радуги берёзы, ивняки и рябины. Последние летние дожди проходят с ветром и бывают затяжные и надоедливые. Но вслед за ними наступает ясный сентябрь. Земля пестра и походит на ковёр, что девушки в дерев-

нях плетут из ситцевых разноцветных лоскутьев. В сентябрьские дни небо ещё синее и безоблачно, а в вараках уже сыро и попахивает прелью опавшей листвы. Незаметная, но хлопотливая и смутная жизнь течёт в Поное в эти погожие дни и звёздные, гулкие ночи. С глубоких озёр поднимаются караваны гусей, лебедей и уток и направляются в далёкий путь. Внизу, под ними, тянутся тысячеверстные просторы земли, выше плывут белые, как хлопья облака и дуют ветры. После стеклянистого утренника, после светлой этой, короткой, предзимней тишины может разом пасть сырая непогодь, снежная заметь и укрепится зима. Ледяная, беззвучная ночь лежала вокруг, сдавливала, а в глазах моих всё не гасла, цвела вечерошняя заря. Кипрейная нежность зари обвяла, только залившись; холодным блеском тяжёлого золота ослепило, залило живую небесную плоть, слиток металла, погружаясь в глубину скоротечных сумерек, расплавляя твердь горных вершин, и когда зазубренные ребром, совсем уже твёрдый, остывший, взвалился этот слиток из прорванного неба в узкую горную расщелину, небо ещё долго оставалось продранным, и в прорань, в небесную дыру смотрелась и дышала мертвым холодом бездна. Призрак солнца, этот верхний, уроненный небом и всосанный чернью каменьев свет предвещал морозы. Скорые.

Но пока стояла ещё осень. Понемногу осыпался лист с деревьев. Трава пожелтела, зачахла и попахивала гнильцой. Всё вокруг становилось блеклым и унылым. Ветер со свистом раскачивал гибкие стволы берёз и рябины. Сизые облака клубились, переливались, как кипящая вода в котелке. Нахохлившиеся вороны, угрюмо и неподвижно сидели на макушках деревьев. Порывы холодного воздуха откуда-то приносили запахи надвигающейся зимы. В ночь погода испортилась. С моря тянул шелоник; злой, пронизывающий, он гнал плотные серые тучи, грозил дождём. В окна порывами бился ветер, упруго жался к стёклам, словно искал ще-

ли. Ветер покалывал холодком, сушил оставшуюся от ночного дождя слякоть, гнал по ней жухлые листья.

Солнце клонилось к закату; низкое, тусклое, прячась за облаками, оно тянуло к варакам лучи, словно цепляясь, не хотело расставаться с холодной и неуютной землёй. Дым из труб домов не поднимался, клонился книзу, предвещал потепление. Но ветер уже шёл с север, а и в нём уже чуялась близость долгой зимы и полярной ночи. Погода резко изменилась. Небо прояснилось, ярко горела лампа круглой луны, и это сходство с лампой довершал ровный белесый круг, чётко, словно циркулем прочерченный вокруг неё. Воздух казался отлитым из стекла, он звенел, далеко передавая звуки. Переменившаяся погода не только высветлила небо и очистила воздух. Лёгкий морозец сковал грязь, покрыв лужи пока ещё тонкой коркой льда.

Зима наступила ночью. Вернее, она не наступила – она обрушилась со страшной силой, как смерч или ураган. С вечера её никто не ожидал. Закат не по-осеннему был оранжево-прозрачен, и сумерки безветренны. Но в полночь услышал дикий вой ветра: грохотало железо на крыше под трубой и, взвизгивая, стучала калитка. А когда утром открыл глаза, в мрачной комнате было необычайно светло. Взглянул в окно - снег был сияющее бел. Выглянувшее солнце осветило мне картину, совсем не похожую на вчерашнюю: вместо хмурого осеннего неба, вместо оголенных чёрных деревьев, сгибавшихся под злыми ударами ветра и холодного дождя, я увидел по-летнему голубое, чистое небо, до рези в глазах белую землю и пышно убранные снегом ветки. Словно утомлённый ночным преображением, мир как бы дремал: кругом стояла тишина, ветки замерли, ветер затих.

Меня охватило воспоминание далёкого детства: радуясь первому снегу, мы, бывало, выбегали во двор, схватывали почти невесомый, пушистый жгуче-белый комок и глотали, как самый лакомый гостинец. Насту-

пал сухой солнечный день. Искрились снежные крыши домов, куталось в белый морозный дым солнце, вдоль улицы, кое-где у домов высились, словно выкованные из серебра, заиндевевшие берёзы. Приминая мягкий, точно вымытый войлок, выпавший за ночь снег, бабы прошли к ферме. Крыша её, обсыпанная свежей порошей, выложилась, неясно белея. Синело и светлело, всё вырастая и отодвигаясь, небо за выгоном; за деревней справа, на восточной стороне, над Поноем тихо всходило ало-малиновое трепетное сияние зари. Солнце ещё пряталось за дальним хребтом, но небо уже было светлое, звёзды погасли, и под алой зарёй, сколько хватал глаз, лежали розовые снега. Запад ещё дремал в сумерках. Было кругом тихо, и только потрескивали сырые дрова, да где-то неподалёку каркала ворона, должно быть, жалуясь людям на своё одиночество. По деревне, вытянувшейся в линию вдоль Поноя, волной несло петушиный крик от дома тёти Наташи Ледковой. За Поноем, по левобережью, где расплывался тушью березняк Сорочьей ямы табаркали куропатки. За снежным полем всходило холодное малиновое солнце, над угорами вставал студеный туман. Ветер гонял сенную зелёную труху.

А в доме в затылок сквозь цветы в горшках слабо припекало неяркое рубиновое солнце. Столбы нарядной, радужной пыли стояли над половицами. Стреляли на шесток дрова, дым с языком пламени тянуло в трубу, золотистым кружевом сгорала сажа.

Всё стояло в розовой от солнца курчавой курже, будто где-то в средней полосе сады среди зимы зацвели. Деревья застыли, держа хрупкую ношу и боясь уронить её. Редко когда лениво спустится отдельная снежинка и долго выбирает в воздухе, куда ей приземлиться. Примолкшие, обычно столь деятельные воробьи, будто они голос потеряли, нахохлившись, неподвижно сидели на телеграфных столбах и на проводах.

Вопреки примете, что иней к вёдру, вечером пал снег. Проснежило целые сутки. Сначала задул не сильный, но резкий зимний ветер-сиверяк, а потом густой снег пеленой занавесил лиловую ледяную излучину реки, засыпал деревья по её берегам, пышными шапками осел на крышах домов. Виновато и устало затихли под его покровом улицы, мороз помягчел и голоса переговаривающихся обывателей, расчищающих как ни в чём не бывало дорожки к своим калиткам, звучали глуховато, буднично. Ночи стояли светлые от снегов, а они всё подсыпали и подсыпали. Морозный воздух жёг искрами глаза, и было странно, что под напором такой солнечной лавины вокруг покойно лежит белый, чистый и по-зимнему крепкий снег. Раннее солнце уже взошло за сопками и розовой краской отлило снега на горах, белым дымком туманилась река, тихо стояли берёзы, и что-то печальное и скорбное было во всей картине рождавшегося утра. Поной нёс по течению грязные пласты смёрзшегося снега (шуги). Свежая, не очень темная ночь кутала мир в спокойную дрему, теплое, темное небо опустилось по самые крыши. Пахло снегом и сеном, желтели в домах ламповые огни. Редкий день не выпадал снег. Утонула деревня в сугробах, притихла.

Как бы ни была длинна зимняя ночь, но в окна заползал уже синий рассвет. Дул пронзительный сиверко, слепил колким снегом глаза. Зимний день сумрачный: из-за снежных туч тускло глядит солнце. В полях навеяло глубокие перемёты-сугробы, берёзы гнулись под тяжестью снега.

Птица жалась к человеческому жилью, запах дыма привлекал лесное зверьё. Поной спал в зимних просторах. Деревня среди снегов блистала с наступлением темноты радужным сиянием: белый, яркий свет лил из окон, сверкающими косоугольниками ложился на сугробы.

Как завернули морозы с начала декабря, так и держались третий месяц; ни одной оттепели. А снегу-то намело! Дома, потонувшие в сугробах, казались низенькими, а сарайки и бани вообще замело по крыши. Наутро все идут с лопатами откапывать друг друга. Особенно замело тех, чьи окна и двери в домах выходят на север, очень часто приходилось откапывать Долгих Павла Ивановича. В сугробах, сравнявшихся с крышами, пробивают траншеи. Сугробы большие – длиною в несколько десятков метров и высотою в два-три метра.

Давно не было такой суровой снежной зимы. Три дня небо сеяло сухой, колкий снег на избы, косогоры, на молодой, тонкий понойский лёд. На четвёртые сутки снегопад прекратился, и понойчане выходя из изб, щурились на белое пушистое покрывало, которому не было ни конца ни края. С утра снова шёл снег и таял на лету, с крыши капало, и от каждой капли сугроб слегка похрупывал, словно какая-то осторожная птица оступалась под окном. Люди подумали, что пришла долгожданная оттепель. Но поднялась метель, сырая, мглистая, вечерняя. Снег шёл густо. Метель закрывала деревню, пряча дома один от другого, будто разгоняло их по полю всё дальше и дальше в разные стороны. В это время я вышел в стайку накормить овец. В стайке было темно и влажно. Тьма уходила далеко, в разные стороны и не было ей конца. Здесь чувствовалось, как на улице метет ветер. Ветер слышался отдаленными глухими вздохами, словно кто-то с трудом полз по земле в разные стороны одновременно. Потом этот кто-то затихал, на землю ложился и собирался с силами и всё шарил по стенам.

Ушло солнышко освещать другие страны. Только к середине зимы стало иногда показываться оно далеко над ледяной рекой, неяркое, пристыженное, а вокруг него расплывчато светилось оранжевое кольцо. Установились морозы. По ночам как будто обухом ударяли

по стенам изб. Даже порог Бревенный сковало льдом, лишь бурливый стрежень на скате к омуту темнел узкой полоской. Деревья, опушенные толстым инеем, самоцветно искрились, казались хрупкими в своём зимнем великолепии. Старики примечали это, обещали хорошее лето.

Наступил февраль. После непогоды баловало людей февральское солнце.

На редкость погожий и солнечный стоял день. За Поноем, по левобережью, где расплывался тушью березняк Сорочьей ямы, табаркали куропатки. Всё было наполнено особенным смыслом для меня: иным, сказочно обновлённым, едва узнаваемым открывался мне этот родимый мир.

Обычно после Рождества, числа восьмого января, мы ставили силья на куропаток. Слава богу, за рекой их было несметное количество. На широких, струганных ещё дедом Григорием лыжах мы с братом Василием выехали на берег Поноя и остановились, изумленные первозданной белизной снега, покрывавшего речную пойму. И сейчас при безоблачном небе играл в воздухе блескучий куржак, неведомо откуда бравшийся. Солнце висело низко за спиной, свет его был робким; синяя тень от угора горбатилась почти у противоположного берега. Не хотелось резать лыжами эту неприкаянно-чистую снежную целину. Замело, заровняло все тропы – глухозимье. Мороз подхватывал за уши. Канун старого Нового года, всего несколько часов осталось до его встречи. Надо спешить. Покатились наискосок под гору, обжигая лицо ветром, вспоминая, как в детстве мы, ребятня, неустрашимо съезжали с любой кручи.

Каждый шаг приближал к дому. Вот внизу зачернели крыши домов, а ещё ниже, за кривой излучиной замерзшей речушки, раскинулось белоснежное ровное поле. Далеко на горизонте, за сизо-голубой морозной дымкой, угадывалось русло большой, скованной льдом реки. Солнце спустилось к самой земле, и всё поле бы-

ло залито красноватыми отблесками косых лучей. Справа и слева замелькали дома. На дрожащих ногах спустились к Поною. На середине ледяные торосы (ропаки). Белая полная луна встретилась с солнцем и сияла над деревней, высоко стояло холодное звездное небо, причудливыми холстами синели сугробы. За Поноем сахарно сверкали сугробы, у излома реки чеканным серебром светился березняк. Вечерело. Крыльями поднималась пурга. Вскоре она заметно стала сбавлять силу, через дорогу переметывало, лишь белые струи затихал и ветер. Низом стелились кустарники, над мутным полукругом на горизонте неярко светилась фиолетовая одинокая звезда. В высоком-высоком небе. Недосягаемо-безгрешная и далёкая, разливала свой хрустально-серебряный блеск луна. Мы смотрели неотрывно на холодную, режущую глаза северную звезду. Она, радужно разбиваясь на искры, несла успокоение.

Зуд укрупнения

И для меня воскресла радость,
И душу взволновала вновь
Моя потерянная младость,
Тоски мучительная сладость
И сердца первая любовь

А. С. Пушкин

Тридцать два года назад, в 1975 году, было ликвидировано село Поной, основанное в 1562 году, второе после древней Колы. Худо-бедно жила деревня, держась своего места на берегу реки Поной, встречая и провожая годы, как воду, возле которой извечно кормились. И как нет, казалось, конца и края бегущей воде, нет и веку деревне: уходили на погост одни, нарождались другие, заваливались старые постройки, рубились новые. Так и жила деревня, перемогая любые времена и напасть, триста с лишним годов, за кои на верх-

нем мысу намыло, поди, с полверсты земли, пока не грянул однажды слух, что дальше деревне не живать, не бывать.

В тот 1975 год широко разлилась река Поной, ни конца, ни края бурному половодью, с глухим хрустом сталкиваются, крошатся иглистые края последних льдин и уходят вниз по реке искромсанные, потемневшие, кое-где у берегов они пытаются ещё задержаться, громоздят заторы, но могучее весеннее течение ломает их, выносит на стрежень и обессиленные, побеждённые они срываются, тают незаметно в сизоватых далях излучин.

Сколько ручьёв, ключей и речек слилось в твоём неукротимом течении! Посмотришь на левобережье – захватывает дыхание: величава, неоглядна наша русская река. Просторно вокруг, над головой – гуси. Они летят с юга. Летят неторопливо, с ликующим криком.

И такой день омрачён большим горем: нам, последним оставшимся из понойчан, приходилось закрывать электростанцию, вывозя что ценное поближе к вертолётной площадке. Отправлять наших милых бурёнушек в село Краснощелье на центральную усадьбу, прощаться со своим домом, надеждами, где познавали мы и радость и беду. С какими мыслями, с какими надеждами здесь жили люди, ставившие добротные, прочные тёплые дома, в которых любили, рожали, растили детей.

Как только открыли двери фермы, на меня сразу нахлынули знакомые с детства запахи молока, сена, подстилки, коровьего пота – словом, того обжитого тепла, которое мило и близко сердцу каждого деревенского человека. Задумчивые глубокие вздохи коров, их добрые взгляды, парок над стойлом. Поглядишь – будто в одну масть все, а разные они, бурёнки-то. Одна из них неряха – прямо на помёт, в грязь ложится, другая – чистюля, выберет местечко посуше да почище. Такая и облизывает, обихаживает себя чаще. Одни коровы ласковые и спокойные, а есть и бодучие, злые.

Колодец

Талинка, Тальянка, Торпеда, Розетка, Ночка, Снежинка, Былинка, Весна… Сколько стоит их в ряду. Большинство черно-пёстрой масти – истинные холмогорки и, когда утреннее солнце заглядывает через небольшие окна старой фермы, спины коров вычищены до блеска, отдают янтарным светом. Сколько раз в день прибежишь на ферму помогать маме: то навоз вывезешь, то сена кинешь, зная коров по кличкам.

А теперь вот пришёл грустный день расставания.

На улице было тихо. С северо-востока наползали тяжёлые тучи, занявшие всё небо у горизонта облака. И ещё теплилась в душе какая-то надежда: вдруг погода испортится и не будет вертолёта, и ещё хотя бы на день отложить эти горестные, рвущие душу проводы своих бурёнушек.

Вертолёт мы услышали издалека, и утробный гул приближался, и ничего здесь сделать уже было нельзя. Он летел над самой водой, на бреющем, вдоль берега прямо к нам. Завис над нами. Мы оказались под винтом в центре ветряного круга. Это походило на смерч. Схватились за шапки. Прижались к земле…

Согнувшись в три погибели, я вдруг вспомнил охоту на волков, точнее, отстрел их с вертолёта, свидетелем которой был сам. Предчувствуя неизбежность смерти, вожак стаи, в которого никак не могли попасть, вдруг остановился, присел на задние лапы, оскалил зубы и прыгнул вверх, пытаясь вцепиться в пилотскую кабину.

На ватных, негнущихся ногах я пошёл к трактору, который стоял у фермы, попыхивая сизым дымком. На улице стоял плач людей и мычанье коров. Коров я таскал на тракторе с помощью верёвки, привязанной к их рогам, подтаскивая к вертолёту Ми-8. Животные с мычанием и со слезами на глазах упорно не вставали на

ноги. Я сам, с полными слёз глазами, не видя даже, куда еду, подтаскивал их к вертолёту, загружал в ненасытное пузатое чрево. Эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами, немой укор наших коров со слезами на глазах.

Уже работая на центральном отделении, частенько давал своим любимицам охапку вкуснейшего, пахучего сена, как бы прося прощения у них за то, что мы их предали, за то, что и теперь такое было прекрасное по жирности молоко, удивительные по аромату и вкусу сливки. И не зря начальство районное часто летало сюда, лишь бы купить чудесные сливки, в которых ложка стояла.

Да и было с чего расти надоям по пять тысяч килограммов молока, если урожай картофеля составлял до двухсот пятидесяти центнеров с гектара. Цифры эти могут показаться даже фантастическими.

Люди любили свою землю, своё море; любили за красоту и неподатливость человеку, у которого в этом вечном преодолении природы и самого себя вырабатывался такой же упорный, такой же крепкий и основательный характер, заставляющий делать на совесть всё, за что бы человек ни взялся. И вспоминая о Поное, я подумал, что такие древние центры Севера, каким было это старинное красивое село, по сравнению с другими сёлами с течением времени обрели особый «запас прочности», помогающий сопротивляться процессам, которые подтачивают и уничтожают Берег, хотя на всём его пространстве, проявляются они, в общем-то одинаково. Ковры лёгкой белой пушицы, густая кипень розового иван-чая. Итак, Берег, или люди? Проблема Берега – проблема его людей, а судьба каждого живущего здесь человека оказывается в зависимости от судьбы его села, его колхоза. Как и на корабле! Только если такой корабль пойдёт ко дну, много судеб человеческих он за собой потянет. Есть работа, есть гарантированность, есть все условия для жизни и перспектива

впереди – значит, корабль на плаву, машины работают не вхолостую, пробоины ликвидированы, пустого балласта нет.

Когда ураган «вторичной коллективизации», как можно назвать запланированный в начале семидесятых годов нашего века снос малых населенных пунктов, снёс более ста тысяч российских деревень и сёл, как ни странно, именно мощный рывок вперед западной цивилизации вернул человека к земле, дал ему досуг и средства заинтересоваться окружающим миром не для извлечения стоминутного дохода, а для восстановления гармонии в развитии общества и личности, ощутившей себя наконец частью биосферы.

Может быть, когда-нибудь и мы, вырвавшись из тисков невежества, нищеты, развала, инфляции, сможем вступить на такой же путь созидания, как наши далеко вперёд ушедшие современники. Мне хочется в это верить.

Немного из исторической справки. В 1659 году голландцы вывезли из Поноя 60 пудов «куропачьего перья». В 1660 году «пуха куропачьего» 47 пудов. Перья продавались по 27 копеек за пуд, а пух – 39 копеек за пуд. Всего за год продано 770 кг пуха. Также заготавливали тюлений жир, который употреблялся для освещения, мыловарения, смазки кожаной обуви. Писцовая книга 1608 года сообщает: «Понойского погоста жильцы… И из них поморских властей ходят в весне на море и зверь всякой бьют и из них вынимают сало и продают в Коле и на Двине немцам (иноземцам) на корабли, а иные отвозят на Русь бочку по 2 рубля, а в бочке как по 7 пуд». В 1659 году из Поноя вывезено ворвани 581 бочки, из них голландцам 381 бочка. После этого закупили они в Поное 2480 тюленьих шкур (кожуев)…»

Избомытие

Уж верба вся пушистая
Раскинулась кругом
Опять весна душистая
Повеяла крылом

А. А. Фет

Слева направо: Павел Иванович Долгих, Полина Семеновна Харлина, Евдокия Басалаева, Любовь Григорьевна Пекар, Екатерина Семеновна Тарасенко, Александра Гавриловна Долгих, Клавдия Ефимовна Устинова

Дни устанавливались тёплые. Сугробы, подтекая, скоро освободили улицу, и деревенский народ стал вылезать из надоевших за долгую зиму изб. Старики усаживались на брёвнах, мостках лицом к ослепительно сверкавшей реке Поной.

Старухи и бабы сбивались в кучки на угоре, о чём-то оживлённо говорили. Сугробы, или, как говорят у нас, суметы на улицах осели, хотя казалось, что это избы выросли, пригревшись на солнышке из посинев-

шего снега: выпростались прогнувшиеся от снега крыши, потом открылись окна с влажными наличниками. После долгой зимы подступала не менее долгая весна, время несбыточных надежд и хорошего настроения. Солнце с каждым днём теперь поднималось раньше. Ночи короче становились и светлее. К Пасхе набухли почки. И хотя в вараках ещё кое-где белел снег и земля оставалась сырой и холодной, но в заветрии начала оживать трава.

Дни пошли чередой один лучше другого, все в солнце, и стебли, робко зеленея, тянулись к свету. На Николу лопнули на деревьях почки, а из них поутру неожиданно будто брызнули молодые листья. Голые ветки деревьев сразу закучерявились, кинули тень, а вараки в округе оделись в зелень.

Но это всё потом, а пока что плескалось лучистое солнышко. В надворье у калитки млела прозрачная лужица подтаявшего снега. С хрустким звоном отрывались с карнизов дома ледяные свечи. Хотя в ту пору и само солнце в морозной дымке над Поноем – медный, морозом обожженный докрасна пятак, но май стучал в окна первым дождём.

Волчки вихрей бесшумно рыскали по уголкам. Месяц буйных ручьёв, первых цветений, весёлый месяц, вскормленный снегами и солнцем. Нежная и робкая весна. Остеклело небо, злился ветер, текла весна. Обманная весна чертит окно тонкими царапинами мороза, и земля, чёрная, вздувшаяся комьём, покорная, требующая семени в себя, томилась и млела под оловянным небом запоздалой весны.

Обычно к Первому мая вынимали в избах вторые рамы. И бабы устраивали избомытие. Ходили друг к другу и просили помочь вымыть избу. Преувеличивая, удивляясь и комедничая, сколько грязищи – то накопилось за долгую зиму. Вот и у нас ещё за две недели до Первомая мать уже обежала баб с просьбой помочь в избомытии. Отказаться в таком деле было никак нель-

зя, ибо следующей в помощи избомытия могла оказаться любая: Гутиха; Петрушиха или Лушиха.

В том далёком 60-м году весна пришла сразу. За день-два почернели разбухшие колеи дорог, закружились над оголёнными у школы и домов берёзами перелётные птицы, отыскивая перезимовавшие шапки гнёзд, потянуло густой, пахучей прелью навоза и талой земли. По утрам ещё стекленели хрупкие лужи и сосульки, тёк в небо крутой дым, а уже в полдень парили обнажённые пласты земли на поле, сочились с мокрых крыш светлые капели, пробивая в подсохших завалинках глубокие лунки. Почуяв тепло, взбудораженно мычали коровы на ферме, радостно блеяли овцы, надсадно, до хрипоты пели петухи.

За рекой тихо догорал огнистый закат, вспыхивая у берега оранжевыми всплесками. Белели у воды гладкие стволы берёз, зажигая в воде розовые свечи. Мы, подростки, с нетерпением ждали утра. Должны были прийти бабы на избомытие, а после него хозяйка с помощью тех же баб накрывала на стол, где можно было после всех полакомиться и нам.

Эту ночь спали урывками, боясь проспать что-то тайное, волнующее. Где-то на краю горы уже рассасывалась ночная мгла, словно в темную воду упала капля молока и слегка замутила её. Потом капли засочились быстрее, наполняя глубину белесым сумраком, и наконец озаряя рассветной голубизной землю, выбросились в небо нежнейшие, бледно-зелёные и розовые побеги восхода.

Проснулись мы от громкого смеха и тихого пения баб, которые уже домывали в большой комнате. Из комнаты несло таким свежим воздухом, чистотой и белизной, что закружилось в голове, и впору было задохнуться. В нетопленной избе было тепло срединным, ровно достаточным теплом, когда не жарко и не прохладно – неощутимо вовсе, как во сне; устало и нудно звенели в окнах и бились о стёкла мухи; пахло кисло-

ватым от ведерного чугуна с пойлом; приготовленного для скотины и не вынесенного с вечера.

Утро было позднее и тихое, солнце, вставшее уже высоко, светило ясно и ярко, но без мощи, без напора, со сдержанной силой, и это чувствовалось даже в избе: свет за окнами казался вялым, а разные шумы вокруг словно бы не собирались сюда, в одно место для слуха, а оттекали в стороны.

1974 год

Ильин день

Ни тучки нет на небосклоне,
Но крик петуший – бури весть,
И в дальнем колокольном звоне
Как будто слёзы неба есть.

А.А. Фет

Широкий подоконник светился буйно, горел багровым огнём, цвела герань, своим духом гоня из дому всякую нечисть и желанья. Последняя июльская ночь жила на воле, небо латунно-жёлтое, с редкими кровяными прожилками, (завтра обещался день быть хороший); река студенисто-набухшая, угревшаяся, она мирно лежала в берегах, и постоянный гул затмился. На причале нахохлилась чайка, видны её змеиный глаз, восковое ладно скроенное крыло и темная манишка. Сидит, как нотариус в ожидании. Светлое серебристое пространство, словно бы слегка посыпанное пылью, колыхалось за окном, и чайка стерегла его. Сумерки сонно колыхнулись, и на смородиновом листе робко засветилась росная влага. Река едва переливалась, окрас её, видимый из моего окна, походил сейчас на потный лошадиный бок. Ещё раз колыхнулись сумерки, и серебристую пыль туманно и легко разбавило луковым настоем: где-то, словно бы в чреве земли, встрепенулось солнце и натужно полезло из лона.

Послезавтра Ильин день, когда бог кинул в реку льдинку, и тень под вечер смывает кусты. На речном берегу ещё пространственно светел воздух, и лишь на дальних закрайках неба свинцовая стена: оттуда грядет осень.

Куда-то за первый взвоз, за дома, как гружённые баржи, плыли низкие угрюмые тучи. По двору дул порывистый ветер, и береза шумела так, словно листва её кипела. Между тем неровная тень тучи легла на поле, и по овсу бежали уже не золотистые волны, а пепельно-серые валы. Ветер мёл по дороге лохмотья пыли. Одинокий куст, растущий возле канавы, дергался, как будто старался вырвать из земли корни, и листья его вывернулись в одну сторону матовой изнанкой.

Внезапно ветер утих, словно прислушивался. Куст замер. Но вот на нём кивнул один листочек, потом второй, третий, и я сначала услышал, а потом увидел падающие капли дождя. Надвигалась гроза. Из-за гор показалась темно-сизая туча с густо-черными оторванными краями. Она поднималась быстро, точно кто-то подталкивал её снизу, и вскоре закрыла всё небо над селом. Налетел бешеный порыв ветра, закланялись, застонали березы. Сверкнула яркая, до рези в глазах молния. Ударил гром, задрожали окна.

Стало слышно, как к избе подкрадывался дождь. Возле крыльца забулькало, зажурчало, застучало, с улицы пахнуло сырой землёй, и сразу стало прохладно. Сверкнули косые и упругие прутья ливня. Потом снова наступила мутная темень, и где-то за сараями, по земле, неохотно прогрохотал гром. Ливень свистел, пошёл страшный дождинушка. Среди шума и хлопанья воды я стал различать стук, похожий на туканье капель. Стук был сухой и мертвый, словно кто-то ударял по ступенькам костяшкой пальца.

Я выглянул в окно. Шёл град. Белые градины падали на крыльцо, подскакивали, как мячики, и, словно живые, сбегались в кучки. Это лихо катался на своей колеснице Илья-пророк.

Истоки

В уходящем году исполнилось сорок лет, как политикой укрупнения было стёрто с лица земли моё родное село Поной.

Сколько лет рубили живые корни деревни, прикрываясь искусственно рождённым словом «неперспективная». А ведь жило село, вцепившись в каменистый берег своими корнями, справно жило-почивало более 400 лет, вынеся все тяготы послевоенных годин.

В последний мой приезд в 2005 году, на первый взгляд, старое поморское село изменилось за прошедшие несколько десятков лет. Исчезли почти полдеревни домов. Оставшиеся дома серели стенами и зеленели лишайником крыш.

Лишь так же течёт река, обнажая во время отлива своё каменистое устье. Но всмотришься повнимательнее, и тут же видишь перемены. Да ещё какие! Сколько лет с тревогой говорим: русский Север, хранитель наших национальных традиций и искусства, оказался под угрозой гибели. Шло насильственное сселение людей -ликвидировали прибрежное село. С родным селом связано много личного, сотни нехоженых троп по берегам рек и моря, по тундре.

Без преувеличения можно сказать, что судьба Поноя решилась в районе не сразу. Перестройка шла сложная, напряжённая, требующая от людей больших усилий. Она рождала заинтересованность, вскрывала неожиданные экономические и человеческие ресурсы. И сейчас всё ещё даёт о себе знать то сорокалетие, когда от приказов и инструкций цепенела жизнь, пустели и разрушались сёла.

Сейчас, когда, казалось бы, не видно явных противников перестройки, кто мешает от слов перейти к делу?

Я много, очень много думаю обо всём этом в последнее время. Похоже, слова одни, а дела – другие.

Думается не совсем так.

Отчего за мелочной суетой перестали замечать вечные ценности, без заботы о которых мы не вправе называться людьми? Давайте задумаемся, разве то, чему мы теперь свидетели, началось вчера или год назад? Да нет, конечно же. У нас за плечами немало деяний, ставших как бы началом той порочной цепочки, последнее звено которой – село Поной.

Спустя более четырех столетий назад на берегах реки Поной появились первые русские. Они создали своё поселение, занялись охотой, рыбалкой, пустили крепкие корни, чтобы потом гордо именоваться коренными поморами. Дух коллективизма и уважение к законам природы пронизывал всю их жизнь. Видимо, в те времена родился неписанный закон, уходя из избушки, оставлять необходимый припас: хлеб, соль, спички и охапку дров. Человек заботился о другом заблудившемся человеке. И это не раз спасало голодного, уставшего от неминуемой гибели. К добрым обычаям нужно отнести и то, как, к примеру, шла ловля рыбы, заготовка ягод. Этим занимались не тогда, когда кому захотелось, а по знаку знатока: всё созрело, пора.

Не думайте, что я идеализирую старину, и тогда по-всякому бывало, но в основном народ соблюдал законы, хотя они и не были писаны. Если первые русские переселились надолго, обосновались прочно, прикипели к месту душой и телом, то теперь иные переселенцы бегут за длинным рублём, думая, что на Севере деньги гребут лопатой. (Дал бы кто денег на эту лопату).

Вот и процветает коррупция, демагогия, краснобайство.

Есть ещё одна категория людей, ставшая проблемой для нас. Это так называемые «номенклатурные» работники. В застойные годы появились начальники, кочующие из одного кресла в другое. Развалит такой начальник хозяйство, его бы в тюрьму, но всегда находятся друзья-приятели, не дают пропасть, пример это-

му – тот же Принц, который продал сёмужьи реки. Эти люди не профессионалы, им по душе командно-административное «руководство»! Зато они удобны, послушны. Да-да, именно они в своё время приказывали заниматься у нас мало перспективным и малопродуктивным земледелием (вспомним хотя бы кукурузу), «забывая» развивать исконные веками проверенные отрасли. Вот и страдали люди от такого дилетантства. Вот бы где надо возвысить голос общественности, права оказывается именно она, а не узкие специалисты.

Не я один в своей тревоге за родную землю. И думается, дискуссии здесь вряд ли помогут. В тот самый далёкий, последний приезд в Поной слышал от собеседников: ещё немного, и станем отстраивать древние сёла, а по берегу Белого моря вдоль извечной поморской тропы поднимутся новые тоневые избы, перед которыми запляшет на волнах белый бисер пенопластовых поплавков, отмечая выметанные ставные невода. Пришло время. Перестройка входит в сознание людей, почувствовали и свою вековую связь с этой землёй, и свою ответственность за наше общее будущее. Пути назад уже нет. От идей перестройки надо переходит к практическим делам…

Историческая справка

Летопись с 1532 года

Юго-восточное побережье Кольского полуострова в первобытную эпоху населила терская лопь (по норвежской терминологии – «терфинны»). После прихода русских на Белое море территория терской лопи стала владением Новгорода Великого. В летописи под 1216 годом упомянут «терский данник», то есть сборщик дани с Терской земли.

Соловецкий проповедник Феогност приобщил терских лопарей к христианству и построил в низовьях

реки Поной православную церковь. С этого момента можно встретить упоминания о погосте Поной, Понойский.

Погост Поной начинает свое летоисчисление примерно с 1532 года, на что указывает грамота, свидетельствующая о крещении лопарей за Святым носом, да указания Алая Михалкова, что в Понойском погосте стоит церковь Петра и Павла, при ней шесть душ мужского полу.

«А в церкве образы, и книги, и ризы и на колокольнице колокола, и все церковное строение государево данье» На колокольнице два колокола пуда в четыре». Среди пожалований Ивана Грозного отмечены: на престольное Евангелие «поволочено бархатом червчатым (красным), образ Петра и Павла обложен серебром басмеи, венцы сканные, в венцах камышки».

Рядом с церковью поселились священник, дьякон и пономарь, присланные Троице-Сергиевым монастырем, и несколько семей русских крестьян. Лопарское поселение называлось погостом, русское – селом.

Поной с его богатыми семужьими ловлями рано привлек внимание хозяйственно крепких монастырей – Троице-Сергиева и Антониево-Сийского, которые приобрели здесь обширные владения.

Обратимся к историко-географической справке о Поное.

В труде Н. Харузина «Русские лопари» приводится выписка из писцовой книги Алая Михалкова, составленная в начале XVII в. На основании подобных ей документов XVI в. эта книга перечисляет существование в те времена погосты, довольно точно фиксирует местоположение каждого и сообщает количество жителей мужского пола.

«Погост Понойский стоит над ручъём над Ечюном, а в нём живут лопари понойские и сконские (еконские) в вежах». И всего 39 веж, а лопарей в них понойских и еконских 91 человек».

В писцовой книге есть следующие строки (стр. 450 и 451): «да те же понойские и еконские лопари дают по Васильеву письму Агалина (т. е. в 1574 г.) да подъячего Степана Соболева с реки с своего промыслу хто чем ни ловит в государеву казну десятую рыбу семгу, а емлют у них тою целовальники, которых присылают ис Колы государевы приказные люди для государевы десятые рыбы в погост Поной».

Далее документы показывают, что люди государевы имели право продавать десятину купцам из Каргополя, Двины, которые заходили ладьями в устье Поноя. Полученную выручку отвозили в Кольский острог, в государеву казну «к приказным людям ежегод безпереводно».

Село Поной «образовалось как промысловая фактория нескольких монастырей и как база распространения христианства среди терских саами. Сюда сходились на промысел тюленей с Двины, Беломорья и других мест; имели своих агентов и иностранцы (голландцы).

Тюлений жир употреблялся на освещение, мыловарение, смазку кожаной обуви и т. п. В XVI–XII веках он шел в большом количестве за границу, в страны Запада. Писцовая книга 1608 года сообщает: «Понойского погоста жильцы… И из иных поморских волостей ходят в весне на море и зверь всякий бьют и из них вынимают сало и продают в Коле и на Двине немцам (иноземцам) на корабли, а иные отвозят на Русь бочку по 2 рубля, а в бочке сала по 7 пуд».

В 1659 году из Поноя было вывезено ворвани 581 бочка, из них голландцами – 381 бочка. Кроме того, они закупили в Поное 2480 тюленьих шкур («конжуев).

Экспорт продуктов зверобойного промысла, хотя и в меньшем размере, продолжатся и в XVIII веке. В описании 1786 года говорится: «Сало морских зверей отправляется за море и часто отвозится в Москву и Пе-

тербург. Кожи морских зверей выделывают в Архангельске, а серковые и в Соловецком монастыре, где оные с отменным искусством чернят наподобие козлов и замши... идут для обивки сундуков и ящиков, а черненные для сапогов и канег (полусапожек). Более ж кожи сии идут в Кяхту и составляют некоторый торг с китайцами. Заячьи... расходятся по Архангельской губернии... для подошв у простого народа и вояжем». Среднегодовой привоз ворванного жира в Архангельск в 1787–1789 годах составил 27601 пуд (452104 килограмма). По стоимости (95223 рубля) это почти 32 процента ценности всей промысловой продукции, доставленной с моря на архангельский рынок.

Зверобойный промысел сохранял свое значение и в последующее время. В 1869 году на торосном промысле находилось 854 терских жителя на 175 карбасах. Ими добыто около 14 тысяч пудов сала. Лысун (шкура и сало) стоил 5 рублей, нерпа – 1 рубль 50 копеек, серка – 1 рубль.

С 1620 г. Поной – оброчное село боярина Никиты Ивановича Романова.

27 марта 1658 года царь Алексей Михайлович пожаловал Поной «в вотчину... Вовеки неподвижно» двум патриаршим монастырям – Крестному (на Кий-острове в устье реки Онеги) и Воскресенскому (на реке Истре в Московском уезде). Делами Понойского храма стали ведать монастыри-вотчинники.

В 1677 году в селе жило 18 взрослых мужчин в 6 дворах; по учёту 1712 года – 23 семьи (62 человека мужского пола) в 14 дворах.

С 1830 г. сюда начинают переселяться терские саами разных погостов, смешиваясь с русскими. Сближению терских лопарей и русских крестьян, поселившихся в Поное, способствовали три обстоятельства: единая вера, совместные промыслы и заинтересованность во взаимовыгодной торговле.

В 1854 году в Понойском приходе состояло: в селе – 164 человека (24 двора), в лопарских погостах: Сосновском –85 человек, Лумбовском – 108, Иокангском – 109, Куроптевском – 60 и Каменском – 93. Всего 619 прихожан.

В 1871 году богатый кузоменский крестьянин-торговец Алексей Петрович Заборщиков построил в селе вторую церковь – «во имя Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня», теплую, без колокольни. В 1913 году прихожане заменили её новой, одноименной.

В «Кратком историческом описании приходов и церквей Архангельской епархии» пишется, что «лопари этого погоста (34 м. п и 38 ж. п.) в образе своей жизни ничем почти не отличаются от русских: живут в обыкновенных домах, в которых встречаются даже «горницы» с голландскими печами, оставили кочевой образ жизни и занимаются уже не столько оленеводством, сколько морскими промыслами».

Лесничий К. А. Соловцев в «Архангельских губернских ведомостях» рассказывая о быте понойчан, писал, что они любили роскошь, жили добротно: пили чай, кофе, ели орехи и пряники, другие лакомства, а ещё любили щеголять платьем…

Понойскому причту принадлежала чрезвычайно доходная сёмужья тоня Попова Лахта (в 12 верстах от села) и одна пожня (сенокос «на корову»).

В 1871 году в селе имелось уже 35 жилых строений, 185 человек крестьян, у которых было 83 речных судна, 15 коров, 64 овцы и 293 оленя. Священником в Поное с декабря 1882 года служил Николай Иванович Шмаков. За метеорологические наблюдения правительство наградило его 3 декабря 1898 года орденом Святой Анны 3-й степени. Накануне революции возглавлял приход его сын, тоже Николай.

В 1915 году в Понойском приходе числилось 152 двора, 610 жителей, в том числе лопарей 341 человек (94 двора).

В 1927 году волостное управление Понойской волости преобразовано в исполком районного Совета. Здесь находятся почта, кооперативы, представительства госторгов, фельдшерский пункт, школа и другие учреждения.

Одно из самых древних, испокон веков богатое, с интереснейшим прошлым, саамско-поморское село Поной всегда притягивало к себе многочисленных торговцев, путешественников, историков и различных ученых со всего света.

Хотелось бы обратить внимание на исследователей, которые были в разные годы в Поное. Это гидрограф Ф.П. Литке, академик К. М. Бэр и с ним молодой натуралист А. Леман, естествоиспытатель А. И. Кельсиев, профессор Д. А. Золотарёв, этнограф В. В. Чарнолуский, краевед В. К. Алымов и многие другие.

Экспедиция Карла Максимовича Бэра (май 1837 года).

«Участники экспедиции направились в село Поной. Тропа привела к краю глубокого ущелья. Внизу широко разлилась река, на противоположном берегу были видны вытянутые в одну улицу дома селения. Шёл дождь со снегом. Под ногами теснились почти отвесные скалы, обрывавшиеся едва ли не на сотню метров. Располагавшийся в стороне относительно пологий спуск в сторону небольшой церквушки был отделен оврагом с совершенно отвесными стенами. Поэтому местные жители, сопровождающие путешественников, предложили начать спуск к реке. Предусмотрительно захваченные с собой верёвки и ремни связали и опустили на них одного из проводников на небольшую каменную площадку. За ним последовали Бэр и его спутники, вместе с поклажей.

Отсюда, с трудом выбирая места, где можно ступить, вся группа спустилась к берегу реки...

Селение состояло из двух десятков домов, большинство из которых представляли собой ветхие лачуги, вросшие в землю или покосившиеся и подпёртые деревянными стойками. Лишь изредка попадались дома, вид которых свидетельствовал о достатке их владельцев.»

Путешественники остановились в одном из зажиточных домов. Приём, оказанный Бэру и его помощникам, превзошёл все ожидания. «Мы со всеми нашими спутниками, после утомительного перехода по тундре, на которой совсем промокли от сильного проливного дождя, прибыли в Понойское ущелье, в жилище крестьянина, совсем не имевшего пашен, не только могли восстановить свои силы, но даже встретили отличное угощение. Вымывшись в удобной бане, мы в весёлой, просторной, не только опрятной, но даже красиво убранной избе нашли более постельного белья и удобств, нежели нам нужно было. Не было недостатка ни в чае, и при том самого отборного сорта, ни во всех к нему принадлежностях, как-то: сахаре и роме, ни в красивом самоваре и потребной фарфоровой посуде, ни, на другое утро, в фаянсе для сытного завтрака, состоявшего из многих блюд», – вспоминает Бэр.

Такое гостеприимство было обычным. Газета «Архангельские ведомости» в одном из номеров за 1861 год писала: «Поноянe любят роскошь, которую они понимают по-своему, они все пьют чай и кофе, привозимые из Норвегии... орехи, пряники и другие лакомства в большом употреблении: они любят пощеголять платьем, хотя бы в ущерб желудку; часто потчуют гостей чаем, кофе и лакомствами».

На следующий день путешественники совершили экскурсии в окрестности села. Леман отметил, что наиболее распространенный породой в окрестностях села был гранит. Реже попадались гнейсы и базальты, а

также красноватые песчаники, в которых виднелись гнезда мелких аметистов. Среди минералов были кварц, полевой шпат, свинцовый блеск, серный колчедан, охра, роговая обманка. Кое-где по берегу встречались проявления железных и медных руд. Местные жители знали также о существовании вблизи Поноя золота, но места эти тщательно скрывали, боясь, что в случае открытия месторождения их направят на горные работы.

В 1736-1742 годах шла разработка медных руд на речке Русениха в 7 верстах от села Поной. Было добыто более 120 тонн руды и выплавлено 2 703 килограмма красной меди, себестоимость которой оказалась чрезвычайно высокой. Предприятие пришлось закрыть. (Ушаков Ф. Ф. Хозяйство и быт населения/ Ф. Ушаков// Кольский Север, с. 177).

Одним из самых интересных результатов поездки по Терскому побережью и Восточному Мурману явилось открытие А. И. Кельсиевым каменных лабиринтов – вавилонов, возведённых рукой первобытного человека некогда близ устья рек, впадающих в море.

Одно из таких сооружений путешественник увидел в Поное. На высокой прибрежной террасе, на окраине селения, из валунов была выложена сложная система концентрических колец. Сооружение казалось очень древним: камни глубоко вросли в почву, покрылись мхом, в промежутках между ними поднялась высокая трава. Войдя в лабиринт, путешественник долго бродил по натоптанным узким дорожкам, но ни одна из них не вывела его наружу.

Кто был строителем этого лабиринта? Когда он построен? И что означает их сложный каменный узор?

На эти вопросы у Кельсиева не было ответа. Да и современные археологи, досконально изучив эти каменные сооружения на всем Севере Европы, до сих пор ещё не вышли за границы предположений и догадок в отношении их происхождения. (Кошечкин, И. Б. От-

крытие Лапландии/ И. Б. Кошечкин – Мурманск: Кн. Изд-во, 1983 г. – 125 с. – с. 60).

Давид Александрович Золотарёв проводил исследования на Кольском полуострове в 1927 году, вот что он пишет о селе Поной: «Село Поной, расположенное на уступах высокого левого берега реки Поной близ впадения её в Горло Белого моря, является старинным русским селом, насчитывающим в настоящее время 300 человек жителей. Сюда стекались с давних пор из разных концов Русского Севера промышленники ради рыбных богатств, тюленьего промысла и пушнины. Даже теперь, ведя регистрацию при производстве измерений, мы могли отметить выходцев из Шенкурского, Архангельского, Кемского уездов и из разных селений Терского берега. Многие имели саамские фамилии, но вовсе забыли саамский язык. Переселение саамов на постоянное жительство в летние погосты также свидетельствовало о глубоких и необратимых изменениях хозяйственного уклада коренных обитателей Лапландии.

Поной сильно отличается от лопарских селений. Красивое местоположение, довольно широкая река с очень высокими берегами, две церкви, школа, клуб, почтово-телеграфное отделение, кооперативы с их конторами, врачебный пункт (временно закрыт), волостные учреждения, хорошие просторные постройки придают Поною особый вид поморского административного и культурного центра. Семужий лов, торосовые промыслы создают благополучие жителей. Правда, они не оставляют оленеводства, но ведут его в форме избяного хозяйства или отпускают оленей пастись в больших стадах. Проходя по улицам села, повсюду можно видеть оленей, лежащих около груд ягеля, который хозяева запасают для корма скота» (Золотарев, Д. А. Лопарская экспедиция (11.01-11.05.1927). – Л.: Гос. рус. геогр. о-во, 1927, 48 с. – с.27-29)

В летописях XVI–XVII веков есть упоминание об этом селе. Многие столетия жили здесь люди, ловили рыбу, пасли оленей, любили, рожали детей. Да что уходить в века! Ещё на памяти моего поколения были в этом селе районный центр, школа-десятилетка, отделение связи, крупный колхоз, называвшийся «Север».

В том, что разоряются, вымирают села, мы часто обвиняем голод двадцатых годов, коллективизацию и раскулачивание тридцатых, военное лихолетье сороковых. Но какое обвинение можно придумать для семидесятых и восьмидесятых? Не придумаешь. Налицо преступление, называвшееся до недавнего времени государственной политикой…

Уже никогда не узнать нам, кем были и как прозывались те первые мужики, которые на деревянных лодьях заплыли когда-то в губу и увидели здесь, в устье, красивое ущелье, крутые склоны с брусникой, черникой, малиной, смородиной, у подножья – зелёные пожни с сочными и пахучими травами. Не могли не привлечь их внимание и река, богатая семгой, кумжей, форелью, хариусом, и тундры с ценнейшим пушным зверем, оленями, медведями, лосями и другим…

Всяко жилось людям на заполярной земле. Бывало, что беды накатывали, болезни косили людей, уносили десятки жизней. А то совершали набеги «немецкие люди», грабя и убивая жителей, сжигая дома и хозяйственные постройки. Но запустение было временным. Жизнь поднималась.

Бывшие жители Поноя до сих пор не могут взять в толк, как и почему село с богатым колхозом «Север», ежегодно дававшим стране более тысячи центнеров рыбы, могли посчитать неперспективным? 9 февраля 1977 года Поной был исключен из списков сел Мурманской области.

К пароходу

Не нами сказано:
Без моря горе, а с ним вдвое.
От моря едят, от моря и стареют.

Ночь пришла, и тишина сумерек, как обозначаются ещё шире раздвинувшиеся берега, как подсыхает и поднимается небо, наполнилась каким-то неясным движением и шёпотом берёз. Небо, тронутое по краю зарёй, опустилось над берёзами низко, доверчиво, отчего стало казаться, что берёзы говорят о чём-то с небом, о чём поговорить среди дня никак не решались.

В шуме темных вершин было что-то загадочное и в то же время очень простое: чуть прислушайся, и вот поймёшь эти доверчивые слова. Но разобрать их никак нельзя или не хватает сил, потому что хочется спать. И так уж пробегали всю ночь, играя в лапту. Даже женатые мужики играли вместе с ребятами. А утром, как только начнется отлив, надо выезжать к пароходу, и стоять четыре, шесть часов на якоре, ожидая парохода.

Постепенно всё заглохло. Земля и трава уже слегка запотели, и по низинам белой мглою подымался душистый туман. Звёзды ещё не сместились со своих мест, но Млечный путь склонился ниже к горизонту, и в том месте виднелась будто светлая просека-дорога, слегка освещаемая заревом месяца. И люди, и птицы, и земля, и трава – всё было погружено в крепкий, ничем не нарушаемый предутренний сон.

Кругом было ночное успокоительное безмолвие; в далеких пространствах, на восточном склоне неба, уже пробегали тревожные сполохи кроваво-краснеющей зари. Серовато-молочными размывами заволакивала реку июньская белая ночь. Отлив обнажал до краев заполненное русло реки. Над ней тихо стлалась малооблачная ночь. Вечерняя заря, струясь

спокойно и неторопливо, переливала своё золото в зарю утреннюю. В полуночной стороне отступали перед зарёй серовато-темные полутона. Там – студеное море. Но солнце ещё не взошло, село спит. Над Поноем пухнет белый туман, поднимаясь высоко, смутно видно морские дали. Тишина всесветная, только улавливается возникший гул доры. Есть что-то тайное, волнующее в рождении дня, как будто на твоих глазах происходит сотворение мира.

Ночь была на исходе, прозрачная и лёгкая. Ветер угнал тучу и сверкающее небо, спешил убрать вороха своих сокровищ. Огляделся с береговой крутизны. Справа под угором блестела, точно обмелевшая от звездной россыпи, река Поной. Слева журчал Корожный ручей, обегая дозором тенистые излучины распадка. В открытые окна воровато вползал рассвет. На востоке блеснула светлая полоска зари. Она быстро накалялась, краснея и растекаясь по горизонту. Верхушки берёз, тронутые ветром, разметали голубизну неба. Небо в эту минуту вдруг вспыхнуло.

Началось утро. Белая ночь ушла на покой. Было уже светло. Только что взошедшее солнце сразу попало в вязкую свинцово-серую тучу, наползшую с севера, и краски его померкли. Вверху, над тучей, от него протянулись, выбились на простор неба лучи-стрелы. Они ударили в верховые перистые облака, и те заискрились, засверкали теплым оранжевым светом.

Вот уже отлив набрал силу и широкая каменистая полоса была обнажена под заунывным рассветом.

Уезжаем к пароходу в три часа утра, и нас провожают односельчане, долго стоят на угоре, долго кричат приветственное и машут руками. Так бывает каждую весну – к первому пароходу высыпает чуть ли не вся деревня. Потому как весна-то на Поное начинается с прихода пароходов, с той самой поры, когда голый берег под деревней вдруг сказочно прорастёт белыми

штабелями мешков с мукой и крупами, пузатыми бочками с рыбой-морянкой да душистыми ящиками с чаем и сладостями.

Мотор взялся быстро, всего после нескольких прихватов, и заплясал, задергался, требуя газа. В то время мотористом был Володя Матрёхин, он немного газанул, и дора рванулась. И только рулевой Володя Шошин вырулил, застелилась перед дорой, играя, лунная дорожка. Звук мотора сделался ровным, ноющим, разрываемый воздух упруго и колюче бил в лицо.

Медленно, тяжело качалась справа глухая стена берега. Левый дальний берег по-прежнему тонул во тьме, и тьма рисовала там огромные нелепые фигуры. Село сгинуло, будто его и не было никогда, небо вытянулось в широкую, выстилающуюся перед дорой полосу, тускло, страдальчески догорающую. Верно, что в эту июньскую пору заря с зарёй целуются: не успела отгореть одна, не успела запахнуться ночь, а уж потягивает утром. Мрак из темного становится серым, мглистым, стало ещё глуше, небо сыро обвисало, что-то неразличимое звучало там, в небе, что-то, как при натуге, вздышливое. Свинцовое полотно воды зарябило, сморщилось. Через полчаса мы уже не замечали, как, сгоняя отмершие частицы мглы, наливается свет. Перед восходом солнца с той стороны, откуда мы вышли, брызнула на море заря, чистая, весёлая, нежная, и всё собой омыла и оживила. Дора бежала бойко, пластая надвое волны носом при килевой качке. Над дорой висело одно-единственное облако – серое, с округленными краями, похожее на грозовое. Небо было в этот час удивительно ясным и прозрачным, с золотинкой. Но вдали, у черты горизонта, еле различались низкие, густо подсинённые снизу облака, предвещающие холода и ненастье. Небо заволочено тучами, река петляет, ветер дует то навстречу, то в корму, то с бортов. Попадаем на коргу и глушим мотор, у капитана, который

сидит на руле, появляется смущенная улыбка. Тишина обступает нас в эти короткие минуты, дора беззвучно плавится по течению. Утро по цвету глухое, много облаков, и все серые, темные, низкие. Только кое-где на севере-западе и на севере в тучах разрывы. И в эти разрывы видны высочайшие облака, отделенные от нижних огромной голубой массой воздуха. Они озарены солнцем, которое стоит сейчас неглубоко за горизонтом. И уже в разрывах между теми облаками на неимоверной высоте сияет нежное голубовато-розовое небо. Я прикрыл глаза от сверкающего колебания водной массы. Море продолжало жить, я его видел теперь преображенным наступившим утром. Поной затерялся позади в сизой дымке утреннего тумана. Навстречу стаей лебедей плыли заревые лиловые облака, а за горой пробуждалось солнце. Новый день жадно стучался во все двери и окна.

Дора прошла шестой причал, описала полукруг и взяла курс на юго-запад, к Лудам. Здесь нам надо болтаться почти полсуток на якоре в ожидании прилива, когда должен прийти пароход. Смотрю на ослепительные пятна вдали и вверху, одни дающие свет земле и воде, и мне чудится в них что-то непорочно чистое, снежное, как бы Северный полюс, предел всего, что есть на земле, прозрачный солнечный чертог, что-то необыкновенно отдалённое от меня, от моих мыслей и чувств, то, к чему мне надо идти всю жизнь и чего, может быть, так никогда и не достигнуть. Мучительно гнетёт наболевшее сердце пяти-шестичасовая стоянка на якоре: приглядятся окольные однообразные воды, с каждой мелочной подробностью, которых делаешься как будто знакомым сызмальства. Глаз болит от беспредельной поверхности моря, взволнованной, возмущенной на своём пространстве неспокойными, спорящими волнами: одна подсекает другую, разбиваясь в мелкие дребезги об острые корги, голыши и луды (небольшой лишенный растительности каменистый остро-

вок). Мельничным воплем отдаёт шум волн, набегающих на каменистый перебор между соседними голышами, оголёнными убылой водой.

Начало прилива, именно тот короткий момент, когда вода как бы задумывается и стоит неподвижно, не подаваясь ни вперёд, ни назад, поморы зовут куйпогой. За куйпогою вода заживёт, то есть начнёт прибывать, сполнится, и всё остальное время прилива носит уже название полой, прибылой воды. Прилив кончается, вода кротеет, течение её делается тише, она вскоре сполнится и через шесть часов от начала прилива будет полная вода: затем она дрогнет и начнёт западать (убывать) все следующее после того время отлива имеет одно общее название – сухая, малая вода. Таким образом, опять через шесть часов будет куйпога и немедленно следующее за нею начало полой воды.

Погода ухудшилась. Море хлестало грязным своим вехтем в берег, и пушечные раскаты оседали в болотных кочках. Море горело пронзительно белым пламенем и в зыбком непрестанном колыхании таило угрозу и смуту. А со стороны Кузьминского мыса потянуло вдруг лес, неокоренный, строевой, как на подбор, бревно к бревну, видно, прорвало где-то запань.

Тут нежданно клубами сизого дыма налетел туман. Только что море ершилось петушиными гребнями и вот сразу скрылось под грязной, тускло отсвечивающей пеленой, и даже собственную вытянутую руку нельзя было разглядеть. Туман шевелился, прохладно обтекал лицо, и чудилось, что если шагнуть сейчас в сторону, то можно заблудиться и уж никогда не выйти в море. Вода ожила и тронулась – начался прилив.

Вдали было слышно, как вахтенный отбивал в судовой колокол склянки, давая сигнал встречным судам. Звон меди был тускл и быстро гаснул, падая на свинцовую воду. Пароход продирался сквозь туман, словно сквозь развешанные для просушки простыни. Туман понемногу рассеивался.

Открылся остров Вешняк. Справа по борту, чуть севернее открылся остров Горяинов. Вскоре туман быстро разбросало, подул порывистый полуночник, ветер с северо-востока, море посивело. Дора ныряла на пологой, грудастой волне, она наваливалась на берег пугающе молчаливо, порой скрывая за собой посудину, и она проваливается в черную зыбистую яму, и белое опушье волн стегало нас по плечам и спинам.

Перебор мотора просочился сквозь воду и утонул. Очертания парохода размылись в лиловой колышущейся стене моря, которая поднималась в небо выше головы. А белая ночь жила на самом изломе, тускло светилась она, словно бы отлитая жидким грязноватым стеклом. Туман исчез совсем, и хорошо было видно, как склоны гор уже покрылись зеленью, искрещенной яркими полярными цветами.

Из-под снежниц в море падали прозрачные струи водопада. Стаи птиц низко тянулись над морем, устремляясь на скалистые гнездовья. То и дело по курсу парохода выныривали нерпы и морские зайцы и высоко высовываясь из воды, с любопытством рассматривали идущий в светлой ночи корабль.

Я любил эти синие, изогнутые берега, знакомые с молодых лет, когда ещё мальчишкой часто проплывал мимо них, на тони Терско-Орловский и Качковка, Красный Нос, Подконевка и Кузьмин. Басовито прогудел гудок парохода и послышался лязг якорной цепи, «Вацлав Воровский» становился на два часа якорной стоянки. Мы снялись с якоря и подошли к пароходу, с легкостью вбежали по трапу этого трёхэтажного красавца теплохода, скидывая на ходу телогрейки и робы, устремились все в ресторан.

Карповка

Прохладный с утра ветерок окончательно стих, и густое, ещё по-летнему вязкое марево колыхалось над приречными телами, над свежей сочной зеленью отавы, над буровато-желтыми приземистыми стогами. Отсюда, с высокого берега горы, дальше заречные стога выглядели неестественно маленькими, похожими на кочки. А широкие речные плёсы, светлые, словно открытые напоказ, казалось ещё шире, разлились. Просторная, в яркой, нарядной зелени, равнина будто ещё далее раздвинулась до самой синей каемки моря. Чистый зеленовато-холодного оттенка небосвод ещё выше поднялся, во всём была какая-то щедрость и мощь. Но бурые, прибитые дождями стога вызывали грустное чувство. А может быть, было ещё невесело и оттого, что во всём просторном небе висел один-единственный канюк[1] и свистел протяжно, с переливом.

Отца послали по пожням[2] проверить сено, увязался и я с ним. День выдался слякотный: с утра пошёл мокрый дождь вперемежку с дождём. Промёрзшая накануне земля осклизла и налипала на подошвы. По горным ущельям и распадкам, вдоль чистых и шумных речушек буйно цветёт рябина, и кажется, что взбитая рыхлая пена слетела с бурных речных перекатов на ветки, да и застыла в оцепенении. Березы, ещё реденькие, светлые, с тёплым красноватым оттенком, тоже томятся вдоль речушек, словно сбежались сюда на купанье да залюбовались собственным отражением в прозрачной бегучей воде.

Здесь нас нагнал дождь, он пришёл из этой долины с ветром, вволю нагулявшимся на белесых волнах моря, и весело, хлёстко застучал по нам. Небо затянуло плотными облаками, они куда-то спешили, навалива-

---

[1] Канюк – птица семейства орлиных.

[2] Пожни – покос, луг. Половину пожни скосили. Поной

лись друг на друга и клубились темно-бурыми клочьями, иногда сквозь их рыхлую толчею проваливалась луна, и тогда видны были далеко разбросанные друг от друга деревянные дома Карповки, за ними – похожие на кочки стога сена, и ещё матово поблескивал плёс Широпялки.

Карповка находилась на правом берегу реки, и была так названа по фамилии начальника экспедиции. Каких людей только не было в ней, были и в прошлом судимые.

Наш дом стоял недалеко от школы и клуба, и каждые выходные и праздники разгорались целые баталии возле клуба. Дрались солдаты и моряки, пришедшие на танцы, местные и из экспедиции. Любили мы смотреть на всё это с чердака нашего дома или, собравшись в табунок, дружно шли помогать нашим мужикам. Помощь заключалась в том, что мы набирали в горсть песку и бросали его в глаза противника, при этом спешно ретировались.

В памяти остался один довольно-таки смешной случай. Жил у нас такой Василий Петрович Филиппов, очень спокойный и добродушный человек, работал трактористом и часто катал нас на тракторе. Когда кто-нибудь тебя спрашивал: кем будешь, ответ был один: как дядя Вася, трактористом. В очередной праздник мы, как всегда, смотрели с чердака на очередную потасовку. Какой-то тщедушный экспедиционник, схватив Василия Петровича за грудки, нещадно трепал его, однако дядя Вася стоял на нашей горушке, даже не шелохнувшись с места. Но когда ему порвали у рубашки ворот, Петрович не выдержал и со словами: «Ах, ты ещё мамкины рубашки рвать!» схватил обидчика за пояс и кинул его с горушки прямо в грязь.

А дядя Гена Устинов вообще выкинул из стайки[3]

---

[3] Стайка – небольшой хлев для мелкого домашнего скота. Ф стайке – мос, во дворе – мос. Поной

одного матросика, схватив его за широкие штаны, обе половины которых остались у него в руках. После этого пришёл к нам со словами: «Клава, возьми девкам на юбки», то есть повезло моим сестричкам Римме и Шуре.

Чего мы только ни находили после драк: ремни солдатские и матросские, военные билеты и деньги, пилотки и бескозырки…

Много воды утекло с тех пор, но часто вспоминается, как, выдирая из земли грядки[4], экспедиция носилась с ними по всей деревне.

Уже полнеба зарделось, заиграло зарёй, уже верхушки деревьев стали ловить красноватые отблески восхода, когда мы дошли до Бревенного ручья.

Было начало сентября. И хотя погода стояла жаркая, с ветреными полднями и тихими комариными зорями, все говорило о приближении осени: на дальних сопочках, покрытых мелкой карликовой березкой, проступили кумачовые пятна брусничника; невысокие березки порыжели, словно покрылись ржавчиной, а вечером табунились дикие гуси, о чём-то птичьем мирно говорили, и с первой зарёй поднимались на крыло, выстраиваясь в косяки, и пролетали с криком над деревней. Стояла та особая предзакатная пора тихого теплого дня, когда всё вяло и покорно замирает в ожидании ночи. Ветру надоело дуть за день, травам – шептаться, и даже солнцу надоело греть большую тундру, оно потихоньку остывает и незаметно подкрадывается к дальним сопкам, словно хочет спрятаться за ним.

А как чудесна в это время понойская река! Какими чувствами играет в ней вода! Если смотреть на воду прямо перед собой, обернувшись лицом к солнцу, то близко увидишь нежный-нежный зеленовато-голубой цвет, дальше к берегу все розовеет, светится изнутри, словно кто-то под водой зажигает огромные лампы, и чем дальше к берегу на закат, тем краснее, гуще цвет, и

---

[4] Грядки – жердь, палка, укреплённая горизонтально. Перекинь церес грятку, пусь сохнет. Поной

вот вода уже багровая, как кровь, вся в тревожных блестках, и дрожит, и переливается... И так тревожно, так радостно становится на душе! Отчего это?

В сумерках пошёл снег, и сразу же стали прихорашиваться чёрные плешины земли, мягче и чище становится просторная, бескрайная тундра. Ветер дул со всех сторон. Снег валил сверху и поднимался снизу, подхватываемый ветром. Всё перемещалось, глаза невозможно было открыть. Голос до боли беспомощно растворялся в стоне вьюги.

Мы вышли к реке, как начало смеркаться. В кустарниках под кустами густел мрак, сливался в непроницаемую массу ближний кустарник, волглой становилось трава под ногами, как вдруг собака Восток бросилась в кусты и вытащила линялого гуся. Видимо, гусь был подранком, обычно 17 августа по народной примете гуси уже становились на крыло. Основная масса птиц собиралась в стаи и готовилась к отлёту. Отобрав у собаки задушенного гуся, мы берегом реки пошли к селу, где в сумерках просвечивались огни домов...

Кому сегодня на Руси жить хорошо?

И даром думают, что память
Не дорожит сама собой.
Что ряской времени затянет
Любую боль,
Любую боль...

А. Т. Твардовский

На Руси всегда в сознании людей жили и бились вечные вопросы: кто виноват? что делать? кому на Руси жить хорошо? В самом деле, кто сегодня доволен жизнью? Да никто! И социологические исследования подтверждают это со всей очевидностью: идёт резкое обнищание всех слоев населения. Уверен, выскажись я где-нибудь прилюдно, в сельмаге или на почте, что по-

нойские жители живут лучше других – меня тут же заклевали бы на месте. «Как это лучше? – заверещали бы здешние старушки с острыми, наждачными язычками. – Да есть ли у тебя совесть, щелкопер, такими словами кидаться?! Буханка хлеба к пятидесяти рублям подскочила, сливочное масло – к сотне; сахар днём с огнём не сыщешь; лекарств нет и, говорят, весь год не будет; рыба – и та ловиться не желает. А проезд? Когда-то стоил авиабилет до райцентра Ловозеро 14 рублей, а нынче выкладывай все пять тыщ…».

Всё это правда, чистая правда. И тем не менее я беру на себя смелость утверждать, что понойцы жили, если не «вольготно, весело», пользуясь некрасовским эпитетом, то, во всяком случае, вполне пристойно по нынешним неласковым временам. Выходит, чем глуше – тем лучше?

Меня всегда тянуло в дальние северные деревеньки. Может, оттого, что я родился и жил в такой же деревеньке. Трудно представить себе жизнь в этих отрезанных от мира, засыпанных глубокими снегами селениях-невеличках в десять-пятнадцать дворов, где только одни дымы из труб, да лай собак, да подслеповатые оконца с тусклыми огоньками керосиновой лампы напоминают о присутствии человека.

Сколько раз за последние годы я пытался навестить места, где подолгу когда-то гостевал. Особенно нравилась мне Пялица, откуда была родом моя мама. Жизнь здесь держалась на коренном и прочном крестьянском укладе. Но проходили одно-два, три десятилетия, и деревенька принимала нежилой, почти кладбищенский вид, будто сдвинулась с земной оси. Брошенные дома и пустые амбары, продуваемые навылет коровники. Внутри помещений – спёртый запах гниющего дерева и мышиных закоулков, гирлянды пыльной паутины. Зови, кричи – никто не отзовётся! Раздолье для шастающих медведей…

Ещё несколько лет назад на карте находился маленький кружочек с названием Поной. Он стоял в самом устье реки Поной. За какие такие заслуги уготовили жителям это место на карте? Что это – каприз картографа, визирная цель геодезиста?.. Через несколько лет мне пришлось побывать в родных местах.

Греясь в закатных лучах, селение молчало. Словно вымерло всё или затаилось. В окружении бурьяна и других жизнерадостных злаков ненужно высились заброшенные дома. Среди иван-чая доживали свой век самовары, кастрюли, груды цветастого тряпья. Ветер ворочал незакрытыми дверями, и внутри домов стояла чёрная нежилая пустота. В углу комнаты скорбно и незряче глядел с иконы Георгий, чудом уцелевший, а над ним, как отрицание смерти, испуганно хлопал крыльями воробей, накрывая крыльями беспомощных деток.

Передо мной лежала деревня, которой повезло в географии, но не повезло в личной судьбе. Село обезлюдело, жители ушли в небытие тихо и неприметно. И хотя белый кружок всё ещё стоял на карте, обманывая доверчивых туристов, деревни больше не существовало, она сдалась на милость бурьяна и жучка-древоточца.

Здесь колхоз-миллионер был когда-то, назывался «Север». Много скота держали. Угодья – боже ж ты мой!.. А потом пошло всё наперекосяк. Одних в райцентр потянуло, не по своей нужде, других начальство заманивало, третьих тоска заела. Сосновка и Каневка, по счастью, избежали этой участи. Хотя и перед ними маячила похожая перспектива. Но устоял народ, не поддался на идеологические соблазны «во имя светлого будущего». Каких только благ не сулили сосновским селянам уполномоченные разных мастей и калибров: перевозите, мол, свои дома на «большую землю» – к центральной усадьбе совхоза, хватит, мол, жить раками-отшельниками! Усердствуя в номенклатурном рвении, районные сановники едва не погубили и эти де-

ревни. А у некоторых крестьян просто-напросто отбили охоту работать на земле и в лесу, кормить себя и страну. Бывал я в Сосновке и Каневке, деревни как деревни, и люди обыкновенные. Никаких изысков в деревянной архитектуре, никаких бросающихся в глаза природных красот. Но место открытое и удобное. Так и жили. Кто на рыбных озёрах и тонях промышлял да на охоту похаживал, кто оленей пас, кто лес валил, а кто в город подавался, гонимый переселенческим зудом.

А Поной и сам принимал людей в свое общежитие. Особенно из соседней малоземельской тундры, где кочевали оленные люди-самоеды. В начале века несколько ненецких семейств приехали на упряжках в деревню, да так и осели тут. Здесь ещё коми-ижемцы пришли с Печоры, гонимые страшной оленьей болезнью – копыткой. С тех пор многие поноянe стали охотно разводить оленей, а оседлые кочевники, в свою очередь, обзавелись овцами, коровами, курами. Ненецкая и коми культура оказали, несомненно, благотворное влияние на всех жителей. Если раньше ездили свататься в соседние сёла, то теперь предпочтение стали отдавать своим подросшим невестам. Пусть ещё неважно говорящим по-русски, но зато крепким здоровьем, терпеливым и работящим, нарожавшим впоследствии тьму ребятишек. Так что в жилах коренных понойчан – у кого больше, у кого меньше – течёт кровь заполярных аборигенов. Испокон веку исповедовали здесь одну-единственную заповедь: сколько поработал – столько и поел. И на этом принципе держались все нравственные и общественные устои. Только знай не лениись! Хочешь – корчуй пустошь, очищай их под сенокос. Или заводи оленьи стада и перегоняй их с пастбища на пастбище. Грибы, ягоды брать, дичь постреливать, дрова заготовлять – никто тебе и слова не скажет. Здесь в Поное, один и тот же крестьянин был одновременно и пахарем, и охотником, и рыбаком, и пастухом, и лесорубом, и плотником. И, конечно же, владел де-

сятками других необходимых для жизни профессий и навыков. Потому и жили здесь много богаче, чем в других селениях. Хотя и обитателям Поноя пришлось разбрестись кто куда в поисках лучшей доли и вопреки колхозно-совхозному диктату, понойчане сохранили свою суверенность, хозяйское достоинство. И жили себе поживали, копили детей, выращивали коров и оленей, сенокосничали, рыбачили, памятуя про себя немудрящую пословицу: «Назови хоть горшком, только в печь не сажай».

Так рассказывала мне бабушка Наталья. Весёлая, заводная, громкоголосая, с добрым и насмешливо-мудрым взглядом, и с неизменным вязаньем в руках. Речь у неё складная, картинная, образы её точны, как ружейный выстрел; ничто не скроется от её всевидящего глаза. А язычок – как наждачная бумага.

Количество жителей дошло до известного предела, и без коренного экономического преобразования думать о притоке новых людей бессмысленно. Ведь не секрет, что угасает рыбацкое сословие, уходит в небытие неутомимая порода добытчика и ходока, та самая корневая порода, на которой держался когда-то весь Поной. И как знать – не отразится ли её исчезновение на человеке вообще, не потеряется ли какая-то частица северного национального характера?

Раньше немало мужиков заготовляли рыбу на зиму. Без боярышни-сёмги ни одна понойская семья вообще не садилась за стол. А сколько наливной и витаминной ягоды – брусники, смородины, голубики, черники, морошки.

Есть такая точка зрения: раз колхозы-совхозы не способны обеспечить нас продуктами питания, уповать остаётся только на фермеров. Все рвутся к экономической свободе, все жаждут выскочить из пут командно-административной системы, на которую нынче принято вешать всех собак. Но как только людям предоставляют самостоятельность, они нередко пасуют перед ней, те-

ряются: привыкли, «робить» на дядю и от него же получать указания. Согласитесь, психология у большинства колхозников-поморов колхозно-совхозная. Сидит и долго ещё будет сидеть в людях гвоздь псевдоколлективизма, покорность судьбе, довольство малым, боязнь как бы чего не вышло. К тому же гораздо безопаснее ошибаться вместе со всеми, нежели быть правым в одиночку.

Надо быть реалистами. У нас нет волшебной палочки, одним взмахом которой можно превратить бывшего колхозника в преуспевающего хозяина-собственника. Потому и нельзя ставить сейчас такую дилемму: либо колхоз-совхоз – либо фермер. Нельзя эти разные формы хозяйствования противопоставлять друг другу. Пусть они развиваются параллельно, пусть в деловом соперничестве докажут, на что способны. Чтобы понять до конца понойскую душу, вычерпать её, так сказать, до самого дна, нужно пожить здесь, наверное, не один месяц, не один год. Хотя и сейчас для меня многое ясно. Условия обогащаться и обогащать страну здесь есть, и есть реальная возможность организовать своё дело, заработать капитал, обеспечить своим детям будущее.

Так думал я, когда в очередной раз улетал из Поноя, и Ан-2, набирая высоту, совершал круг над деревней. С высоты птичьего полёта она выглядела чистой и прибранной, аккуратно разлинованной на фоне реки, выделяясь свежим румянцем только что отесанного дерева. Вспомнились когда-то где-то прочитанные мною чьи-то слова о том, как его страна вступала на путь процветания. Дух этого всенародного движения выражала нехитрая формула: мой дом самый лучший на улице, моя улица самая лучшая в деревне, моя деревня самая лучшая в стране, моя страна самая лучшая в мире… Так могут говорить только состоятельные и свободные люди. Сможем ли мы повторить эти слова?

А что сейчас делается в стране, где зелёные мальчишки с тупыми, перекошенными лицами убива-

ют, жгут, грабят нищее население; где разбой гуляет по городам, весям и тундрам; где многие либо спились, либо проворовались?

Призрак ходит по России. Призрак вседозволенности, распущенности, бескультурья. И как нам выйти из мрака, в котором мы все пребываем? Нам необходимо сейчас лечение не столько медицинское, сколько нравственное, социальное.

Я наблюдаю три приметы времени: это низкий, вернее, немыслимо низкий уровень заработной платы, это безработица, это разливанное море спиртного. Последнее, пожалуй, стоит поставить на первое место. Три администрации района не в силах прекратить безобразие, когда работают магазины в ночную смену. Прямо в магазине молодёжь, даже подростки распивают спиртные напитки, несмотря на то, что утром им идти в школу. На совести хозяев этих магазинов не одна семейная трагедия.

Много лет назад я вместе с шурином Виктором Савватеевичем и бывшим нашим председателем Павлом Ивановичем спускал лодку в Поной для рыбалки от совхоза. Остановились мы в Каневке, и я был немало удивлен увиденным. На всём лежала печать запустения, безразличия ко всему и вся. Давно не мытые окна покрылись паутиной, цвели мозаичными пятнами. По улице бродили сонные собаки, жались к ногам, выпрашивая подачку. И такие же сонные, неодушевлённые лица были у их владельцев, сидевших на своих завалинках. Может быть, в прошлом неплохие работники, они словно договорились жить по завету практичного философа Шопенгауэра: если нельзя устранить неудачу, то нужно извлечь из неё пользу. И они извлекли её в ничегонеделание: сидели в тапочках на босу ногу, травили баланду, смолили «Беломор», кормили комаров и беззлобно переругивались – кому бежать в магазин за очередной бутылкой в ожидании топоров, которые должны им были прислать с центральной усадьбы

из села Краснощелья. Хотя в каждом хозяйстве нашлась бы не одна пара топоров. И это всё в такие сжатые сроки, чтобы не упустить спад весенней воды, чтобы успеть спустить заготовленные по зиме плоты. Застой, апатия, тупое, унылое увядание сквозили в их глазах.

Бревно на дороге лежит – плевать, кто-нибудь подымет; электричество отключили – плевать, свечками обойдёмся; хлеб не пекут – плевать, сухари порубаем. Когда-то они рубили, калечили лес, а в результате искалечили себе души. Мускулы разучились работать, мозг – мыслить, глаза – воспринимать радость жизни. Одним словом, отбывали её, как наказание. И нельзя сказать, что много пили или хулиганили. А вот произошёл какой-то медленный, неотвратимый распад сознания, и жизнь пошла наперекосяк…

Что тут говорить, к несчастью, народ наш, прошедший через горнило революции, коллективизации, репрессий, тотального идеологического облучения, запутавшийся в тенетах нынешней экономической реформы, словно сдвинулся с орбиты, оторвался от нравственных традиций, освященных веками, и повело его, горемычного, в самое низкопробное варварство. Сегодня всё можно. «Деревом с гнилым дуплом» назвал наше больное общество Александр Солженицын. Мы заслужили эту оценку. Народ пошатнулся духом. Мораль его начала разрушаться. Состояние нашей нравственности – ниже уровня моря. «Имей совесть», «веди себя по совести» – это ведь так понятно для нормального человека. Именно для нормального, а не для «гомо советикус». При этом почему-то, чтобы исправить положение, все уповают на экономику. В ней, мол, корень всех бед и одновременно источник будущих побед. И потому: да здравствует рыночная экономика!

Идею рынка наше население приняло в основном положительно. Но сейчас рынок оседлали акулы подпольного финансового мира, которых даже стыдно назвать предпринимателями. А продавцы воздуха из

денег делают деньги. Многие из них влиятельной силой вошли в структуру власти, в ряде случаев сомкнулись с бывшей партноменклатурой, и не им говорить о долге, нравственности, совести. Между тем, если совесть в нас не проснётся, ничего не изменится, и никакая экономика, даже прогрессивно-рыночная, нас не спасёт. Совесть – самый большой дефицит нашего времени. И найдём ли мы время, чтобы остаться людьми?

Лахта

Направо холодное море,
Налево песочечный быт.
Меж ними, намокши от горя,
Темнея, дорожка бежит.
Андрей Вознесенский

Солнце закатилось, но ещё не пропал в мире его зимний вечерний свет. Затихла хлябающая в окне стеклина, как в доме сначала посветлело, а потом стали настаиваться спокойные сумерки. Ветер пронесло, и только отбившиеся от него, закружившие где-то порывы изредка бестолково налетали и опадали то у одной, то у другой стены.

Ночь шла своим чередом. Поной спал, и молодой месяц, совсем не космический, не нужный никому во всей Вселенной, кроме как здесь, на земле, запутался острыми рожками и доверчиво задремал на горах. Ветер плутал, кружился в заиндевевших верхушках деревьев, никак не мог выпутаться. Я смотрел на мерцающие звёзды и случайную птицу, пересекшую небо. В памяти затеплились неясные, стёртые временем картины ранней сельской весны. Всё это навеяло грустные мысли, и так захотелось окунуться в весну, увидеть угор, пригретый солнцем, голубое чистое небо, почувствовать острый, горьковатый аромат просыпающихся ив, всё то далёкое и близкое, что держится в сердце,

как добрый ласковый свет, но… за стеной была зима. И мы собирались на коньках на следующий день в Лахту.

С вечера уже были приготовлены куски фанеры, которые привязывали к спине, чтобы с поносным[1] ветром мчаться с большой скоростью к фактории[2]. И здесь тоже нужно было умение и сноровка, чтобы, маневрируя между торосами[3], лихо управляя фанерой, как крылом, на сумасшедшей скорости не врезаться в ропаки[4].

К обеду замело, запуржило со снегом, пока погода совсем не сдурела, надо было сходить на прорубь[5] на реку.

На Поное задувало во всю мочь, мокрый липкий снег несло по воздуху мутным прогонистым течением и несло тоже вниз-верховиком. Метёт по Поною позёмка невестиной фатой, вьётся по разрисованной тракторными траками дороге, вильнёт из стороны в сторону и скроется между торосами, чтобы опять появиться на склоне ближнего сугроба. А ледяные глыбы, отполированные самыми искусными мастерами в мире – ветрами и солнцем, отражают дымчатую позёмку, нас, бегущих по тракторной дороге, прибрежные ивы, дальние голубые сопки, синее небо с перистыми облаками.

Полуночное солнце, искупавшись в ледяных водах Белого моря, медленно поднималось в небо, стря-

---

[1] Поносный – попутный ветер. Поветерь – ветер поносной. Поной

[2] Фактория – рыбоприёмный пункт для обработки рыбы.

[3] Торосы – нагромождение льда, образовавшееся от сжатия льдов.

[4] Ропаки – груда льда на берегу реки или на морских мелях. На коргах и наворотит ропак. Поной

[5] Прорубь – отверстие, прорубленное во льду водоёма. Зимой пролубу распешают. Поной

хивая с кончиков своих лучей пронизанные блеском капли. Ветер нагнал-таки какой-то хмари: тучи не тучи, а нечто зыбкое, замутнившее солнце, с завыванием неслось над полем, сея редкую сухую крупку. Сухая крупа летела над землёй белыми пулями, жестко секла по одежде и лицу. А выше синело холодное декабрьское небо. Пурга то ненадолго стихала, то занималась с новой силой. Намело высокие сугробы, скрыв почти по крыши все дома. И словно чернь на тусклом серебре снегов и неба темнели вдали осыпи холмов, хрупкие опоры электролинии и нити проводов между ними, а совсем рядом, внизу, обдутые ветром, чернели днища дор[6] на песчаной косе, а возле ног-обожжённые морозом будылья высоких трав.

Покоем был этот строгий мир: ни железного гула, ни человечьего голоса, ни пения ветра. Покоен и величав. Возле берега, утопая в воде и белом песке, доживала старая дора. Она уже развалилась. Остро вздымался голый форштевень, ощерившись акульими зубами шпигрей, ржавых, когда-то державших обшивку. Ледяные поля изломаны свирепым норд-остом, приливными и отливными течениями на пути-то большие льдины со стамухами-торосами, то разводья с тяжёлой, как свинец, чёрной водой. Сплошного ледяного покрова нет. В прилив льдины стискивает, в отлив они разряжаются. Высота наката здесь достигает шести-семи метров. Бьются друг о друга льдины, крошатся, ломаются. Причудливыми нагромождениями выпучиваются торосы.

Домчавшись за какие-то полчаса до Лахты, на дрожащих от напряжения ногах, мы вошли в дом и окунулись в мягкую душистую волну. Пахло сухими горьковатыми стеблями иван-чая, настойкой «золотого корня» источавшего терпкость лепестков роз. На бело-

---

[6] Дора – большая морская лодка с двигателем на корме.

снежной печке вызванивал крышкой зелёный чайник. В зимнее время с фактории все уезжали обратно в Умбу, ибо на летний период рабочие приезжали с этого посёлка, на сезон, пока ловили сёмгу. На зиму же оставался один сторож. В углу стоял крюк, которым на фактории подтягивали чаны, в которых солили сёмгу. Сразу же повеяло летом.

Вспомнил, как сюда доставляли рыбу со всех тонь, здесь её разделывали, солили, укладывая в чаны и пересыпая льдом, который был заготовлен ещё с марта месяца. День и ночь над факторией в воздухе стояли стон и гомон чаек, они стаями носились над головами ошалевших людей, кружились над синьем[7] и не обращали никакого внимания на людей, кружась в беспорядочном танце над икрой, которую в то время никто не брал, да и брать было некогда. И лежали прутки икры, печени на песке и в воде. Даже собаки не смотрели на это, молча лежали на песке, не обращая внимания на чаек, сытно отрыгивая.

Мальчишки бегали по куйпоге[8], по колено в няше[9], почти не замечая её вязкой, засасывающей зыби, и руками ловили камбал, оставшихся после отлива в мелких лужах, напоминавших блюдца. Некоторые ставили продольники[10], насаживая на них здоровенных песчаных червей, которых находили по кучкам песка, который они выбросили.

---

[7] Синьё – внутренности выпотрошенной рыбы.

[8] Куйпога – полный отлив на море. На куйпоге няша. Поной

[9] Няша – ил, вязкий, глинистый грунт. Няша есть в лахты. Поной

[10] Продольники – рыболовная снасть, состоящая из длинной верёвки, к которой на коротких лесках привязаны крючки. Я ходила продольник спускала. Поной

Отогревшись и попив с фуркотком[11] чаю, стали ждать, когда хоть немного успокоится пурга, хотя на улице ещё мело, но не сильно. Уже ближе к вечеру мы вышли на улицу, снежные языки вставали на уровне плеч человека…

Ледостав

Вот январь озёра и камни
Заковал, как в железо, в лёд,
Но поёт и в стужу река мне,
Неустанно стремясь вперёд.

А. Решетов

Ещё не кончился сентябрь, но темнело по-осеннему быстро. С севера, сгущаясь, ползли хмурые, отяжелевшие тучи. Тонким фиолетовым дымом ложились ранние сумерки. В нагих берёзах посвистывает холодный ветер. На небе зажглись серебряными светильниками звёзды, и справа над Глубоким зелёным лезвием прорезался месяц. Скинувшие лист берёзы, как всегда в такую пору поздней осени, неприветливо чернели угорами.

И с каждым днём на час раньше я запускал электростанцию, чтобы дать на село свет. Мягкие сумерки – верный признак того, что сегодняшний по звонкой и чистой мощи своей день не повторится ни завтра, ни послезавтра, долго-долго. Догорел свет, небо потухло, не давая глубины, и затмилось; сглупа выскочили над Поноем слабые, мутные звёздочки и тут же, как отдёрнутые, скрылись. Резко и отчётливо выделяясь, темнел березняк за рекой, не вставшей ещё сплошной стеною,

---

[11] Фуркоток – звук, получающийся от выпускаемого с шумом воздуха. Фуркоток только стоит – така тяга хороша (в печной трубе). Поной

высказывающий разнорост и глубину, в нём длинными и тоскливыми вздохами пошумливал верховой ветер. Резко очёркивались густой синью и дальние берега на той стороне Поноя; вода в море, притушенная скучным небом, едва мерцала дрожащим и искривленным, как бы проникающим из-под дна свечением. Всё вокруг затаенно жило своей отдельной, не сходящейся в одно целое жизнью: также поигрывал в верхушках деревьев вялый, прерывистый ветер, слабо шевелилась с облизывающимся причмокиванием вода, пестрела, отдавая холодом, россыпь камней на берегу. Окна домов были мертвенно-серые, как чахоточные.

Вышел во двор и сразу окунулся в плотный стоялый туман. Он был холодный до ощутимой тяжести, сырой, это остывала, готовилась к долгой зиме Поной-река. Прошагал на улицу. В глушь, в тишину. Дома, едва видимые, горбились темными крышами, напоминали и древнее кочевье, и стога сена. Пошёл к угору из деревни, и ни одна собака не проснулась, не проводила меня лаем.

Месяц поднялся, побледнел, на него наплыло большое серебристое облако, похожее на рыбу, и месяц сиял рыбьим глазом.

Прилив достиг самого большого напряжения, река замерла, приморозились запахи моря. Всё это – вода, лёд, запахи – оживёт, когда прилив, враз ослабнув, хлынет назад, к морю. Горы тоже были в тумане, туман сыпался колючим инеем. В горах на озёрах совсем рядом кагакали гуси, собираясь в стаи, на крыло, их согласный хор словно усыплял нас, баюкая.

На Поное были забереги. И вода загустела, лохматые тучи неслись над самой головой, едва не сбивая шапку, но пространство меж ними льдисто светилось; скоро должен прийти большой снег. Река со дня на день могла встать. На реке у берегов торосы, заструги, ледяные холмы; местами проплешины гладкого льда – он сияет огромными зеркалами – местами надуты рых-

лые сугробы, суметы, забои похожие издали на белые дюны.

Вдаль нельзя было глянуть: всё утопало в тумане, мареве, белом свечении. Самые далёкие сопки синели смутно, будто сквозь морскую воду. На середине она румянилась, как красавица на морозе, и дышала белым тающим парком, а по краям неслась искристая шуга, которая днём была подкрашенная солнцем, шуга цеплялась у заберегов за острые зубцы ломких ледышек, она мелодично позванивала. Стало темно, из-за левого берега взошла половинка луны, смутная, затушеванная; по воде через всю реку протянулась белая мерцающая дорожка. Лунный свет ложился на первый снег и льды, холодный, сверкающий. Сесть бы в лодку, выехать на белый живой свет, долго плыть, молчать; дышать близкой сыростью морской воды, чувствовать темную глубину неба над головой. И быть одному в беспредельности и пустоте…

Близилась полночь. Половинка луны пряталась в седловину черных сопок, и мрачные тени всё плотнее окутывали землю.

Утренняя река была по-осеннему пустынна: ни лодки, ни птицы. На сирых берегах лишь, пожухлая черная трава да обдутый ветром ивняк. Темная вода, бегущая из далеких, холодных уже краев, дышала стылостью. Но вот показалась лодка, она шла быстро, и путь её не особо далёк от фактории Лахта до деревни Поной.

Мы с заведующим магазином спешили перевезти до ледостава оставшийся груз. Дубенело лицо, и вязкий холод железной лодки и зябкой воды стягивал тело. Уже виден был Корежный ручей, а за ним открывался высокий берег с домами, с жильём. Лодка впаялась в мутную, оловянно прогибающуюся заберегу, отдавленную серой кашей мокроты. Дым из труб дружно подбирал небо белыми столбами. Становилось прохладно, и сгущался, синел воздух, будто оттого, что

остывал. Солнце, не дойдя к сопкам, попало в сизое перистое облако, растеклось, расплавилось по нему, и теперь там лишь слегка, нежно розовело небо.

Вот солнце перевалило середину неба, начало скатываться к вершинам сопок, но висело за морозным туманом, и от этого туман был красный, точно стыдился самого себя: весь мир ждёт солнца, а он скрывает его.

Выгрузив груз на берег, я пошёл запускать трактор, чтобы вывезти его в магазин. Подморозило, затвердело, черствый снег скрипел так, что зубам становилось больно. В домах красно, морозно горели окна. Трубы деревни бойко выталкивали, стреляли в небо белыми, сочными дымами; казалось, они поднимутся вверх, станут кучевыми облаками и поплывут в теплые страны. И ещё один день прошёл. Ненастный пасмурный вечер торопил ночь, затягивая небо клочкастыми сизыми тучками. В далёкой полуночной стороне поднялась на крыло белоперая птица-зима с холодными зоркими глазами. И первые взмахи совиных крыл её стылым северным ветром понеслись по земле. Торопясь и заполошно крича, день и ночь уходили на юг припоздавшие перелётные стаи, они летели над осенней землёй всё новыми и новыми путями, обходя холодные костры деревень и городов. Но над деревней, как и прежде, лежала в небе их торная тропа. Ничто не тревожило здесь как всегда от веку, осенней ночью деревня спала, малым котёнком свернувшись в уютном затишке. И никого не булгачил птичий крик.

В осеннем холоде горы синие, застекленные. К ним уже прилетела, на них гнездилась зима. На улице совсем стало сумрачно и сыро. С моря снова нанесло туман, он заморосил, навалился на деревню, реку. Всё утонуло, как в безмолвной пурге. Дома еле проглядывали сквозь движущиеся космы тумана и, казалось, сами космы неслись куда-то по горбам сопок, хотели вырваться к свету, простору.

Ледоход

Не злись, волна,
Недолго льдине плыть,
Поможет солнце слиться ей с тобой.
А. Решетов

Весна взломала на Поное лёд, начался ледолом. На реке ворочались, сверкая синими боками, тяжёлые, разбухшие от солнца и воды ледяные пластины, толкались, терлись друг о друга, как бараны на узкой дороге, и медленно ползли вниз. Скрежеща и дробясь, льдины влезали одна на другую, дыбились, как белые медведи и, словно обнявшись, медленно уходили под воду.

Обычно река вскрывалась после майских праздников, а в эту весну вскрылась очень рано – это было 30 апреля 1968 года. В ту ночь под Пасху небо затянуло черногрудыми тучами, накрапывал дождь. Отсыревшая темнота давила село. И за прошедшую ночь лёд поломало, пронесло, и река, пополняемая коричневыми потоками талой воды, пухла, пенилась, подступая к угорам.

Издавна ледоход был для жителей села радостным событием. Ещё до начала ледохода собиралась толпа людей, любуясь неоглядными просторами и ожидая, когда тронется лёд. Говорят, ещё никому не посчастливилось увидеть начала ледохода. Реки чаще всего вскрываются ночью. В тишине раздаются гулкие, точно пушечные удары, ломается ледяной покров, льдины тяжело ворочаются в воде, нагромождая торосы, вся река приходит в движение, ревёт и грохочет. Весну этого года я хорошо помню: плеск волн у Первого взвоза, удары льдин и дрожь дома, словно испуганного зверя. Такое буйство стихии не раз наблюдали жители Поноя.

Как возникает это явление? Когда вскрывается река, вместе с вешними водами в устье с верховьев приходит огромное количество льда. Ледяные заторы мешают речным водам пройти к морю, а приливную

волну полностью гасят. Ей приходится идти в обход, затапливая по пути всё. Во время половодья прилив может на несколько дней вообще исчезнуть. Могучая паводковая волна вступает в схватку с приливной и выходит победительницей.

Поскольку температура речной воды на несколько градусов теплее морской, лёд постепенно тает. Масса его уплотняется и потихоньку передвигается к морю. Река пытается сбросить ледяные оковы. Происходит это рывками. Постепенно напор речных вод выталкивает лёд в море. Не каждому удается застать редкое явление, когда на глазах вырастают гряды торосов, их громоздят два столкнувшихся ледяных поля. Заторы – явление настолько впечатляющее, настолько и опасное. Не раз они грозили затопить село.

Помню, как в этих же шестидесятых годах затопило экспедицию Ершова, стоявшую под самым Первым взвозом. Дощатые дома носило по низовой луговине, как бумажные кораблики. После того, как спал паводок, в затопленных буровых ямах мы ловили рыбу, которая осталась в них, прямо руками.

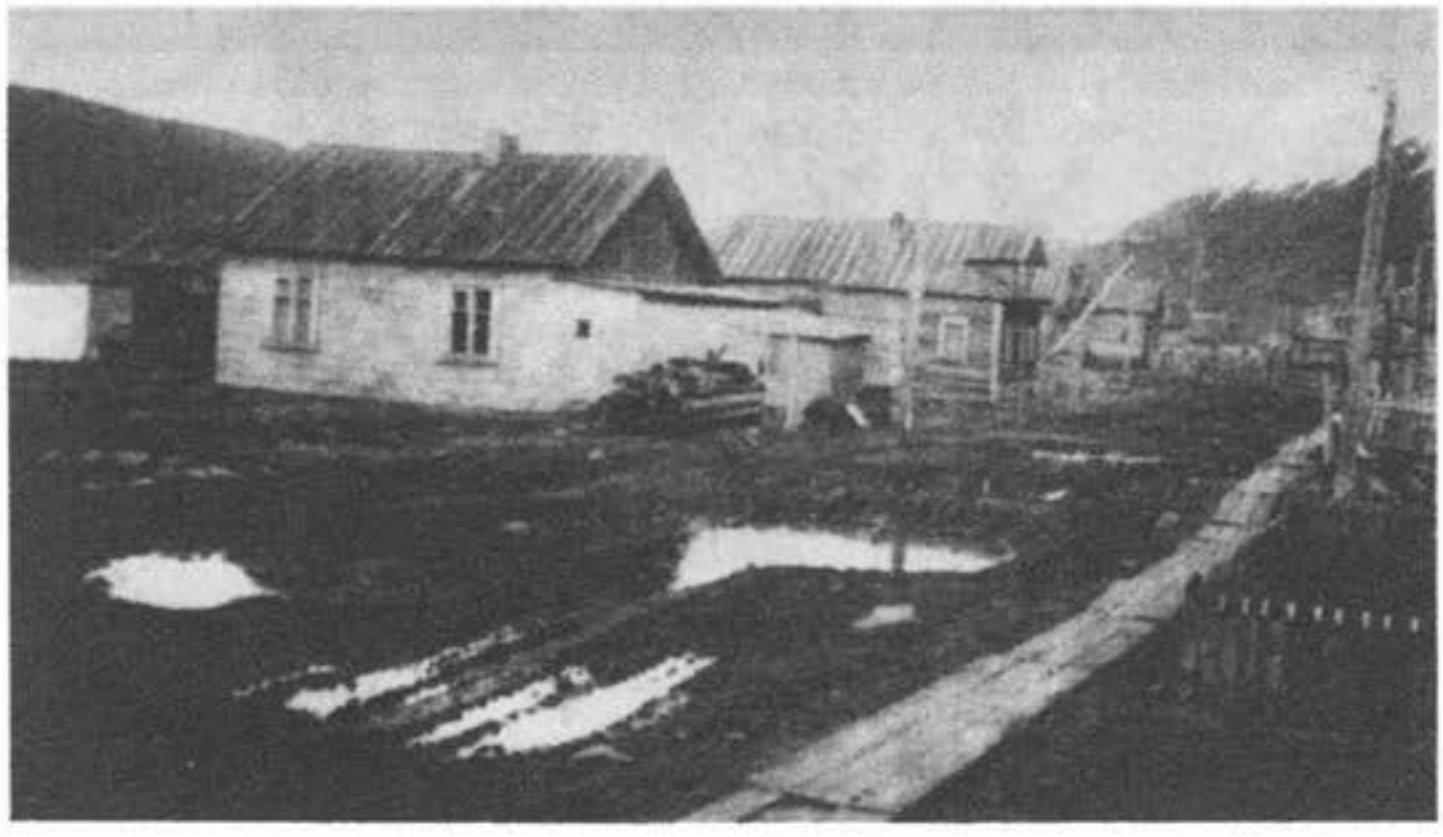
Утром по голубой воде плывут хрустальные, зеленоватые на взломах льдины, образуя на поворотах заторы. Льдины наползают одна на другую, становятся торчком, издавая стеклянный звон. Прозрачные куски отламываются, с плеском ныряют в воду и снова всплывают. Медленно кружась, они скользят вниз по течению, обгоняют одна другую, сталкиваются с берегом и снова отходят. Красивое, волнующее зрелище. Плывут льдины большие и маленькие пополам с ледяным крошевом. Обыкновенно лёд идёт по реке два или три дня и полая вода поднимается так высоко, что затопляет аж первый взвоз.

Ледоход – это настоящий праздник, наблюдаемый всем селом. И стар и млад – все выходят на угор, праздник буйства природы провожают выстрелами из ружей. В этот день светило по- весеннему горячее солнце, в синем, уже очень голубом небе весело сияли горы.

Через два дня лёд исчез. Он просто исчез ночью незаметно, без шумного ледохода, треска и грохота. С верховьев по мутной вздувшейся реке плыли, крутясь, отдельные запоздавшие льдины. В это время несколько раз, испугавшись выстрелов, в стороне прошли гуси. Они летели навстречу полой воде, но метров за триста вдруг делали разворот и проходили в стороне, как уверенные тяжелые фрегаты.

1968 год

Поной. 16.09.1887 год



Весна, Поной. 1969 год

Поной. 70-е годы

Выезд к пароходу. Матрехин В. Л., Устинов Н. Т., Тарасенко Н. В., Совкин И. Ф.

Сенокос в с. Поной. Харлин И. Г., Русинов И. Е.

Устинов Н. Т. 1968 год

Морская тоня. Куроптев С. Я., Устинов Т. Г.

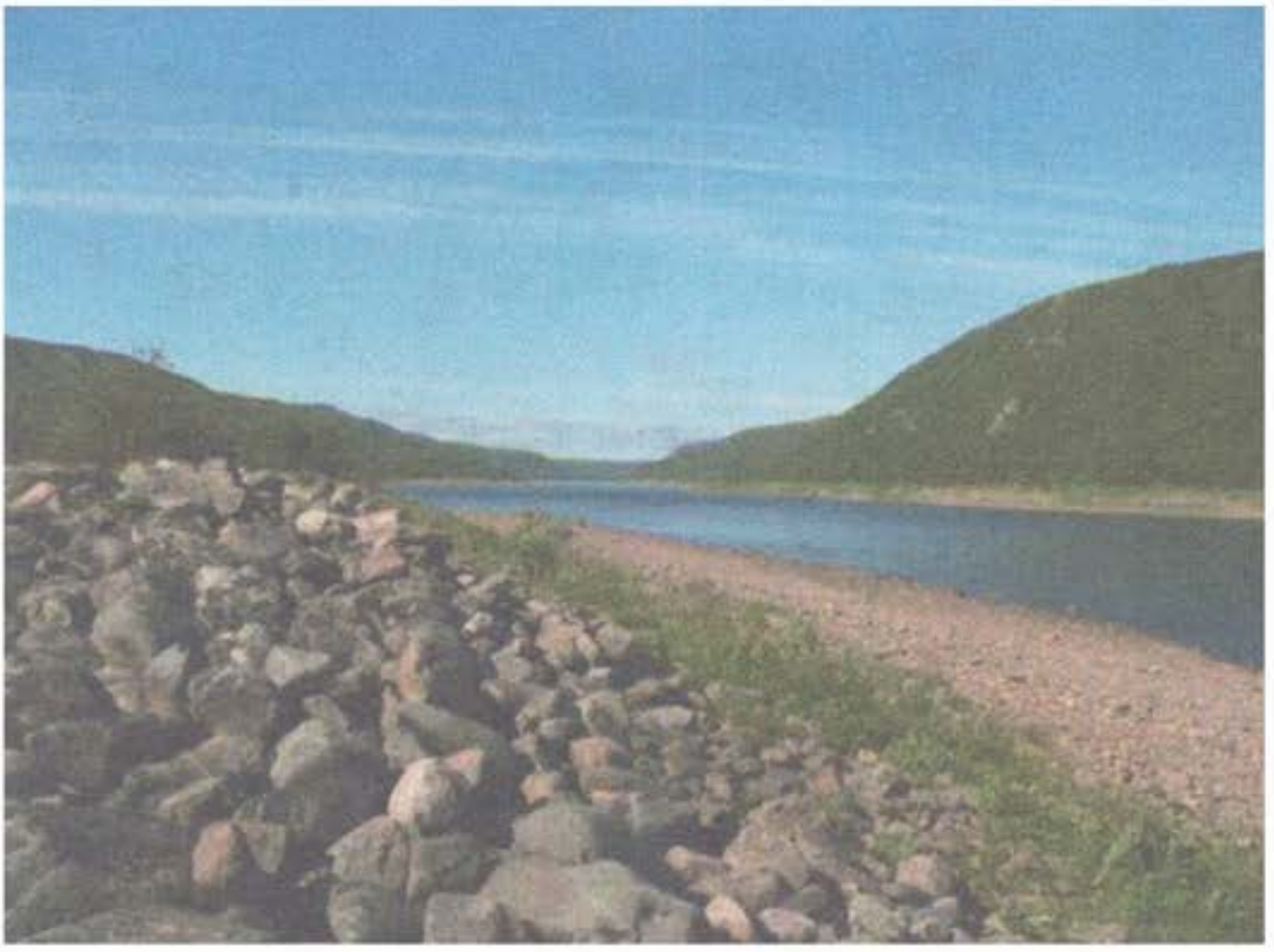
Музей в с. Поной

Фактория Лахта

На погосте

Поклонный крест. 6-й причал

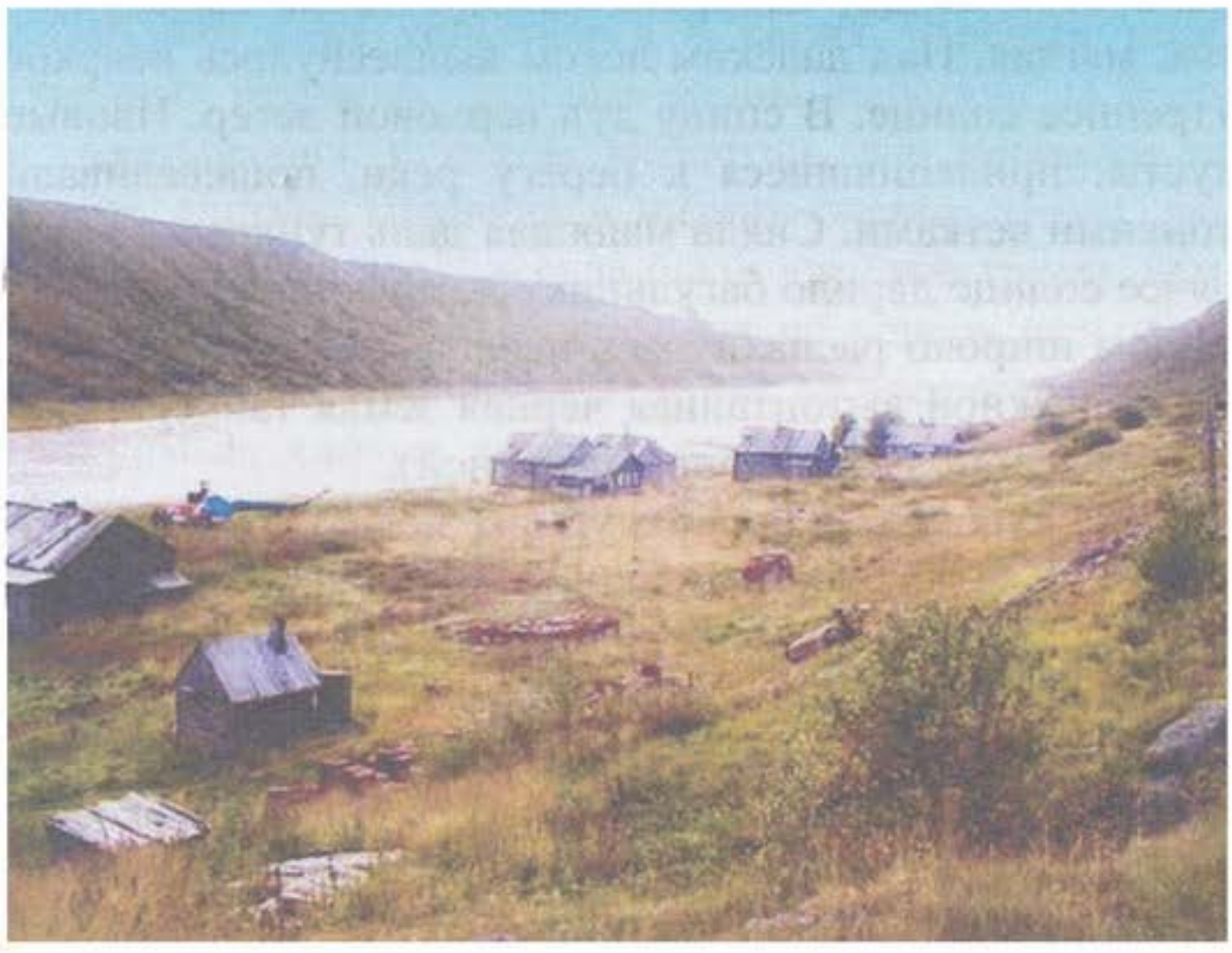
Горло Белого моря



Река Поной

Т. Устинов около родного дома. 2005 год

Колодец в с.Поной



с.Поной, 2005 год

Лето

Летний вечер тих и ясен;
Посмотри, как дремлют ивы;
Запад неба бледно-красен,
И реки блестят извивы.

А. А. Фет

Летом ночи светлые, солнце в полночь стоит напротив моего окна, низко над логом. В такое время на него можно подолгу смотреть в упор и различать в нём многие оттенки красного цвета. В этот момент солнце похоже на уголь в догорающем костре, только перевёрнутый. Потому что уголёк в костре снизу ещё раскалён, а сверху уже темнеет, подергивается пеплом. А солнце наоборот: сверху ещё ясное, почти оранжевое, а книзу всё темнее и темнее. Постоит у горизонта неподвижно какой-то час, вроде отдыхая, снова и снова наискосок пойдёт набирать высоту. Земля была упругая, мягкая. Над далёким логом выплеснулось неяркое утреннее солнце. В спину дул верховой ветер. Ивовые кусты, прилепившиеся к берегу реки, пошевеливали тонкими ветками. Сияла манящая даль тундры: там горячее солнце дарило багульнику летнюю позолоту. Над миром широко распахнулась небесная синь, стала теплой и нежной вытоптанная чёрная земля тандеры (место, где собирают и отбивают оленей).

Раскроешь окно, и с улицы повеет ночной прохладой и на деревню медленно спадает весёлый гомон: нет-нет, да и вырвется откуда-то лёгкой птицей задорная песня, ахнет голосистая гармонь, дробно застучат каблуки. Гуляет молодёжь! А в небе кружатся хороводы звёзд, подражая понойским девчатам, и сверкает в голубой дымке серебряный развилок Млечного пути.

Этим летом произошло, вероятно, самое важное событие в жизни понойчан: было получено решение о закрытии в селе десятилетней школы. Оживлённо обсуждали эту новость, некоторым не верилось, что

обыкновенная десятилетняя школа с интернатом вдруг станет с первого сентября начальной. Было тихо, ветер не шевельнул листа на деревьях, трава, ещё не взятая горбушей, поседела; редкие, будто свинцовые дождины, лениво летели с обложного неба, и лёгкий парок вставал над загустевшей рекой.

Вечер был влажен и тих, легко серебрилась река, словно бы полная с краями рыбьей мелочью. Порой налетал тёплый ветер, и тогда пахло цветами с ближних пожен. На улице было тихо и тускло, белая ночь ещё не умерла, и утро не народилось, небо пустынно серело, полное покоя и бесконечной глубины. Деревня спала, она стояла на взгорках россыпью синих валунов, от шероховатых стен доносило ещё не угасшим теплом, земля отдыхала. Солнце, будто привязанное, не скатывалось с высокого холодного неба, и там, где купалось его слепящее отражение, из бирюзовой толщи воды вставал столб белого пламени. Море казалось густым, оно едва колыхалось в своих маревых таинственных пределах, ленивые волны, набегали на берег и откатывались с тихим шелестом, так похожим на трепет листвы. Нырнули в низину росные травы, выстлали высоко, здесь всегда были ядрёные травы. Земля жила ожиданием солнца. Она не успела остыть за ночь, и сейчас от неё парило, как от весенней пашни. Невесомые клочья тумана, словно дым, задумчиво уплывали вниз по реке, обнажая розовые пятна воды. Какая-то прозрачность была во всём, великий покой царил в природе, и даже самая нахальная птаха не решилась вторгнуться во влажную тишину утра.

А с востока, где нарождалось солнце, исходил едва уловимый и чуть грустноватый ветерок, от которого хмелеет душа.

Я сидел на камне под порогом и рыбачил, безучастно рассматривая снегурную бабочку, перелетавшую с желтого одуванчика на красный клевер, с розовых лепестков шиповника на белую ромашку. Дневной

изнуряющий зной медленно спадал, качая в ослепляющей лазури лёгкую, как дым, мошкару. Подходил уже вечер. Раскаленный закатом солнца, остывал рубиновый край неба. Со стороны Мельничного ручья в пыльной туче двигалось сытое стадо коров.

Лисичкин хлеб

Хлеб на столе, так и стол – престол,
а хлеба ни куска, так и стол – доска.
Поморская пословица

День уходил нехотя, тяжко и трудно меркло небо, не желая поддаваться наплывающей темноте, потом яростно и долго горел закат, отсвечивая на верхушках гор. Закат наконец погас, над горизонтом горела лишь бледновато-желтая полоска, но в эту узкую щелку свету проливалось всего ничего, и он не доставал уже до земли. Вечер был тих и ясен. Он укатал прохладой землю, утомленную дневным зноем. Деревья оживали игрой теней, шорохов, серебряным блеском рос. Воздух чутко дрожал, насыщенный до головокружения запахом трав. Благостным холодком пахнул слабый ветер, его почуяли все. Новая мягкая волна принесла не прохладу, но горячий хмельной дух подсыхающих трав. Сиреневые головки клевера, мышиный горошек, иван-чай – бессчётное море трав, скошенные, томились под яростным солнцем уходящего дня, отдавая по капле горький сок и источая последнюю цветковую сладость. Пахучий, напоенный мёдом и горечью воздух тяжелел и густел, и было видно, как он колеблется полуденным маревом над валами травы, над белесой стрижкой кошенины. Это солнце в немыслимой вышине да блеклая полуденная синь, ясная зелень и яростный хмелящий дух многоцветья остались в душе. И назавтра была косьба, и потом, но обвыкший нюх уже ничего не чуял в половодье сенокоса, затопившего деревню, и округу, и всю землю.

Тут же захлестал ветер, потом утих, в стекла начали стучать одинокие и тоскливые капли дождя. Потом дождь припустил, за окнами, словно кто-то принялся мотать лейкой, обливая черные стекла. Дождь лил, шуршал, ровный, плотный. Холодной мглой, туманом наполнил пространство от облаков до земли, барабанил по стёклам, не переставая плакать, медленно, неутомимо истязал людей за какие-то их грехи. Обычно в это время июнь-июль начинались обильные дожди. Выпадали они каждый день к вечеру, шумные и тёплые. С вечера напоенные влагой, утром согретые солнцем, поднимались на полях зеленые овсы. На косогорах буйно тянулись вверх молодые поросли пырея, дикого клевера.

Лето стояло вёдренное, жаркое, но не засушливое. Изредка проносились грозы и ливни. По ночам выпадали обильные росы. Покос выдался сухой, сено убрали, зеленое, пахучее. На пожнях стояла предутренняя прохлада, не шевелилась покрытая росой трава. Было тихо, листья деревьев висели не шелохнувшись. Птицы ещё дремали, прикорнув в густых травах. Покосы были далеко, ходили пешком и за Лог и Широпялку, косили в горах, потом всё складывали в рыболовную дель и катили так называемую ташку под гору. Да и травы в каждом месте были разные: то машешь-машешь косой по голым буграм, машешь-машешь, ребро за ребро заходит! Хвать – корове зимой бросить нечего. А то пойдёшь, бывалоча, на зорьке, гонишь ряд, аж в ряду-то хоть копну клади. На косе каждый раз вязанку пудовую несёшь.

Мы всегда с нетерпением ждали с сенокоса маму. Каждый раз, приходя с пожен, мама приносили нам хлеб, который якобы послала лисичка. Обыкновенный кусок хлеба был таким вкусным: пах сладковатым дымком костра, впитал в себя запахи разнотравья, и такой дух исходил от него, что невольно глотаешь слюну.

Сено понойчане заготовляли на пожнях и заливных лугах. Работа начиналась с рассветом. И родители

рано уходили на покос. В селе в пору сенокоса если и есть где жизнь днём, так это на почте. Почту в отличие от колхозной конторы и сельсовета ради работы не закрывают, а потому все отпускники первым делом тащатся на почту. Близ полудня, когда солнце уходило в зенит и от тишины и зноя становилось трудно дышать, луга пустели. Запрятав косы под ряды скошенной травы, люди уходили в палатки. Парни, девки и ребятишки прямо в одежде бросались в реку и до тех пор, пока на костре поспевал обед, над пожнями разносились визг, смех, крики, всплески воды.

Когда кипящее желтым огнём солнце чувствительно сбавляло свой пыл и с реки прорывалось на безбрежную равнину лугов дуновение свежести, работать становилось легче, дышалось свободно. Работали дотемна. Перед сумерками выпадала роса. На листьях пырея, вязели, клевера, осоки появлялись россыпи блесток. Трава от влаги делалась мягче, и косари проходили по два-три ряда, не точа кос. Мы уже в то время были подростками и часто помогали взрослым на сенокосе, в этот раз я тоже помогал взрослым.

Заморосил дождичек. Мелкий, убористый, будто просеиваемый сквозь частое сито. Вечерело. Натужно покраснев, катилось за гору солнышко. С краёв палатки струилась пряжа. Жалили, как крапивой, комары. Поной, пригретый, истекал в струистом фиолетовом мареве. Стали собираться домой, и я случайно заметил, как мама уложила оставшийся хлеб в сумку. Придя домой, она достала его, сказав младшим братьям: вот вам лисичка подарок послала. Только теперь я понял, что это за лисичкин хлеб, и как мама, сама недоедая, приносила его нам. И сейчас, имея уже внуков, часто принесёшь что-нибудь с рыбалки или ещё откуда, говоря им, что лисичка послала, и они с большим удовольствием съедают всё до крошки.

1972 год

Малая Родина

(письмо в газету «Ловозерская правда», июль 2007 год)

Странные всё-таки вещи происходят с нашим сознанием. Мы перестали верить в истины, простые и ясные, как божий день. 32 года назад, в 1975 году, было ликвидировано село Поной, основанное в 1562 году, второе после древней Колы. Причины всем известны о них говорено-переговорено. Укрупняли совхозы, и зуд укрупнения коснулся моего родного села.

Может, сёла, прожив свое, умирают, как люди, и нет в этом никакой трагедии? Не знаю. Но почему тогда так щемит сердце, когда смотришь на заброшенные сельские дома, на дворы, где под окнами когда-то добротных рубленных домов, разрослись кусты смородины?

Умерло село Поной, крошечная точка на карте России, песчинка, затерявшаяся в заполярных болотах. А для меня эта земля – родина.

Тема неперспективных деревень давно в моде. И всё же есть нужда ещё раз поговорить о заполярных сёлах. Не о сегодняшних совхозах и подсобных хозяйствах Кольского полуострова, а об исконном крестьянском селении, сохранившем многовековый уклад жизни «у земли» (в данном случае вернее будет сказать «у воды»).

Селения эти пока остались, хотя и там деревня мужика поперёк переехала. Слишком много бессмыслицы принесли не столь давние наши перегибы в аграрной политике, породив неверие в людских сердцах. Есть нужда из новых материалов шить каркас поморского быта. Терпеливо, дощечка к дощечке, человека к человеку.

Написать всё это меня подхлестнула очевидность и ясность всего того, что мы видим сегодня. Идут разговоры о переселении сел Каневка и Сосновка. Чем и кому помешали эти сёла? Может быть, чиновникам, желающим ещё туже набить карманы долларами?

Как-то три года назад, по Мурманскому областному радио сказали, что доход, поступающий от туризма, давно должен был озолотить наш район. Можно было бы и мазут купить для котельной, только денег-то нет, а где тогда эти деньги?

И летают золотоносные вертолёты день и ночь, приумножая богатства чиновников-миллионеров. Есть рыба-сёмга и в Америке, и в Канаде, но они свою рыбу жалеют. Когда разворачивали базу на реке Рябога, народ был против. И те же начальники обещали, чуть ли не золотые горы, а на самом деле выслали пять женских платьев и утюгов, и это почти на 200 дворов! Ну а уж в обещании помочь людям вылететь в районный центр люди уже не верят, ибо летают теперь вертолёты высоко над Каневкой. А в бывшем моем селе Поной теперь дача бывшего премьер-министра Правительства РФ Сергея Кириенко.

Не стоит забывать и о варварском способе ловли «поймал-отпустил». Это же умышленное уничтожение рыбы. И неужели это не известно ПИНРО?

После такого способа ловли рыба погибает. Прежде чем её вытащить на берег, сколько десятков метров её протащат по камням, тем самым обивая чешую и раня её. В своё время этот метод был широко применён на ставных неводах на реке Поной. Каждую рыбину перебрасывали через сеть обратно в воду, тем самым обивая об воду чешую, не думаю, что уже при прикосновении к руке человека она получает тепловой ожог. А мы, мальчишки, идя по берегу, ловили её руками, ибо она вся было всплывшая. Вверх брюхом!

А этот приказ за номером 245 от 28 апреля 2007 года «Об утверждении правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного водоёма», напечатанный в газете «Ловозерская правда» за 22 июня 2007 года!

Где нельзя и с удочкой отдохнуть, а толстосумам можно везде летать за доллары. И Кольская ассоциация саамов тоже бездействует, ибо заткнули им рот компь-

ютерами, которые они купили на те деньги, что им отпускают сверху. Надо бороться с этой коррупцией. Ибо доллар делает всё.

Я ведь что ищу в ответах наших чиновников. Личный их интерес, проще говоря, выгоду. Не для себя, нет, нужен был им этот факт. Для тебя, читатель, чтобы, значит, преподнести тебе его под этаким рыночным гарниром: вот, мол, как здорово живётся тем, кто борется за трудное дело возрождения умирающей глубинки. Нас всё-таки основательно обработали в том смысле, что всё в этом мире можно и должно мерить рублём, а ещё лучше – долларом. Даже патриотизм имеет цену, и им можно выгодно торговать. А уж такая преходящая вещь, как убеждение, давно стало ходовым товаром.

Вы бы видели, с какой надеждой смотрели на чиновников старики, когда им обещали, что и дорога у нас будет, и дома, как в городе, со всеми удобствами. А у них аж слёзы на глазах: больно уж нелегко печку топить одной-то, да крышу отремонтировать некому, хоть перед смертью бы по-людски пожить. И не летать теперь на родину, потому что кто-то свой билет за доллар покупал, а я – за деревянный рубль.

Смятение и страх тоже ломают людей, косят не хуже, чем пули. И хочется верить, что поможет каневцам и сосновцам выжить, прийти в себя только единственное – вера, что всё было не зря, не напрасно. Вера, по нынешним временам, наивная и многими отрицаемая как ложная.

Как бы то ни было, но именно вера помогала поднимать первые колхозы: «Север», «Чкалов», совхоз «Понойский». Одни названия чего стоят! Разве опустошенный, разуверившийся человек такие слова помнит? Горькая судьба заброшенной деревни Поной и ждущих этой участи Каневки и Сосновки – это немой укор за наши ошибки, которые так дорого обошлись стране. Это и покаяние, пусть оно запоздалое, прозрение, глубокое осмысление человеческого бытия, перестройка нашего сознания.

Думая обо всех просчётах, сегодня невольно приходишь к мысли: каждая деревня, пусть она самая маленькая, самая отдалённая, имеет право на жизнь. И жило ведь село Поной, вцепившись в каменистый берег своими корнями, справно жило-почивало, вынеся тяготы послевоенных годин. А потом сколько лет рубили живые корни деревни, прикрываясь искусственно рождённым словом – «неперспективная» Одним росчерком пера сживали её со свету, приговаривали к медленной смерти, ломали и переворачивали судьбы сотен крестьянских семей. И стоят теперь по России тысячи и тысячи пустующих деревенских изб. Пыжась и горделиво стирая «грани» между городом и деревней, идя против течения жизни, мы тем самым породили иждивенчество среди сельчан. Вроде стремились к лучшему, а получилось наоборот. Вот поэтому-то очень важно кроме прописки в паспорте иметь в душе «штамп» о месте жительства…

2007 год

Мой дом

И странно,
Высоко и незнакомо
Вдруг называем родиною то,
Что попросту когда-то
Звали домом.

С. Хомутов

Когда-то Александр Фадеев писал: «Чем старше я становлюсь, тем чаще мысль моя бродит по юности. Но не для того, чтобы уйти от настоящего, не для того, чтобы отдохнуть от бурь жизни, а просто для того, чтобы ещё лучше осознать свой путь и почерпнуть из прошлого молодости, веры, добрых сил и чистоты душевной…»

Видимо, о подобном обращении к минувшему, о желании ещё раз обозреть пройденный путь могли бы сказать многие люди, особенно те, чей путь не был лёгким и гладким, прямым и коротким. Итоги – часть натуры человеческой. Очевидно, и мне пришла пора, не мудрствуя лукаво, оглянуться на все, что пройдено, чтобы набраться сил и идти дальше, выполняя свой долг…

Понятие родины для меня связано прежде всего с домом, где прошло детство. Он сохранился – у меня есть точка опоры на земле. И хотя жизнь давно увела меня от родительского порога, и, возможно, уже и не бывать мне на родине, но где бы я ни был, сердце моё всегда устремлено в Поной.

Отовсюду вижу избу, берёзы под окном, вижу первый взвоз, поля и, конечно, реку детства (у каждого она единственная). Поной, которая всю жизнь является для меня символом целомудренной чистоты и вечности природы. Река манит к себе, во мне есть вера в какую-то особенную благотворительную силу понойской воды. Смело бросаюсь в реку, меня подхватывает течение и, словно бы забавляясь, несёт по широкому кругу. Как славно видеть перед собой в воде облака и представлять, что вместе с тобой плывут и они.

Летним вечером перед сном люблю выйти на крыльцо: особенные эти минуты, дарованные человеку для неспешного размышления. Широкая спело-яркая ляжет на вершины гор заря, застынут в безветрии деревенские берёзы, слава Богу, насажено их у каждого дома.

Далеко в детство уведёт память, и увидишь себя совсем маленьким где-то среди луговой травы. А сколько было солнечного света! Кажется, в той стране детства и не случалось пасмурных дней. Почему-то именно в такие вечерние часы чаще всего вспоминаю односельчан (теперь их почти не осталось), явственно встают передо мной знакомые близкие лица, и кажется, вот-вот кто-нибудь из них сейчас появится из-за угора…

Но нет, тишина и покой. Долго смотрю на разлив зари, чтобы унять щемливую тревогу, вдруг коснувшуюся сердца. За бывшей церковью и полем – последняя пристань моих земляков, здесь лежат мои предки. К сожалению, уцелела только могила бабки Натальи.

Посижу на скамеечке около них, и снова побеспокою память... Дома! В десяти шагах от дома в колодце родник, где раньше мама шоркала песком посуду. Вероятно, тысячелетия неустанно пульсирует светло-серебристая струйка, стекая в колодец, и будет вечным это движение из неистощаемых глубин родной земли, как вечна сама жизнь. Я припадаю к живой воде и в самом прямом смысле физически ощущаю кровную связь с родиной. Низкий поклон тебе, земля отцов и дедов!

Течёт река. И не иссякнет это движение воды, берущей начало из родниковых глубин. С гордостью думаю о том, что где-то светлая понойская струя вливается в само море, пульсирует в нём, прибавляя силы великому Белому морю.

Взгляд нечаянно упал на цинковую ванну, в которой мама стирала бельё. Самой тяжелой работой мне казалась стирка. Сначала бельё замачивали в ванне, потом отстирывали и в большом баке кипятили на плите. Затем бельё и кипяток выливали снова в ванну и, натирая его мылом, выделявшим обильную пену, приступали к стирке. После всего этого надо было ещё нести тяжелое мокрое бельё к проруби, а летом к реке и там полоскать его. Зимой руки стыли в ледяной воде, кости ныли до самого плеча. А в довершение всего бельё надо было развесить на деревянной грядке (так звали деревянную жердину, находившуюся на двух крепко вкопанных столбах или отходившую от угла крыши к столбу). Бросали также бельё и на бельник, где оно отбеливалось до синевы, летом же – на траву, поливая в день по три-четыре раза, а лучи солнца делали своё дело и отбеливали бельё.

Особенно я любил бельё, высушенное на улице, бельё прихватывало морозом, и оно гремело, как железное. Мороз быстро высушивал его, и к утру оно было сухое, чистое, пахнущее далёким тундровым ветром или морем.

Вроде недавно закрыли магазин, но уже веяло вокруг духом запустенья. Красной ржавчиной подернулись кованый навес и амбарный пудовый замок. Бедовая крапива тянулась у заколоченных окон и крыльца, непотревоженно греясь на солнце, расправлял свои капустные листья лопух, прикрывая ступени; зеленой муравкой подернулись вековечные стежки.

Здесь от самого угора и дальше вниз к речке цвело и млело под солнцем радужное многоцветье. Понизу, по самой земле, тяжелой полостью лежал лапчатый зелёный клевер с белой, пунцовой, сиреневой, алой щедрой россыпью пушистых цветов-головок. Силился подняться над ним мышиный горошек, отливая под солнцем розовым да белым цветом. И одной этой красоты цветущего клевера и вики, этой радости хватало душе и глазу. Куда же боле! Но над мягким цветистым ковром покачивались, словно плыли под ветром, белые облачка тысячелистника, желтые корзины пижмы, фиолетовые мохнатые колобки дикого лука. Лёгкая овсяница кланялась ветру или голубому красавцу колокольцу. Прятались робкие васильки, а рядом белели белые звёздочки малины, невесть чем занесенные сюда и ягоды таились. И ещё какие-то травы, знакомые только богам, зеленели и цвели по щедрой земле. Тяжелые шмели с гулом переходили с цветка на цветок, пригибая их; голубые хрупкие стрекозы, невесомые бабочки взлетали и, снова садясь, замирали. Сладкий цветочный дух томился в затишке. Но один лишь дух. А сорви алую клеверную плоть, положи её на язык, чуть придави – и сразу поймёшь, зачем вьётся и звенит с утра до ночи крылатая тварь.

Но очень быстро мелькают дни до следующего вертолёта, уходит ещё одно лето. Завтра надо уезжать, и оттого на сердце смутная тревога. С каждым годом она сильней, потому что сознаёшь, что не так уж много впереди встреч со своей деревней, и ни одного прожитого мгновения уже нельзя повторить: единственной машиной времени остается память. Дома, на реке, в поле – всё вспоминаешь, вспоминаешь... И не унять эту земную боль и незаживающую рану. Невольно вспоминаешь стихотворение, написанное Коковихиной Н.Г.

Старый дом. Залавок. Печка.
Паутинка на стекле,
И лежит огарок свечки
Под божницей на столе
Низкий гопчик. Табуретка.
И осколками окно.
Волей ветра бьется ветка
В безответное стекло
Дверь без ручки. Стол. Посуда.
Где порядок и уют.
Дом надеется на чудо –
Вдруг хозяева придут?
Голосов родных не слышно
В этом доме много лет
Так сложилось, так уж вышло –
Брошен дом, надежды нет
Здесь была деревня. Речка
Тут струилась широко.
В конце жизни скоротечной
Всё, что близко – далеко.

Старый дом

Справедлива мысль о том, что дом надо строить прежде всего в душе, и столь же очевидна обратная связь: сам дом как родовое гнездо является твоей душевной пристанью. В нём сосредоточивается понятие родины, того уголка земли, которая вскормила тебя.

Наш дом стоит на краю деревни, как на ладони. И мне представляется, как-то неуютно ему без близкого соседства других изб, расположенных когда-то тесно, окна в окна.

Долго ли ещё простоит наш дом? Не знаю. Но без него я бы утратил что-то самое важное, самое сокровенное, опорное в жизни.

1983–2012 гг.

Море

Кто в море не бывал
Тот и горя не видал
Поморская поговорка

Тихое, распластанное море едва качалось под низким сумеречным небом, и дальше его закрайки были скрыты от взгляда мглистым туманцем. От берега потянуло легким задорным ветром, и дора, слегка почмокивая днищем, незаметно затрусила к закатной стороне

Море разлеглось перед нами, задумчивое и ленивое, как молочная утельга, слегка сыто поуркивало в своих осенних постелях. Но задорный ветер усилился, он шёл низким накатом и споро парусил дору в голомень, навстречу бархатной траурной туче, словно бы встающей на крыло, так грозно и мрачно она громоздилась ввысь. Ветер сбивал волну, пригнетал её, и море

лениво вздымалось, точно полное густой олифы, и, куда хватало взгляда, подымались из бездны глянцевые покатые тела и вновь погружались в стихию.

Берег, ещё столь недавно надежно синевший, вдруг пропал, растворился, и там, где прежде текли сиреневые волнистые угорья, осталось лишь мутное белесое разводье неба, подтачиваемое споднизу морской толчеей.

Дору неудержимо несло в проран, в желтый зев кипящей тучи, где схватывались беззвучно и сплетались тягостно и странно хвостатые чудища. Пришёл танкер, и нам надо было до отлива успеть сделать ещё одну ходку с соляркой. Иначе каждый час простоя танкера грозил очень большим штрафом.

Море вздымалось, напрягалось обширным скользким телом, вынимало из глубинного нутра шелестящую волну, и по этому пологому долгому склону дора натужно взбиралась на пенистую вершинку и, набирая скорость, скатывалась вниз, и чудилось, что этому падению не будет конца. Полная свинцовая тень покорила волю, словно могильной плитой накрыла все живое, и казалось странным, что дора под него не огрузла, не увязла, не залилась дурною жижей, а ещё куда-то покорно стремилась, может, навстречу той взлохмаченной туче, которая так и не опросталась. С кормы доносились голоса, и вокруг них мерно, с тонким подсвистом взмахивали крылья.

Может, волны шуршали так, толкаясь о борт, терлись друг о друга, иль низовой тягучий ветер путался в пенистой бахроме. Часто попадали в бушующее море, я все смотрю на грязно-взлохмаченное море, и без конца бегущие и ревущие на отмели взводни с белыми гривами – знакомая картина! Ветер холодеет, хотя у нас на Севере и летом выходишь в море в зимней шапке и в тулупе, небо темнеет, заря окрашивается

в винный цвет, воздух делается прозрачней, а на востоке загораются редкие бледные звезды. Наконец море начало успокаиваться. На нем еще вздрагивала то здесь, то там короткая волна и, плеснув, соскальзывала, не дотянув до берега. Воздух слепил глаза каким-то мутным блеском испорченного солнца; его, солнце, нельзя было показать в одном месте, оно, казалось. растекалось по всему белесо-задымленному, вяло опушенному небу и блестело со всех сторон. На море обозначались первые робкие признаки рассвета: побелели и как будто стали меркнуть звезды, на остывшей воде появились голубоватые клочки тумана, густой киноварью сверкнула из-за луд полоса утренней зари.

Раздался зычный гудок. Это, держа курс на Сосновку, мимо нас проходил «Вацлав Воровский». Красавец теплоход, сияя белизной легкой палубы, широкой голубой полосой на трубе, стеклами иллюминаторов, ярко-красной ватерлинией проплыл мимо мыса, оставляя за собой расходящиеся к берегам волны. СНЛ «Умба» затерялся позади в сизой дымке утреннего тумана. Навстречу стаей лебедей плыли заревые лиловые облака, а за горой пробуждалось солнце. Море простиралось перед нами до каких-то далеких и неясных границ, скрытых солнечной дымкой. Нежно-синяя подвижная масса воды лежит перед нами. Ветра не было, но море дышало; его чистое дыхание доходило до нас, и мы вдыхали его так, как вдыхают дыхание возлюбленной – растроганно и ненасытно.

Море во всей своей неоглядной ширине лежало перед нами, сверкающее от солнца, пустынное, безбрежное, на этот раз гладкое, как стекло. Сливаясь вдали с горизонтом, оно обозначилось в этом месте густочерной узкой полосой, как бы свидетельствовавшей о том, что дальше неё глаз человеческих проникнуть уже не может. Невозмутимая тишина по всей этой светлой

поверхности, не осмысленная ни единым знакомым признаком жизни, производила какое-то безысходное тяжелое впечатление, еще более усилившееся криком чаек. Они то поднимались, то опускались на огромный камень, красневший от берега.

Над морем все еще дымка, но чувствуется, что дымка эта – последняя, еще немного, и солнце хлынет, в ожидании этого вода в отвале от форштевня доры стала совершенно бирюзовая. Солнце уже идет как бы изнутри моря. В воде коричневые бурые хлопья водорослей саргассы.

Грешно обижаться на море, породившее нашу душу. Ну сто человек, может, чуть больше взяло вот с наших краев, и оплакали их вдовы, кляня в своем горе непокорную и непонятную силу. Но скольких выпестовало это поле (у поморов море – это поле), скольких поставило на ноги, выпрямило и наполнило разумной силой – тех не счесть. Море несет в себе ту обворожительную власть, коей подчиняется и самая практичная душа, и, может быть, потому в него не устаешь глядеть.

Я вспоминаю море еще и другим: свинцово-серым под серым нависшим небом, в медленно перекатывающихся ленивых волнах, и смутно вспоминаю (да было ли это?).

Одинокая дора, совершающая, казалось бы, безнадежный и бесконечный танец на могучих хребтах волн. Дора портопункта в тот день не вышла к пароходу: им по рации была передана штормовая погода. Четыре раза подходили мы к пароходу «Вацлав Воровский», и капитан парохода кричал в рупор, что не примет у нас швартовые, и пассажиров нам не спустит. Однако мы упорно кружили вокруг парохода, наконец, капитан сдался и спустил штормтрап. Ветер усилился, и дору мотало на волнах, как игрушечную, и надо было выбрать момент, когда её поднимет к трапу и сейчас же

прыгать в дору. Очередь дошла до дочки маячника, она ехала из Архангельска с грудным ребёнком и здесь она замешкалась и выпустила из рук ребёнка, раздался дикий вопль пассажиров. В этот миг наш рулевой Валера Канев успел перебежать на нос доры и протянуть руки, на которые упал младенец, все вздохнули свободно. Когда отошли от борта парохода, то волны разыгрались вовсю, нас поднимало на гребень волны, что всё небо казалось, опускалось на нас, затем опускало вниз, и в животе появлялся неприятный холодок.

Мы подошли к шестому причалу, когда море стало успокаиваться. На нём ещё вздрагивала то здесь, то там короткая волна. Утренняя прохлада успела к этой поре сойти, но день ещё не нагрелся, похоже, он и не собирался нагреваться, занятый какою-то другой, более важной переменой, так что было не прохладно и не тепло, не солнечно и не пасмурно, а как-то между тем и другим, как-то неопределенно и тягостно. А утро было серое и мокрое, пошел, не переставая дождь.

И ещё другое море вспомнилось мне: бледно-розовое при закате, когда горячие краски охватывают полнеба и красные облачка оседают на водном горизонте, как сказочные острова, и море светится вокруг них, спокойное и нежное, поддернутое красным глянцем. И небо впереди зажелтело. Солнце пробивалось к морю длинными иглами, проткнув тучу, словно клубок пряжи. Вот оно – море. Сегодняшнее, теплое в чистой синеве. Случайный завиток волны, сине-зеленые тени облаков, бегущие тут и там по мерцающей поверхности, прозрачная желтая глубина внизу от борта и крохотные волны, монотонно набегающие на береговой гравий. Туман змеился по черной смолевой бортовине, обтекал дору, она чудилась живой, рукастой, наполненной исполинской дьявольской необратимой силой, от неё впору было задохнуться.

На «буранах» в Поной

Всему начало здесь,
В краю моём родном
Н. А. Некрасов

Когда мы выехали на «буранах» от Быкова, погода резко сменилась. Небо затянуло мглой, над землёй запылила, забесилась позёмка, словно какие-то едва зримые духи пустились наперегонки. С обочины на колею потекли снежные ручейки, за ночь они сделают своё дело, переметут дорогу плотными косами. И без того куцый день сдался без борьбы, померк раньше срока, хотя стоял уже апрель месяц. Но мы – это братья Василий, Владимир и мой сын Леонид – уже подъезжали к Поною.

А вечер лёг светлый да тёплый. Лучистая россыпь звёзд усеяла небо от горизонта до горизонта, сияющее-пыльный Млечный путь высветлился, слабо мерцая далекими, неведомыми мирами. И все окрест-это алмазное небо, таящее вечные загадки, Млечный путь над рекой, и сама река, как бы притихшая и онемелая, первый взвоз, лунные тени через всю улицу – все будто слилось в единую гармонию, призывая живых к миру и отдохновению. В пойме Поноя собирался туман, как мыльная пена в корыте. Султаны прибрежных камней торчали из тумана, как вехи узловатой дороги, ведущей из глухомани на понойские просторы. А южный шалый ветерок, взбивая седые кудри тумана, летит к Поною, попуткою тревожа березки, выросшие уже и на запушенных полях. Луна только что взошла над Поноем, сребролика, круглая, как дно цинкового ведра, отбелив правую сторону улицы и притемнив левую; от левой к правой дремотно-тихо лежали тени домов. Деревня открылась сразу. И первое, что бросилось в глаза, было просторное белое поле, а в правой, чуть

возвышенной стороне его – два ряда бездымных оснеженных крыш. Ещё правее стояла ферма.

И сразу же навеяло что-то далекое из детства. Вспомнилось, как бегали к маме на ферму. Вот здесь, в крашеной комнате, всегда густо пахло творогом, жужжали мухи. У лавки был прикручен пузатый сепаратор. В эмалированном ведре под марлей стояло молоко от знаменитой на весь Поной коровы Весны, трехведерницы. Весна давала от тридцати до сорока литров молока.

Но не это бездымье, даже отсутствие наезженной, по- весеннему потемневшей дороги, вместо которой по- прежнему тянулся еле приметный санный след, а страшная поморская щербатость, зиявшая проломной пустотой меж избами, наводило унынье. Видимо, избы исчезали не по плану – по нужде. А влево открывалась река, с прочеркнутыми всюду щетиной кустарника из-под снега, лёгкой стаей молодого березняка. Сквозил так быстро выросший, а сейчас опустевший продрогший березняк, белой змейкой тянуло позёмку. Чуть-чуть припорошило снежком, сколько уже лет не паханые поля, щетинившиеся пожухлой травой. Березняк за последние десятилетия отжало от реки. Если раньше березняк густел сразу за рекой, то теперь повырубили березы с дровосечками и отступал он от реки едва ли метров за 200, да и внутри поредил его топор сильно.

Новому человеку это бросилось бы в глаза, если скажем, не видел он этих мест лет пятнадцать, а разве заметить, если изо дня в день, неприметно, подтаивал березняк, подгрызали его, как пайковую горбушку: со всех концов понемножку – есть вроде бы не ели, а убыла.

Взгляд устремлялся всё дальше и з находил всё новые и новые шири, пока не успокаивался на морском прищуре, далекого и чистого в тот день горизонта. Увидел бывшую церковь, ныне склад Моремесовский,

показавшуюся из-за первого взвоза, увидел школу, избы, рассыпавшиеся по угору, и словно бы сделался приветливей пасмурный день. Здесь родился, вырос: всё кругом своё, понятное, близкое и дорогое.

Над полем и рекой тихо опустились сумерки. На небе в рваных ошметках туч появился сверкающий диск луны, недолго повис над полем и закатился за взлохмаченный край тучи. Скоро он выкатился снова и светил долго и ярко, обливая поле призрачным серебристым светом.

Слитной высокой массой чернело за полем кладбище. Скупой свет луны, словно инеем, серебрил беспорядочное нагромождение крестов и могил. В разрывах туч над полем холодно и ярко светила луна, косо бросала на могилы изломанные тени крестов. Но поблизости всё было отчетливо видно – каждый крест и каждый могильный холмик. И только когда луна опять скрылась за тучей, всё опять потонуло в темени.

В березняке застойная тишь, ослепляющее резал глаза снег, заячий след кружевом уходил в продрогшую бель. Давно не бегал я тут, не жег кострищ, не катался на шкурах и санках, не валял в сочную пахучую сладкую траву девок! Быльём порастало прошлое.

Проехали мимо заброшенного кладбища и остановились у отчего дома. А дом выступил – загляденье! До подоконника – венцов девять толстых брёвен, при крыльце весь охваченный за три с лишним десятилетия сдержанной затенью, мягко притомившей все краски дерева, всё ещё прямой, кряжистый он был, и верно, крепким, полным сил, словно дождаться надумал веселых дней.

А напротив, налево и направо от него стояли другие дома, тоже со своими характерами, и у каждого было что-то свое «к лицу» – то крыльцо, то слуховое оконце.

Но не было праздника во всем этом. Дома перемежались травой, бурьяном из-под снега, а окна без цветов и занавесок мутились многолетней пылью или черно зияли боем.

В глаза лезли старые, никому не нужные пузатые, деловитые мотодоры. Когда-то с ними заигрывали волны, плескались вокруг и играючи прикасались к ним щечками. А теперь они, никому не нужные, забытые лежали на берегу. Лишь ветер навещает их, пролезает сквозь щели, равнодушно гудит в пробоинах и улетает по своим ему известным делам. Да дождь, видя их беспомощность, злорадно пляшет по открытым днищам.

И всё же деревня казалась не покинутой, а только забывшейся и уснувшей на долгую безлунную ночь под большим снегопадом. Ровная улица линейкой бежала в снежное мглистое поле. За ним, за полем, очень далеко миражно и сказочно проступали очертания лога. Сельсовет – в конце улицы, ветер закручивал и развевал вылинявший флаг над крышей.

Когда подъехали ближе и заглушили моторы, слышно было, как шуршало и пело полотнище, бросая на голубой снег кровавые отсветы. Всё было так, как и в прошлые русские зимы: белый разлив снегов под синим лунным светом, умиротворяющая тишина полей и кладбища, закиданная сугробом деревня.

Перед глазами пролетела жизнь и заботы людей, живших здесь, что ложились спать и вставали на зорях, любя, ненавидя, радуясь и страдая со всем укладом их быта, на первый взгляд, казалось, были такие же, как и при дедах в незапамятные времена. Самое же дорогое для меня – моя деревня, родительский двор и в особенности мать – как бы лежало в каком-то тайнике, до которого боялся прикасаться. Это было слишком дорого мне.

Но иногда вечерами, когда в высоком воздухе над деревней пролетали гуси, навевая особенное успокоение и смягчая душу, я вспоминал свой дом, баню, материн-

ские тихие молитвы, и тогда помимо воли наворачивались слезы на глаза. Дорога моей жизни часто пробегала мимо, но я всегда помню, откуда я родом.

Поной не велик, дворов в нём не более шестидесяти с нежилыми. Дома в три порядка по угору. С одного конца Поноя – кладбище и поле, с другого – море да пекарня. Посреди деревни – правление колхоза. Колодцы всегда полные. Студеная круглый год вода неусыпно журчит по разбухшим и осклизлым колодам и желобам. Как вызов, на дверях каждого дома вымершего села бросаются в глаза стандартные таблички: «Ваш почтовый индекс 184541. Сообщите его всем, с кем ведёте переписку». И моё письмо будет последним на конверте, где в адресе отправителя можно поставить эти цифры. Надолго ли?

Тоска по селу будет точить мою душу, душу поморского сына, не раз он вспомнит именное рыбное угодье да землю с покосившимися крестами родительских могил.

Но именно сейчас земле нужны крепкие хозяйские руки. «И радость и горе помору – всё от моря». А сколько на пути было рыбацких тоневых избушек! От села к селу переезжая, останавливались на ночлег на гостеприимных рыбацких тонях. Вобрать в себя свет полярных ночей, когда солнце за каких-нибудь полчаса скатится по склону сопки с запада на восток и, зацепившись за гору, вскарабкается по её отлогам и вновь заиграет чешуйками воды, превратив море в одну серебристую рыбину.

Поной, казалось, не изменил своего лица. Правда, дома поредели, но зато оставшиеся были подправлены, всё чин по чину, честь по чести.

И въедливо тихо заныло в груди: только теперь казалось окончательно понял, что никогда, во веки веков не будет возврата в детство. И на какое-то время для каждого из нас Поной вдруг предстал в памяти уютным родным очагом, но утраченным навсегда-как детство.

Фото В. Кузнецова

Самое мучительное из всего было то, что сознательно ощущал, как день ото дня истлевают и меркнут те радости, которые много лет выращивались в душе, и много лет помогали быть. Сумерки наступали, наступало свойственное только Северу сумеречное состояние природы: ни день, ни ночь, когда трудно определить расстояние. И каждый куст, каждый столб, камень, каждый крест, стоящий на берегу, казалось, излучают слабый мерцающий свет. Безлюдный берег с обветшавшими, заваливающимися тоневыми избушками, с кустами ивы и вереска, с бормочущим морем в этот поздний час не казался мне чужим и враждебным. Этот полуночный, мерцающий призрачным светом берег был берегом жизни. За четыре последних века таким его сделали люди.

Не потому ли так горько было для них теперь с ним расставаться? Зайдя в дом, я сразу же увидел, что здесь побыл чужой человек. Раньше у двери, возле перегородки, стоял комод, и теперь только ровный прямоугольник невыцветших обоев обозначал его место.

Большой стол, застланный голубой скатертью, поделенной складками на ровные квадраты, был переставлен на середину, а окна затянуты грязной марлей. Когда-то белоснежные взбитые подушки лежали на кровати, едва касаясь её, словно надутые воздухом. В комнате всё ещё хорошо пахло березовыми вениками. Тихая, сладостная грусть ложилась на сердце. Сколько раз покидал эти родные края! И всегда уносил в памяти каждую лощинку, каждый родной бугорок.

1982 год

На погосте

Из каменных гробов их голос вечно слышен,
Им внуков поучать навеки суждено,
Их слава так чиста, их жребий так возвышен,
Что им завидовать грешно...

А. А. Фет

Дождь недавно прокатился, сентябрьский, бездомный; ветер рябит в реке белесое отражение неба и ближних крестов; с редкого, опалённого смертью листа тяжело каплет на плесы, брусничный куст в изголовьях глянцево блестит, словно зелёная мокрая жесть казённого венка, привезённого из города; нетронутые кисти ягод налиты багровым соком жизни, но от них веет особой кладбищенской грустью. Дальше, в горку, до погоста идёт натоптанная корытцем тропинка, огибает кочку, густо покрытую ягодой-синюхой, под которой тоже покоится чей-то забытый прах, и тут она неожиданно дробится, суматошливо путается, будто устье большой реки, змеисто скрывается под трухлявыми колодами палых древних крестов, жирно выпячивается у новенькой голубенькой оградки, ныряет под жидкие березняки с вымытым до костяного блеска обнажённым кореньем, растерянно топчется у торфяной колдо-

бинки бывшей могилы, до края залитой бурой водой, по которой плавают ватные хлопья поздно цветшего кипрея,- так, измотав, опутав, закрутив вершину холма десятками испуганных надбродов, тропинка вновь впитывает в себя все горючие человечьи следы и уже широко, размашисто окунается под низкий полог берёз, и создаётся впечатление, что люди вовсе не легли на покой, а напутав следы, нахитрив, ушли дальше своей особой единой дорогой.

Дождь иссяк, и сразу даль заголубилась, отодвинулась, дыхнула холодом. По - над самой водой потянулись ватные клочья дыма, и в одно мгновение закучерявило, натянуло мороки, волосатый туманец свивался прядями, скручивался всё плотнее, пока не выплавилось слякотное жидкое стекло. Ветер заметно стих, и небо прояснилось, заблестело звёздами. На восточном склоне его появились белесые полосы – предвестники рассвета.

Кладбище высокое, словно вознесённое надо всем, что его окружает. От него хорошо видно разлившуюся во всю ширь реку Поной.

Небо, с краями налитое радостной весенней синью, солнечная рябь волны, утекающей будто бы в бесконечность, ровный шелест воды, сухой шорох обветшавшей прошлогодней травы и то состояние пространства и легкости, что посещают человека только близ пустынного моря, – всё это невольно настраивало на светлые и печальные раздумья, которые воспринимались как летучее озарение, возникали словно бы из ничего и также обрывались в череде неспешных мыслей. На понойском кладбище лежат кости всех моих предков и деды мои, и бабки мои. Мне не найти их могил и не было над ними каменных надгробий – только деревянные кресты. Предки мои растворились в этой земле, как звук растворяется в воздухе. А когда-то были, как ныне есть мы. Вот так: завязался узелок материи именем «человек» и опять распался.

Я пришёл сюда один. Дождь успокоился и установился чудный день, солнечный, с веющим тёплым ветерком. После ночного дождя воздух был чист и дали ясны, словно мытые небесной водой. Дышалось легко, гляделось радостно. А рядом с кладбищем на месте поля, где когда-то сажали репу и морковь, трава была особенно высока – по пояс, по грудь мне, и даже до плеч, местами уже полегла. Богатая, жадная до жизни трава. Странное чувство сжимало моё сердце: и радость, и грусть одновременно.

День разыгрался прекрасный; птицы весело щебетали надо мной; ветер ласкал меня, живой, тёплый ветер. Всё цвело, кипело, торжествовало. А я стоял как бы над могилой деревни и грустил. Сколько человеческих судеб, страстей погребено здесь. Первый крик ребёнка и плач по уходящему, шёпот робкого признания и страстное проклятие предавшему. Тоска от разлуки и тоска от близости… Тут звенели песни и смех, падали слёзы горя и радости. Где всё это и как всё это назвать сегодня? Не оно ли могучим напластованием лежит в моей земле, скрытое под этими полями, деревьями и дорогами, и не оно ли влечёт меня сюда, заставляя так трепетно отзываться всё моё существо? Не его ли я ощущаю, как биение могучего сердца земли, слышного мне только здесь, на родной мне земле? И одному ли мне только слышного?..

Ночь в Русинге

Конец августа на дворе. Холодно, дождливо и неприветливо. Солнца не видать из-за свинцовых туч, окутавших со всех сторон небо. Ветер так и гуляет по грязным улицам и переулкам, напевая тоскливую осеннюю песню, и порою даже слышно, как ревёт море.

Будучи в то время связистом, я должен был срочно выйти на обрыв линии в районе Качковки. Вы-

шел из села, когда уже наступал вечер. Дойдя до Русинги и порядком притомившийся, решил переночевать. Подступала ночная свежесть. Я наслаждался вечерней прохладой и поглядывал на высокое бархатное небо, усеянное звёздами.

Ночь пришла, и тишина сумерек наполнилась, каким-то неясным, но повсеместным движением и шёпотом реки. Небо, тронутое по краю зарёй, опустилось над тундрой низко, доверчиво, отчего стало казаться, что река говорит о чём-то с небом, о чём поговорить среди дня никак не решалась. На вершинах тёмных сопок было что-то загадочное и в то же время очень простое: чуть прислушайся, и вот поймёшь эти доверчивые слова. Но разобрать их никак нельзя или не хватает сил, потому что хочется спать. Большая тихая птица сорвалась откуда-то с вершины сопок и, махая неуклюжими крыльями, низко прошла над поляной. И я уснул и крепко спал до самого утра. Среди сна слышал, что кто-то ходит вокруг стога сена, где я устроился на ночлег. Ходит лёгкими и мелкими шагами, обирает сено то, с той, то с другой стороны. Хотел проснуться, но не смог.

Проснулся я рано. Солнце быстро поднималось в бирюзовую высь безоблачного неба, обещая жаркий день. Оно заливало ярким блеском и эти зеркальные, совсем замелевшие приглубые плёсы, далеко врезавшиеся в берега. Был шестой час на исходе прелестного августовского утра.

А потом шёл берегом реки в траве по самые плечи. Трава сверкала и сгибалась под обильной росой. Одежда промокла. Ноги скользили, точно по земле прошёл дождь. Над водой стоял туман. Он шёл, растягивался островами и таял. И там под туманом, гулко играла рыба…

Осень

Как грустны сумрачные дни
Беззвучной осени и хладной!
Какой истомой безотрадной
К нам в душу просятся они!

А. А. Фет

Конец августа. Солнце ходит ещё высоко, и дни стоят погожие, но ощущается уже что-то трогательное и покорное в природе. Всё притихло. Вода в Поное сделалась студеной и прозрачной, кружат по ней крохотными лодочками ивовые листки. На краю земли, пропылав ярко, догорел закат. Небо вызвездило. Обычно первого августа просыпалась на небе первая звезда. Сейчас всё небо усыпано ими. Высоко, голубым огнём мерцала Полярная звезда. Она всегда на одном месте. Вокруг неё ходит неустанно Большая Медведица. Созвездие это – как часы. Ковш рукояткой смотрит сейчас в сторону заката, на запад. Потом эта рукоятка медленно опустится и покажет полночь. К утру Большая Медведица поднимется справа от Полярной звезды, ковш опрокинется и покажет тремя звёздами рукоятки на восход. Взметнётся над тундрой рассвет, и звёзды покинут небо.

Звёзды были и в воде, только более спокойными, чем в небе. Вышла луна, и река покрылась тонким слоем серебра. Звёзды просматривались даже сквозь эту серебряную плёнку сочно, будто живые. С поля возят овёс на силосорезку. Ночи в эту пору тёмные, и уже вечером запускается электростанция.

Наутро деревья, особенно берёзы, пожелтели с наветренной стороны и стояли теперь, точно разбитые параличом; одна половина живая, другая подсохшая. Трава побурела, кусты смородины тоже опалило.

Выйдя на крыльцо, я не узнал деревню, она была как будто нагой, неуютной. Подули из-за Поноя север-

ные ветры-листобои, принесли холодную мокрень. Тоскливая пора! Треплет продрогшие берёзы, мелко сечёт в оконные стёкла, мелким осенним дождём. Небо низко проносилось над землёй серыми облаками. Ветер порывисто посвистывал над домом. Дождь ровно и мелко сыпался на крышу, ветер иногда раздувал его и рассеивал до самой лавочки, стоявшей у дома. И нет этому конца, как будто на всём белом свете установилась такая непогодь.

После Ильина дня, с той поры как начнут холодать ночи и густо ложатся туманы, понойские жители ждут-поджидают, когда кто-нибудь побывает на горе и оповестит: морошка поспела.

И день, казалось, выдался особенный, по-летнему тёплый. На пригреве мельтешила оранжевая бабочка.

Небо было пронзительно-голубым, так что вызывало слабую резь в глазах. Уже начали золотиться берёзы, умножая солнечный свет. Давно примолкли птицы, покорная заколдованная тишина, отзывающаяся и в душе человека задумчивым покоем. На небе лишь кое-где белыми мазками виднелись лёгкие облачка, ничто не предвещало дождя. День выдался без дождя, но пасмурный, прохладный. Солнце словно потерялось где-то. Видно, надолго. Небо хмурилось, и во второй половине дня, ближе к вечеру, робко закапал дождик.

В поздних числах августа дышалось радостно и хорошо, такой был дух всеобщего поспевания, созревания, что-то так и несло, и поднимало тебя, и сливало со всем. Идёшь по обеду, а он шуршит, звенит, полные серёжки-колосья холодят ладонь.

А на горе подосиновики, моховики, всё больше на крепких ногах, грибы-тарелки. Чувствовалось приближение осени. Зелень берёз и трав поблекла. Квелые берёзовые листки покрылись желтоватыми пятнами. Макушки рябин перекрасились в горящий малиновый цвет. Солнце пекло изнуряющее, но небо стало уже не летнее. Облака двигались стремительно, непрерывно и

были не меловые, как в июне. Темно-сизые, с колотыми краями. Горизонт на западе редко очищался от туч. Если бы не юго-западный (шелоник) ветер, сгонявший тучи в сторону, над полями понойчан стояло бы затяжное ненастье.

Вечером на тёмном, закрытом наволочью небе холодным далёким светом лучились редкие звёзды. Красняк месяца робко выглядывал из-за облачка, бросал на забор голубоватые пятна. На болоте за стайкой посвистывали кулики.

Летние, осенние и зимние месяцы на нашей поморской стороне весьма переменчивы. Ноябрь иногда ударит январскими морозами, а то и загудит, завихрит вьюгами. Декабрь частенько отзывается мартовским теплом, глазеет проталинами. Сам же «марток не пускает без порток», а выйдешь утром в полушубке, к полудню снимай его – пойдёт сырой снег вперемежку с дождём. Время подоспело осеннее, переменчивое, то дождь моросит, то пасмурь темнит, то ветер полощет. Дни, дни, дни… И пасмурь, и солнце, и приморозки осенние. По осени падает лист, с желтинкой, с красноватыми прожилками, словно в листьях позастыла кровь; багряный, будто жжёный, жухлый, оранжевый.

Ветерок отряхивает деревья от летних нарядов, а зимою, когда дуют ледяные ветры, голые сучья постукивают друг о дружку, как по костям. Осень – пора увядания. А листья падают и падают, гоня дрему. Багряный серп ущербного месяца медленно поднимался над рекой. Теснина между гор полнилась молоком устоявшегося тумана. Ветер шёл над сопками. Валки туч, медленно переваливались, клубясь, вереницей ползли на север. А на востоке, над горами, в просини чёрной тучи кумачовым рядном пылала зарница утра.

Но вот поднялось солнце. Сперва оно прильнуло к вершинам берёз, посеребрило их купы с золотой, кое-где уцелевшей листвой, потом спустилось в междугорье к деревне и затопило ярким светом Кривую улицу,

дома. Медленно поднимался туман. Солнце лизнуло вершины гор, высветлило небо. Первый луч его упал в теснину между гор. За окном стлался холодный туман; осеннее понойское утро вставало поздно. Над горами голубело небо. Отходили августовские дни.

Ночи стояли лунные, призрачные, а днём шуршал листопад, последней красой отцветали цветы. С гор подули ветры, из-за них выплыли чёрные неприглядные тучи, пошли осенние докучливые дожди. На холодную влажную землю упал последний золотой лист. Ночью в трубе выл беспризорный гулена ветер, навевая тоску. Бывает так по осени: внезапно жахнет мороз, захватит врасплох всё живое, обникнут опаленные холодом разохотившие было и дальше расти побеги, убьет на грядах ботву, загонит в норы и под коряги всякую живность, а потом вдруг вновь неожиданно растеплится, выстоятся деньки, и опять всё, забыв недавние страхи и невзгоды, закопошится, запрыгает и возрадуется. Благодать.

Осенний день был на исходе, вокруг стояла ветряная тишь, некого поблизости не было. Люди работали в поле, убирали овёс. Время от времени дождь затихал, переставал вроде, изрядно, однако, намочив траву. А затем начинал снова.

Под утро дождь перестал. Ветер всё не стихал, порой даже усиливался, стряхивая влагу с мокрых веток, казалось, что дождь продолжается. Над вершинами деревьев невесть куда неслись серые тучи, небо так и не приподнялось над деревьями безрадостное небо ненастного осеннего дня.

Дома почернели от дождей. Дул резкий северный ветер, свистел в чердачных окнах, гудел в печных трубах, сильно раскачивал голые сучья берёз. Осень подступала незаметно, исподволь. Редкие погожие дни исчезли. Ненастье пришло хмурое и сырое. Ветер – неспокойный, переменчивый – успевал за сутки обойти всё, подгонял и подгонял, направляя за вараки влажные

облачные стада. Грязные, словно давно не мытые тучи наглухо застилали небо и неустанно сыпали мелкий, настырный, промозглый дождь. Сумеречные дни стали короткими. На дворе остатки жухлой травы, слякоть, лужи. Темные от дождя стены домов. Широкая желто-розовая заря дотлевала над сопками. Изредка по заревому фону проплывали чёрные тучки. Это далеко-далеко над тундрой летели на ночлег запоздалые стаи гусей. Шла в отлёт птица. С утра до вечера небо со свистом чертили тонкие утиные ниточки, бесшумно и лениво махали крыльями стаи отяжелевших за лето гусей.

Подошли первые дни сентября. Устилая заячьи тропы, падал блеклый лист, табунились на ягодниках куропатки. По ночам уже подмораживало. Но стоило только выглянуть солнцу, как дымком уносился с крыш и заборов выпадавший под утро иней, таял на заберегах Поноя хрупкий ледок. Почти весь сентябрь в верховьях Поноя барабанили дожди с ветром; рано пожелтевшие деревья обхлестало, а потом погода установилась, засветило холодное солнце, пронизывая обредевшие деревья, с трудом обсушивая мокрую землю. Ветер стихал. Было слышно, как сочилась через край переполненной бочки вода, с крыши в неё ещё звучно шептались капли, рождая на поверхности стеклянные пузырьки.

Темный холст облаков скоро расползся, и в голубые просветы хлынули золотые ручьи солнца. Над вымокшими полями с овсом повисло цветное коромысло радуги, клонясь одним концом к озерку, будто зачерпывая там пустым ведерком воду.

Рассвет был серым и туманным. От реки тянуло сквозным ветром. Иногда из-под горы долетало прерывистое ворчанье Мельничного ручья. На берёзах сонно вскрикивали вороны. За дворами брехали и выли загулявшие собаки. В кухонном окне уже отразилось пламя печи. Стреляли на шесток еловые дрова, дым с языком

пламени тянуло в трубу, золотистым кружевом сгорала сажа.

Среди сплошного ненастья выдался сухой погожий денёк. Выйдя на улицу, словно захлебнулся прозрачным воздухом, настоянным на пряностях увядшей травы, и солнце ослепило меня, такое не по- осеннему яркое, бьющее в упор. И плыли по-весеннему легкие облака.

Солнце слепило глаза последними вспышками ушедшего за Поной лета. Старики в полушубках, в валенках по-зимнему сидели на завалинке и щурились на жёлтый сверкающий круг в холодном, чуть-чуть с голубинкой небе. С берёз потёк первый лист. А через неделю утренники пошли, деревья за ночь обмерзали, и утрами льдисто отсвечивали, лист почернел и облетел, а дальше опустели пожни, вечерами густо отсаживали гуси, о чём-то птичьем мирно говорили, и с первой зарёй поднимались на крыло, выстраиваясь в косяки.

Я грустным взглядом провожал тяжёлые осенние облака, вот меж ними возник чистый голубой просвет, и на его недосягаемой выси я приметил запоздалую птичью стаю, пробивавшуюся на юг к тёплым морям. Верховой ветер сбивал стаю на сторону, пытался рассеять птиц, но они упрямо, ломая крыльями напор ветрового потока, выправляли строй, и косяк прорывался к югу. Подули с сопок пронзительные ветры, понесли над рекой леденящие дожди, в непролазную грязь размытые дороги и тропы с избытком наполнили влагой почву.

Раннее утро осени всегда похоже на какой-то грустный праздник. На душе легко, глаза смотрят ясно и далеко видят. Но видят они как будто не всё, и от этого на сердце тревога. Глаза видят, как пламенеет, склонившись над рекой рябина, как тянутся горизонтом гуси с тундровых озёр и как над Поноем стоит кто-то, вытянувшись всем телом, и машет доре красным платком. Как дождь глухо, с сытым ворчанием шумит,

входя в воду; река кажется серо-стальной и тусклой. Корга казалась размытой и приподнятой, будто низкая туча, грязным пятном. Размыто было и небо, а лучше сказать, его не было вовсе, оно закатилось куда-то, как закатывается солнце, и теперь там настали сумерки. Дождь всё нудил и нудил. Трава, мягкая, далеко не вызревшая, принимала его бесшумно, на деревьях зябко подрагивали листья.

Только одному творению – человеку – дана природа, способность чувствовать и понимать красоту и силу, и ему же одному – способность губить и уничтожать её, родительницу, порой и самого себя уничтожать во имя неё или вместе с ней.

День был воскресный, день был дождливый. Затяжным ненастьем оборачивалась осень 1975 года. Раздавленным желтком смотрело солнце из-за гор. Часам к десяти вечера оно спускалось к горизонту рубиновым жаром, а после трёх полуночи уже опять появлялось на небосклоне, имея совершенно белый цвет.

Комариный гул и толкотня мошки. Дождь лил и лил, перемешиваясь грозами. Земля раскисла. Молнии вспыхивали над Поноем, будто резали серебряными ножами ржаную кулебяку. С гор тянуло сыростью и стужей. Розовые облака, наливаясь синевою, меркли. А на закате сгущалась лиловая пасмурь и вся земля, пропитанная влагой, источала осеннюю остудину. Хотя с моря дули ещё мягкие тёплые и влажные ветры; на берёзах до ноября держались пожелтевшие листья. Зато сорвал их холодный северный ветер за одну ночь. Забегая вперёд, скажу, что сразу же пришли сырые, мозглые морозы, а зимний Никола утонул в глубоченных снегах.

Я проснулся серым утром. Комната была залита ровным жёлтым светом, как будто от керосиновой лампы. Свет шёл снизу из окна и ярче всего освещал потолок. Странный свет – неяркий и неподвижный – был непохож на солнечный. Это светили осенние ли-

стья. За ветреную и долгую ночь деревья сбросили сухую листву, она лежала шумными грудами на земле и распространяла тусклое сияние. Ночь была жутковатая – морошная, глухая, темная до крайней темноты.

В прошлую ночь прошёл дождь, с утра тоже принимался порывисто брызгать крупными редкими каплями, будто ветром, как с деревьев, сбрасывало последнее с туч, но дождь больше не направился, и весь день попусту простояла плотная, злая хмурь, которая теперь, похоже, окрепла ещё сильней. Тяжёлое небо нависло так низко, что чувствовалось его иная, чем на земле, холодная сырость и чужое кружное шевеление воздуха. От реки поднималось серое исподнее мерцание, в котором взблескивала и терялась вода, как бы изгибаясь и опадая вниз. Выше его за мерклой прокладкой виднелось полосами другое, более мутное и слабое свечение, неизвестно откуда берущееся; сразу за ним начиналась дремучая тьма. Так началась осень. До тех пор я её почти не замечал, ещё не было запаха прелой листвы, вода в реке не зеленела, и жгучий иней ещё не лежал по утрам на дощатых мостках и крышах.

Осень пришла внезапно. Осень пришла врасплох и завладела землёй, деревьями и рекой, воздухом, полями и птицами. Каждое утро собирались перелётные птицы. Под свист, клёкот и карканье в ветвях деревьев поднималась суматоха. Только днём было тихо; беспокойные птицы улетали на юг. Начался листопад. Листья падали дни и ночи. Они то косо летели по ветру, то отвесно ложились в сырую траву. Деревья моросили дождём облетавшей листвы. Этот дождь шёл неделями. К концу сентября всё обнажилось. Ночь стояла над притихшей землёй. Разлив звёздного блеска был ярок, почти нестерпим.

Я зажмурился. Осенние созвездия блистали в реке и в маленьком оконце избы с такой же напряжённой силой, как и на небе. Звёздная ночь проходила над землёй, роняя холодные искры метеоров, в терпком запахе

осенней воды. Солнце садилось за логом, и между мной и солнцем лежала серебряная тусклая полоса. Это солнце отражалось в густой осенней паутине, покрывшей луга. Днём паутина летала по воздуху, запутываясь в нескошенной траве, пряжей налипала на вёсла, на лица. Она тянулась с одного берега Поноя на другой и медленно заплетала реку лёгкими и липкими сетями. По утрам на паутине оседала роса.

Глубокой ночью я проснулся. Неподвижные звёзды горели на привычных местах, и ветер осторожно шумел над деревьями, терпеливо дожидаясь рассвета. Скоро тучки сбежались в одну кучу, берёзы понизу желтились, коровы и собаки спиной к северу ложатся, верные ворожеи-перелётные птицы в отлёт дружно пошли: быть скорому ненастью, быть ранней осени. Остающиеся в зиму пташки грустны и хлопотливы. Сытые вороны угрюмо сидят на коньках домов. Нахохленные, могильно-скорбные, о чём-то задумались они, впали в тяжкую дрему. Паутина перестала плавать в осеннем поднебесье, плесенью опутала она прокислые листья крапивы. Светла вода, светел и прозрачен воздух, но и вода уже берётся со дна реки сумеречной дремотой, и в воздухе день ото дня все меньше сини, а туманы по утрам продолжительней, плотнее, и лампы в избах, до того, пока заработает электростанция, засвечивают рано.

На улице было по-прежнему холодно, сыро. Земля, ещё не схваченная морозом, набрякшая осенними дождями, проедала грязью тонкую пелену снега, выпавшего накануне, за деревней, там, где пожухли и замерли травы, особенно в низине, снег не таял, было всё бело, и только чёрной трещиной коробился ручей, а на высоком поле, как весной, обозначились длинные проталины, но больше не было ничего весеннего ни в природе, ни в моей душе. Из-за нашей крайней избы, с поля тянуло холодным ветром, пахло стылой землёй, снегом. Что-то тоскливо скрипело в сумраке наступающе-

го утра. Вышел на крыльцо. Низко над головой неслись разорванные ветром сырые клочья облаков. В сумрачной дреме глухо стонал березняк за рекой, облитый ранней позолотой осени, трепетно вздыхали кусты, опадая листвой. Увешенная нежным жемчугом росы, то здесь, то там опускалась паутина, вытягивая сложную систему голубых проводов. В мутном заоблачье пряталось солнце, просеивая реденький, не согревающий свет.

Октябрьские дожди сменились снегопадами, ветер нехотя лизал шершавым языком тускнеющие бугры и холмы, а вскоре начал трещать гололёд, секла каменным бекасинником небесная крупа и к ночи запевала со всеми подголосками коварная вьюга. Не было конца ненастью. И по утрам по болотам пробирались заморозки, стонал и выл северный ветер.

Затем выпал снег. Хрустальной зябью подёрнулась вода, отражая дома на угоре. Под натиском ветра стонали дома. Прислушивался к необъятному разнообразию звуков, рождённых суровой, завьюженной природой. Ветер налетел и ударил в окна, громыхнул оторванным листом железа, голодным волком завыл в трубе. Низкая тёмная туча ползла, чуть не задевая вершины горы. Она давила сырой тяжестью, глушила мысли. Маленькая, болотного цвета луна, так похожая на подкову, прорезалась посреди неба и родила вкруг себя крохотное озерцо света.

А огни за окном постепенно гасли, редели, темень густела. И если бы не жиденькая цепочка притушенных фонарей вдоль умолкшей улицы, то всё вокруг давно бы покрыл ночной осенний непроницаемый мрак.

За окном в полуночной тишине неспешно вызревала, как в некой оранжерее, студенистая луна. Выкатившись из-за щетинистой сопки жидким белесым шаром, светило набирало упругость и всё отчётливее прописывало на полу комнаты оконные переплёты. Лун-

ные тени на полу укорачивались. Небесная спутница взбиралась всё выше и выше по фиолетовому поднебесью, смывала свет звёзд и наконец жёлтым немигающим глазом уставилась на лежащего без сна начальника, то ли поглядывая за ним, то ли напоминая, как много в мире вечных истин, как мудро определённо течение небесных светил, а человеку природой дан разум, чтобы он находил выход из любых положений.

Оттепель

Я знаю, иногда в апреле
Зима нежданно набежит,
И дуновение метели
Колючим снегом закружит.

А. А. Фет

Февраль вьюжным выдался. Снег сыпал и сыпал. В приморозь мелкий, сухой, колючий, а чуть покротеет к оттепели – хлопьями валит мокрыми. А то ветер вдруг налетит, взбудоражит сугробы, вскружит их, рыхлые, до самого наста и гоняет темными вихрями, воет чертом. Полярная ночь кончилась, а света ещё не видели. Окна позалепило, тепло выдувало скоро. А три дня до Евдокии разведрилось. Тучи порасползлись, утих ветер.

Месяц-новичок в ясную ночь родился. Поутру белесое с голубым открылось небо и пришло солнце. Откуда-то взялись ожившие воробьи, зачирикали, зарезвились. Закаркали воронье. Собаки кучились в своры, бегали, заливались пустым лаем. Вдруг прежде срока запахло весной. В середине февраля после сильных морозов началась оттепель. Вокруг домов из-под талого снега показалась земля. Снег на реке потемнел, набряк от влаги и стал рыхлым и податливым. Целыми днями над рекой, особенно там, где проходила тракторная санная дорога, кружилось вороньё. На левобе-

режье в молодых, засыпанных снегом кустарниках, начались суматошные заячьи свадьбы. Поднявшись на берег Поноя, можно было видеть сотни заячьих следов. Разбрасывая лапками снег, зайцы бегали во всех направлениях, путали следы, сходились на белых полянах и, облюбовав какую-нибудь старую, покрытую обледенелыми водорослями иву, начинали вокруг неё весёлую свалку.

Иногда, опустив острую морду, по заячьему следу шла отощавшая за зиму лиса. Острый запах свалявшейся на лежках заячьей шерсти дразнил её, она часами плутала по свежим следам на снегу, наспех съедала подвернувшуюся мышь-полёвку и, провожаемая насмешливым стрекотанием вездесущих сорок, бежала дальше.

Бывают такие дни на провесне, на склоне зимы. Ещё холода стоят, потрескивают по ночам заборы; ещё курится лёгким облачком людское и скотское дыхание, и даже куржачок трогает белью края бабьих пуховых платков. Но случиться день, словно богом даренный, и откуда что взялось: по-весеннему высоко и ясно засинеет небо, лёгкие, легче гагачьего пуха, облака поплывут по нему, далеки и белы. И солнце, такое жаркое солнце вдруг глянет с высоты, что его почуют все. Воробьи собьются в стаю, облепят какую-нибудь вершину дерева и поднимут такой весенний галдёж, что пролетавшая мимо ворона не выдержит, сядет на забор и примется срамить и совестить их простуженным, хриплым басом. Кот нежится на завалинке, томно глядит на воробьёв вприжмурку. Неплохо бы похрустеть воробьиными косточками. Да лень, матушка моя, сладкая лень... Только и есть сил, что проурчать сладостное: «У-у-р-р-р». И прилетевшая с дальних логов синица отливает над миром совсем уж весеннюю хрустальную капель. Да и каждому человеку в такой день хочется снять шапку, поднять лицо к солнцу, прикрыть глаза и чуять, как щекочут и ласкают тебя теплые лучи. По-

прежнему день стоял солнечный, с огромным синим небом и редким пухом снежных облаков. А высоко над головой сороки уже затевали весенние игры. Кружась подле друг друга, они парили и реяли и так не похожи были на себя всегдашних, крикливых, настороженных. Теперь они играли легко и молча, шалые от солнца и любви.

Вечерело. Ветер раздул тучи, и серое небо подернулось мягкой голубизной. Выпавший ночью мягкий снежок за день растаял, и земля вновь лежала пепельно-темная, обнаженная и неживая. Ночь опустилась ясная, с морозцем. Где-то там, над чужими краями, в свою пору светили солнце и месяц, а здесь, над родной землёй, ясное небо серебрилось густым звёздным инеем. Всякие были звёзды. Иные крупные, прямо в орех. В закатной стороне одна горела ярым огнём. Другая такая же над головой кроткой лампадкой светила. Ещё одна кровенела поодаль злым, бычьим глазом. А ещё одна, чуть поменьше… Да боже ты мой, сколько их! Может, и правда, это души ушедших глядят вниз добрыми и ясными очами? Ведь сколько их было!.. Сколько перебыло лишь на этой малой пристани. Разве сочтёшь? Пыль земли. Теперь же вечно серебряная небесная пыль, и малый сияющий кремень, и слепящий свет ярой звезды. И как светло от него на земле! Особенно в такую вот ясную ночь, когда крупные звезды обступает легкое сияние, наверное, к морозу. К чему же ещё? Я глядел на звёздное небо: заворожено лежало оно, молчаливое, и как знать, что таило в своей глуби. От этого глядения отходила душа, успокаивалась, и никакая беда не казалась такой уж страшною.

Деревенская улица, обочины её до самых заборов были нынче залиты молочным ромашковым цветом. И даже на дороге, по горушке, меж колеи, пенился белый след.

Стояла оттепель. С берёз осыпались искрившиеся на холодном солнце снежинки. Над селом кружились

стайки ворон и сорок. На дороге, на кучках навоза хлопотливо суетились воробьи, перекоротавшие первые морозы в глубоких норах в снегу.

Однако в ночь изрядно подморозило. Небо было таким высоким, что не отыскать в вышине место, не освещенное их сиянием. После устойчивой оттепели, продолжавшейся без малого две недели, надвинулся снегопад с ветром. Белесое зимнее небо похмурело, облака разбухли, и на дворе стало серо, как в сумерки. Снег падал медленно, долго и причудливо носясь в воздухе.

Оттого что пространство, простиравшиеся над землёй, было заполнено крутящимися снежинками, деревья и строения, а также и двигавшиеся по улицам и дорогам люди угадывались только вблизи, словно окутывал их плотный, осенний день. Наконец-то за много дней оттаяли наружные стёкла. Небо окончательно затянуло низкими облаками. Крупный снег падал прямо. Кусты голой березы перед окнами ещё недавно метались и кланялись под порывами ветра, а теперь успокоились, притихли. Было тихо, а под вечер вновь разгулялась метель и похолодало. Ветер снегом ударяет в окно, свистит в печной трубе. Временами, кажется, что кто-то стучит в запертую дверь, скрипит половицами в сенях. От сильных порывов ветра лампа вздрагивает пламенем. В приоткрытую дверь кудрявый холод бежит по полу до самой кровати.

А ночью вдруг пошёл дождь. Дождь глухо стучал по крышам домов, мелкой рябью тревожил уже накопившиеся лужи, капал с голых сучьев берёз. Капли дождя разбиваясь о стекла, сползали вниз светлыми полосами.

Днём с новой силой родилась заметель, ударила в стену стайки и хрипло заплакала, задыхаясь в снежных забоях. Метель билась в старые стены, тоскливо пуржило, накатисто ударяла в окна, словно нащупывала слабину, порой ветер катился через поветь, совался в неплотно приоткрытую дверь. И снежная пыль легко

носилась под самым полом. Уже потемнело, в густом небе расположились синие острова облаков, снег на реке посерел и снежной пылью мела поносуха, разыгрываясь под вечер.

Переправа

Оставшаяся ещё от экспедиции, лодка исправно теперь служила местным жителям. Грести не надо было, она сама ходила при помощи натянутого троса через реку. Схема была очень проста. От носа лодки к тросу блока привязывалась веревка, и от блока к задней корме лодки. И лодка двигалась за счёт течения реки и натяжения лодки верёвкой носом вверх по течению. Это было очень удобно тем, что лодку можно было отправлять через реку, даже пустую. Она спокойно доплывала до противоположного берега без помощи людей. Если кому понадобится лодка переехать на другой берег, то не обязательно было ехать в ней самому. Достаточно было хорошо натянуть верёвку, привязав её к корме лодки, и направить лодку в обратную сторону.

1965 год, сентябрь. Мы уезжаем в районный центр Ловозеро в школу-интернат. Первые пассажиры уже влезли на борт лодки. Ежатся школьники, прячут носы в воротники. В такую погоду на печку бы! Все мысли о тепле, о солнышке, о печке. Над головой бегут мокрые, расхлестанные облака, ветер с изморосью со снежком, холодные волны плещут о ледяную закрайку, и слышно, как шуршат обломки льда. Утро неприютное, день разгуливается как бы нехотя. На берегу осталось ещё много народу, столько, что всем заранее становилось ясно, кому-то не хватит места, и в первую очередь отправили нас школьников. Ну а остальным придётся ждать нового рейса, стоя на холодном ветру. Посланная обратно лодка ещё не успела стукнуться о берег, а в неё уже попрыгали друг за другом и мальчишки и девчонки поотчаянней. Лодка закачалась и даже черпнула немножко бортом.

Василий Яковлевич Петрущенков заругался и погрозил шестом, который предназначался для отталкивания от берега. А ну назад! Но выбираться никому не хочется. Василий Яковлевич побаивается, не стряслось бы чего. Лодка подвигается медленно, боком, как ходит паром; носом против течения, кормой навстречу волнам. Волны хоть и не высоки, однако гребни их то и дело задевают сидящих на скамейках. Слышно, как они ударяют в корму. Никто не шелохнётся….

Кукуруза

(Песня, сочинённая
Харлиным Леонидом Александровичем, с.Поной)

1.
Как в роди-и-и-имом, как в родимом нашем крае
Вот уже, вот уже с которых пор
Выраста, вырастает кукуруза.
Ой не видать, не видать высоких гор.

2.
В тихий ве-е-е-ечер, в тихий вечер на свидание
Ко мне мил, ко мне милый поспешал.
Заблуди, заблудился в кукурузе,
Ой заблудил, заблудился и пропал.

3.
Я с нача-а-а-а-ала, я сначала растерялась,
И не зна, и не знала, как мне быть
Неуже, неужели нашу свадьбу
Ой до убо, до уборки отложить?

4.
А пото-о-о-ом, а потом сообразила,
Выход пра, выход правильный нашла
В тот же день, в тот же день письмо на почту
Ой самоли, самолично отнесла.

5.
В том письме-е-е, в том письме прошу сердечно
Наш родной, наш родной Аэрофлот,
Чтоб на по, чтоб на поиски отправил
Ой самый лу, самый лучший вертолёт.

Мы, нижеподписавшиеся владельцы (собственники) частных оленей, возмущены необоснованным решением правления ТОО «Тундра», которое определило плату за выпас частных оленей в размере за одну голову 2500 рублей в год. Мы считаем, что плата, установленная решением ТОО «Тундра», явно завышена даже в пределах максимально допустимой, с чем мы категорически не согласны. Даже сегодня, несмотря на то, что наши олени находятся на грани исчезновения, мы продолжаем ежегодно платить за выпас своих оленей. И это тогда, когда стало слишком много случайных людей, не любящих тундру, не понимающих её.

Такие, услышав краем уха слова «тундра – закон», понимают это как полное беззаконие, «что хочу, то и ворочу». Плывут «налево» оленьи меха, туши оленей. Когда чужие люди, экипированные с ног до головы, с нарезным оружием спокойно разъезжают на дорогих импортных снегоходах, надругались над благороднейшими обычаями, теми добрыми ростками человеческих взаимоотношений, которые подарило нам прошлое. Именно поэтому не всегда выходят олени, и получается, что платим за воздух. Хотя предприимчивые люди из этого воздуха делают деньги, и немалые. Надо бы ухватиться за наши обычаи, удивиться бы душой и сердцем, развить их – нет, растоптали. Традиции заменили сиюминутной выгодой, голым рублём и водкой. Беда в том, что введя в действие новую плату, мы толчем воду в ступе. Мы письменно и через наших депутатов обращаемся во все инстанции, что продолжается планомерное истребление нашей земли. Нет не нашими оленями, а частными вездеходами и снегоходами. И когда начинается подсчёт оленей, именно они, и никто другой выезжают на своих вездеходах и снегоходах за сбором оброка, платя за оленьи туши по очень упрощенной и давно знакомой схеме: оленья туша – бутылка». В скором будущем будут полностью уничтожены оленьи пастбища, бруснично-клюквенные ягодники, полностью выбьют всё поголовье оленей.

На нашем Севере нет белых пятен, все земли, реки, озёра, леса и даже болота поделены между родами и семьями самой жизнью. Это складывалось веками. Земля принимала столько людей, сколько могла прокормить. Сегодня этот баланс нарушен. Наступила дисгармония. У нас не будет земли, у нас не будет оленьих пастбищ. Именно против этого нам надо всем бороться. А потеряв свою землю, человек изменит род своих занятий. А потеряв свою землю, человек изменит род своих занятий. Изменив род своих занятий, человек поменяет образ жизни. Поменяв образ своей жизни,

человек утратит внутренние этнические особенности, а утратив этнические особенности, растеряет культурно-нравственные ценности своего народа. Он потеряет, перестанет нести в себе суть той национальности, которую представляет. Саами перестанет быть саами, коми перестанет быть коми, ненец перестанет быть ненцем, получится что-то усредненное, серое, жаждущее поесть, поспать, напиться. Он потеряет самое главное: культуру иметь семейные, межродовые, межнациональные отношения, выработанные его народом.

Дисгармония экономических и экологических отношений влечёт за собой дисгармонию межнациональных отношений. И если мы действительно хотим что-то изменить, нам надо это признать. Мы в настоящее время нуждаемся в помощи. Главное для нас – земля, мы должны иметь перспективу на выживание, у нас должна быть хотя бы надежда. Считаем, что земля наших предков должна принадлежать нам, мы должны быть хозяевами нашей земли.

Подготовка к путине

Пола мокра, так брюхо сыто
Поморская поговорка

По реке несло серый, жухлый лёд, но мужики уже готовились к путине. Ибо в конце мая уже уезжали на весенние тони, такие как: Красный Нос; Терско-Орловский, Подконёвка, Кузьмин, Бухта Революции и другие. Раньше вообще стояло семнадцать неводов в шахматном порядке и все ловили и выполняли план.

Вечерние зори за рекой стали сиреневыми, гасли поздно. С утра до ночи стучали топоры, пахло краской. Ещё жидкое весеннее солнце разливалось по талой земле. Почки на деревьях разрывало бледной зеленью. Новая трава не прорезалась, летошняя трава прела, обугленная снежной влагой, кругом покой, лишь лёгкий ветер играл молодо и упруго. Чуть повыше склада

МРС (морские рыболовные снасти) на горушке, мужики занимались снастями.

Дядя Лёня Попыванов и дядя Толя Пряников, лучшие плотники на селе, готовили карбаса к путине. Они возились у чадящего котла с длинной кистью и были похожи в клубах дыма на печальных сгорбленных чертей, давно потерявших веру во всякое бытие. Именно этим людям из года в год доводилось смолить и конопатить карбаса и доры, что они делали на совесть и с большой любовью.

Посередине горушки горел костёр, над которым стоял чёрный котёл с кипящей смолой. Отовсюду доносился запах смолы, свежевыструганных досок, даже рыбьей чешуи. Слышались визжание пил, стук топоров, дробное постукивание молотков. На одном из карбасов сидели выпачканные смолой наши плотники. Здесь же крутились и мы, мальчишки, собирали смолу (пек), и жевали её, как жвачку.

В это время остальные мужики насаживали неводную дель на обрезки водопроводных труб, чтобы потом протянуть сквозь трубы нескончаемую сизалевую верёвку, по верёвке с припуском расправить сеть, для верха один припуск, для низа другой. Председатель Михаил Егорович Русинов расхаживал по горушке, выслушивая короткие доклады рыбаков, делая попутные замечания, записывая что-то в свой пропитанный рыбьим жиром блокнот.

Всех охватило радостное чувство, которое обычно бывает у рыбаков в преддверии весны, когда каждый день приближает выход рыбацкой флотилии на реку и море и первое притонение в холодной воде, по которой ещё плывут почерневшие льдины.

Древняя земля исходила, дымилась на проталинах, пар поднимался к небу, как дым благодарственных молебнов. И жухлый серый лёд на реке казался в весеннем солнце чужим, отжившим свой век, нездешнего мира веществом. Сети растягивались на вешалах, лежали на земле, аккуратные мотки верёвок висели на кольях, змеились по земле.

А около электростанции на горушке возились с дорами мотористы Тарасенко Николай, Попов Виктор, Матрёхин Владимир под руководством своего механика Совкина Ивана Фёдоровича. Иван Фёдорович заслуживает отдельных благодарных слов: именно он, будучи самоучкой, многих научил, привил им любовь к технике, в их числе был и я, и мой брат Василий. У кого сломается стиральная или швейная машинка – идут все к Ивану Фёдоровичу, своему Самоделкину. До сих пор помню его слова и часто повторяю на практике с детьми: «Надерёт холку, наберёшься толку».

Они копались в самом сердце двигателей, понимая друг друга без слов, одними глазами показывая, какой надо подать ключ или отвёртку. Вообще много было толковых, знающих людей в Поное, таких как: Харлин Александр Алексеевич, вечный бригадир рыболовных бригад; Харлин Иван Гаврилович, председатель Сельского Совета; Долгих Павел Иванович, впоследствии председатель колхоза; Долгих Пётр Иванович, также бывший председатель колхоза; Устинов Геннадий Михайлович, сменивший на председательском посту Петра Ивановича; Куроптев Савватий Яковлевич, бригадир-оленевод. Да разве всех перечесть… Опыт их проступал зримо, то в отзыве, то в совете, оброненном словно ненароком и кратко. Зуйками звали нас, подростков, когда мы помогали колхозу то на рыбалке, то в перевозке сена на оленях, никогда не забуду слов дяди Шуры Харлина. Сколько лет работал с этим человеком, ни разу не слышно было от него мата.

Как-то мы, зуйки, я, Вася Русинов, Ваня Канев, были в бригаде Александра Алексеевича, заводили ставной невод на реке. И неправильно кто-то из нас натянул оттяжку от якоря, здесь и сказал дядя Шура своё крепкое слово: «Туес берёзовый». Это всё ругательство, которое он, наверное, знал.

1967 год

Пожар

Это случилось в канун Нового, 1971, года. Было морозно. Падал редкий и мелкий снег, будто иней осыпался с черного вечернего неба. В сельском клубе демонстрировали художественный фильм «Цыган». И на самом интересном эпизоде, где встретились Будулай с Клавдией, кто-то забежал в клуб и сообщил, что пожар.

За всё существование Поноя я не помню, чтобы что-нибудь горело. Все выскочили на улицу. Горел дом одинокой старушки Матрёны Совкиной. Первым, кто прибежал к дому, был Борис Куковеров, который сразу же попытался проникнуть в дом. Когда выбил окна, пламя вырвалось наружу. Мужики, Иван Фёдорович Совкин, Виктор Попов, Николай Тарасенко, которые работали механизаторами, подтащили помпу. Насос поставили возле колодца. И, быстро поколдовав над помпой, начали качать воду. Володя Матрёхин откуда-то вытащил длинный чёрный лом. Подоспевшие солдаты (воинская часть находилась на противоположном

берегу реки, на горе) поддели ломом дверь. Двери распахнулись, из них повалил дым. И тут вся крыша дома со всех сторон одним духом вспыхнула. Мужики пятились перед огнём на конёк дома, отмахивались от жара пустыми вёдрами. Пламя шло по крыше волглыми языками. Первая струя ослепительно разлетелась в воздухе, ударила в небо и крупно посыпалась на дом. Куроптев Саша боком лёг на кровлю, поджал ноги, закрыл лицо руками и покатился вниз. Серёга Литусов, размахивая руками и что-то крича, побежал с крыши и высоко прыгнул через пламя. Пожар шумел внутри дома. Председатель, ругаясь оглушительными словами, что-то приказывал мужикам. Какой-то солдат стоял в дверях, глядел туда, во мглу, и что-то тоже кричал. Воду больше не таскали вёдрами, две помпы накачивали шланги. Шланги вздулись и вздрагивали на земле как змеи. Один шланг был худой, вода била из него покачивающейся струйкой.

Через два часа пожар полностью был погашен и народ расходился с него, делясь догадками, отчего мог возникнуть пожар. Дом был разделён на две половины, в одной жила старушка Матрёна, а в другой – бухгалтер колхоза Рудакова. Постоялица в то время находилась на работе в колхозной конторе, верстала годовой отчёт. Дома оставались одни дети, которые играли со спичками и подожгли одежду, что висела у входной двери. Испугавшись, дети бросились на ферму, где работал ночным сторожем брат бухгалтера. Хотя контора колхоза находилась почти напротив сгоревшего дома…

Покров день

Ни знакомых камней-валунов,
Ни единого пня,
Всё зима замела.
Но она не обманет меня.

А. Решетов

На покров снега жди. Не он ли мчит на перекладных, свищет злодейски в занебесье, но стелет землю мягко, вкрадчиво, боится напугать? Вот он по-кошачьи лизнул стену, попросился в избу, с шуршанием осёкся по-над оконьями – умчался. У первого снеговея свои заботы, он землю пробует: готова ли, родимая, встретить зиму. Снег скоро кончил сыпать, и под чёрным низким небом белая земля безрадостно осветилась. Там, где быть деревне родимой, и полям, и морю, стоял предутренний мрак, особенно густой и глухой. На Покрова снега долго не залежались. Пошли укосные сиротские дожди и начисто смыли их. Ещё недолго, как наваждение о былом снеге, светилась на отросшей отаве тонкая неживая плесень, пахнущая огурцами, но вскоре и её съел обложник. От осеннего паводка, от частого дождя река налилась по самые берегины, местами покрыла и наволоки темной от горных ручьёв водою. Слезливая темь, едва прерываемая редкими сполохами, клубилась на воле: там, окутанная мглой и взрыхлённая воздушными токами, стекленела морская безлюдная равнина. Всё, что было на земле, и в воде, и в пространствах вокруг её, углублялось, погружалось, уходило в себя, готовилось к долгой зиме.

Мне же вспоминается 1973 год. Год этот был необычным. Ещё стояли за рекой деревья в осенней своей поре - желтели и багрянились, когда нежданно-негаданно, на третий день Покрова, ударил мороз. Ударил и не отпускал день, другой, третий. Обычно к Покрову вытаскивали все невода, не дожидаясь конца

главного похода сёмги, то есть от Спаса (14 августа) и до конца октября, когда шла самая крупная и постоянная осенняя сёмга. Прибылые покровские воды были большими и доходили до самого Пахтенного порога, спирая его. И дора смело подходила к самому Маремесьевскому складу, где мы разгружали рыболовные снасти, а затем развешивали их на вешала и после просушки убирали на склад.

В этот раз очень рано установилось студеное предзимье. Снегу выпало немного и он, замусоренный и смешанный грязью, лежал только в низинах. Птицы улетели. Каждый день дул холодный северный ветер – к ранней зиме. Окаймлённые травой плёсы замёрзли, и странно было смотреть на них. В ветреную погоду, лёд блестит, будто спокойная вода, а трава волнуется. Отчаянная ребятня подалась на реку. Полоротые хозяева выбивали по дворам вершковый лёд из бочек и баков, матеря дурачью погоду. Коров на улицу уже не пускали, но овцы всё ещё паслись по буграм: досыта не наедятся, а лишний пуд сена сбережётся.

Ночи были темные и звёздные. Тревожа стариковский сон, гулял над деревней северный ветер, печалью посвистывал в ветвях берёз, гремел оторвавшимся жестяным листом на крыше, тревожно гудел в жестяной листве деревьев, в печной трубе. Холодно, неуютно. Тонкий вислопузый месяц поглядывал в окошко. С жестяным дребезгом рокотало на воле чугунелое от мороза бельё. Время от времени потрескивало и постанывало что-то в доме. Будто и вправду тихо бродил по комнатам домовой. Но лёгкие шаги его и сдержанные стоны не мешали людям спать и видеть сны, многие из которых – верь или не верь – бывают вещими.

На драной овчине неба порою солнце проглядывало, но деревня гляделась по-осеннему хмурой. Убитая морозом листва деревьев стекла на землю. Всё обнажилось, проредилось. Далеко стало видать на все четыре стороны. В середине октября нахлынули на По-

ной с просторов Ледовитого океана ещё пуще холодные северные ветра. Небо помрачнело, и зарядил до самых заморозков мелкий, сеющий дождь. Ночь. С дальних гребней востока пришла и опустилась глухая осенняя тьма. Над угорами, над рекой зажёг зарево месяц. Голубыми бриллиантами обсыпали небо звёзды. Усеянное призрачными звёздами, всё живое погрузилось в сон. Нигде ни ругани, ни вскрика, ничего злого нет в этом заснувшем мире. Облитая сиянием древняя поморская земля ровно и могуче дышит. Тихим и ласковым покоем объят мир. Пришла чёрная, слякотная пора, когда тусклый день встает нехотя и скоро гаснет, глухая же волчья ночь без поры.

Помощь колхозу

В печи потрескивало, стреляя на шесток подсохшие за ночь дрова, дым с языком пламени тянуло в трубу, золотистым кружевом сгорала сажа. Гулко постукивали ухваты, пошаркивались по шестку чугуны и горшки – кипело, варилось и парилось, для семьи и для скотины. До восьми часов надо было успеть обрядиться, а в восемь, оставив спящих детей, мать уходила на работу по наряду. «Сегодня на овощехранилище или на вывозку навоза?» – думала она.

На колхозных полях выращивали всё: картофель, капусту, морковь, брюкву, всё это складывали в овощехранилище.

Сначала за окнами послышался топот ног, затем кто-то резко стукнул в окно.

– Клавдия, выходи!

Немного погодя:

– Трошиха, тебя в правление вызывали, и Кольку буди тоже, ему за сеном ехать!

Это крикнула баба Лиза, рассыльная, на селе её звали Лиза-Муха.

Вообще-то в селе всех женщин звали по имени мужа или по фамилии его. У мамы муж Трофим, то есть наш отец, значит мама – Трошиха. Если у кого муж Пётр, то жена Петрушиха, если фамилия Лушев, то жена Лушиха, Бушмарёв – Бушмариха, Шошин – Шошиха и так далее.

Стал собираться и я. На зимних каникулах мы помогали колхозу: то доверят нам оленей привезти сена с дальних покосов, например, с Широпялки, то дров распилить, норма пять кубов в день, да и мало ли дел надо сделать.

С дровами история отдельная. Выбирали что-нибудь помельче, но уже давно всё перебрано, пересортировано, взваливали на козлы, принимались пилить. Пила, конечно, не знала давно подпилка, зубья стёрлись, закруглились. Надо не пилить, а рвать дерево. Отваливаем одну, другую чурку. Сдвигаем на затылки шапки, расстегиваем фуфайки – пар из-под них. Погода морозная и солнечная, воздух, как вода родниковая, прихваченная ледком. И видно неотразимо далеко во все стороны.

Березняк за рекой заледенел, опушился инеем, на горе сияющая белая папаха. Колем чурки на поленья, складываем в штабелёк. Кладём хитро, так, чтобы больше казалось – с воздухом между поленьями. Пётр Иванович Долгих, председатель колхоза, ещё с вечера дал нам наряд ехать за сеном в Широпялку. Мы – это Саша Куроптев, Лёша Шошин, Ваня Канев, Вася Русинов и я. Олени уже с вечера были пригнаны с кегеры[1] и стояли у домов, чтобы утром ехать как можно пораньше. Наскоро позавтракав, схватив с собой паужин[2], оделся и вышел на улицу.

---

[1] Кегора – удобная для выпаса оленей, обильная ягелем местность. До кегоры едёш, штоб оленей накормить. Поной.

[2] Паужин – приём пищи между обедом и ужином. А после обеда паужина называецця, до ужина ешшэ. Поной.

Насквозь прохватывал чуть морозный ветер. Западный ветер поднимал с улиц мелкую снежную пыль, которая неслась по воздуху прозрачными облаками и струилась змейками по поверхности снега. Низкое солнце уже было чуть видно сквозь пелену этой пыли. Утро, подкованное легким морозцем, бодрило и отбивало сон. Горы нахмурились, будто вплотную придвинулись к селу. С гор тени сваливались в котловину, где стояло село облака, сгущая до того сумрачное утро.

Бычьим рогом вынырнул месяц из туч. Едва показалась над Поноем алая краюха солнца. Бездомный ветер рыскал по пустынным улкам[3], наметал сугробы под домами. Студеный ветер гнал с гор снежинки. Село казалось покинутым, после снегопадов и метелей улица тонула в снегу, около домов не расчищена и ни души.

На запряжку оленей ушло минут пятнадцать, когда выехали, уже рассвело. Месяц исчез, и солнце тугим малиновым краем поднялось над заснеженной тундрой, холоднее стало на восходе. Скрипят сани, олени – кричи не кричи – размеренно переставляют ноги. Пар от морд оленьих, пар от дыхания людей, снега во все стороны. Я соскочил с саней, чтобы пробежаться. Эх, мать родная! Озяб. Ветер подхлёстывал сзади, тянул по гладкому санному следу, будто по желобам позёмку. Солнце изредка роняло сквозь мутную пелену летящего снега серебряные иглы остывших лучей. Лёд на реке стрелял, растрескиваясь от одного берега до другого. Ехали бродом[4]. Снег хрустел под ногами, шурша, сыпался с ветвей невысоких, отливавших синевой берез. Было ещё темновато, однако рассвет

---

[3] Улка – промежуток между двумя рядами домов в населённом пункте. Не нать на улку ходить; комары кусают. Поной.

[4] Брод – глубокий рыхлый снег, снежная целина. Брод – навалит снегу, бродом бредёшь. Брела по броду. Поной.

уже стегал светлыми прутьями, тянувшимися по краю опушки с востока. Кое-где были наметены сумёты[5], изредка появлялось зимнее лучистое солнце. Из-под копыт оленей сыпались снежные комья, запорашивало глаза, в ушах свистел ветер.

Часа через два подкатили к зародам, на них тихий зимний простор. По глубокому зимнему небу легко и неторопливо плывут облака, по краям золотистые от солнца. Воздух колкий, хрустальный. Легковесны и стройны опушенные инеем березы. В их затаенной глуши – звонкий морозный треск. Снежная тундра с застывшими волнами наста вдруг порозовела от холодного солнца.

Нам предстояло наложить сено в ташки[6], чтобы потом его подвезти к Белому носку и скатить в меличном ручье[7], где после загрузят их на тракторные сани и доставят на МТФ.

Погода резко ухудшилась, пошёл снег, да ещё и с дождём. Он всё шёл и шёл, промозглый, нескончаемый. И вдруг повалил густыми, лохматыми перьями только снег. Снег сыпался сверху тяжело и торопливо, плотной шторой занавесив со всех сторон и до того тусклое пространство. Через несколько минут мокрая тундра, наезженная дорога – всё было залеплено, укрыто им, точно с неба упала гигантская простыня. Клочья этой простыни висели на кустах, на дымящихся крупах оленей. Снег то переставал, и тогда открывались побелев-

---

[5] Сумёт – сугроб. Большой сумёт наведёт таким горбом, хрептом. Поной.

[6] Ташка – связка чего-либо, предназначена для переноски. Николай, тот ушол веникоф резать – принесёт ташку. Либо рыболовная дель, в которую налаживают сено и спускают с горы, или тоже переносят. Ташки несёт сена. Поной.

[7] Меличный – относящийся к мельнице, мельничный. В меличном ручью жернова. Поной.

шие просторы, виделись по сторонам заснеженные холмы, то снова начинал сыпаться гуще прежнего. В воздухе всё холодало. Слева осталась Карповка, не видимая сейчас за сплошной качающейся серой стеной падающего снега.

В Поморье каждый час другую погоду родит.

Пока нагрузили ташки сена на сани, пошла поносуха[8]. Ветер гнал снежный торок[9], студёно-сизыми вихрями кружился перед оленьей упряжкой, торопливо кидал охапки весёлой пороши, укрывая следы, где вырастали пышные, сахарно-чистые сугробы. В тундре бешено гулял ветер. Он обдирал лицо и руки холодом, слепил глаза колючей заметью. Короток зимний день, но ещё короче тусклый обрывок вечера. Не видно закатного багрянца в сплошном снегопаде, будто чёрным ходом солнце ушло на покой; не сверкнёт улыбкой голубая зарница из-за туч.

Пурга не заставила себя ждать. Как-то разом налетел, рванул ветер, закрутился крупный снег, стало темно, и в полчаса замело дорогу. Колючий ветер бил в лицо, налетал сбоку, со спины, на глазах заметал свежий след, и чуть упадёт человек, на нём уже целая гора. В этой горячей снеговой постели можно навеки остаться.

Пурга разбушевалась уже в полную силу, кромешная тьма окутала всё вокруг, всё вертелось, кружилось, будто сама земля перешла в неистовство. Горькое горе попасть в такие метели, по-местному хивуса. Это когда снег носится целыми тучами с одного места на другое. Тут один исход: если нет подле спасательной избушки и высокого подветренного бугра, обернуть сани вверх копыльями, лечь под них.

---

[8] Поносуха – метель. Поносуха -- катит по земли снек. Поной.

[9] Торок – порыв ветра, вихрь, иногда с дождём, градом, грозой. Ветёр тороком пал. Поной.

Бушевала метель. Бесконечное множество снежинок, поднятых ветром, кружилось в воздухе. Ни звёзд, ни месяца не было видно. Ветер свистел, хлестал в лицо колючей снежной крупой. Я закрывал лицо варежкой, стряхивал снег, олени с трудом преодолевали напор ветра.

Когда подъезжали к Белому носку, снег и поносуха прекратились, сразу посветлело, горизонты распахнулись. Ветер заметно ослабел. Небо местами прочистилось, и кое-где заискрились подслеповатые мерцающие звёзды. Побелел восточный склон неба. Ущербный месяц светил в прощелину беспорядочно нагромождённых туч. Земля лежала под серебристым инеем. Небо заполонили зелёные горошины звёзд, но ветер, стихая, по-прежнему гудел, особенно с моря, выстанывал, оглушал. И ничего, кроме ветра. Кричи во всё горло, а в двух шагах не услышишь

Тундра, ещё сегодня утром грязно-серая, унылая, обессилевшая, от края до края помолодела и обновилась. Укрытая ослепительной белизны снегом, она будто вздохнула облегчённо и, как человек, наработавшийся за день и добравшийся наконец до постели, затихла.

Боясь шевельнуться, боясь нарушить этот сладкий сон тундры, безмолвно стояли карликовые берёзки с отяжелевшими, заснеженными ветками. Безмолвно плавали где-то между серых облаков побелевшие Вороньи пахты[10]. Утесы то виднелись сквозь клочья туч, то исчезали, и казалось, каменные великаны кланяются земле, свершившей то, что положено свершать ей от сотворения мира каждый год: весной, проснувшись, зацвести, всё лето зреть и наливаться силами, а осенью радостно и щедро рожать и, обессилев, ложиться под снег и копить всю зиму новые жизненные соки.

---

[10] Пахта – отвесная скала над водой. Поной.

Часа через полтора выглянувшая в просвете туч луна кинула жёлтый зыбкий свет на горстку домов, нескладно разбросанных по берегу.

Наконец-то дома, мы дома!

1966 год

Приезд в Поной

1982 год. Я не стал дожидаться прибытия парохода в Сосновку и решил пойти пешком в Поной. Тем более через каждый километр по побережью стояли тоневые избушки, теперь уже редких.

Охваченные неярким пожаром увядания, берёзы по ручьям встретили меня сухим похрустыванием тропинок и тихим посвистом листопада. В последний раз перед тем, как надолго лечь в зимнюю постель, белотелые берёзы промывали свои золотые косы в чистой синеве неба; тонко, но остро пахло палым листом; где-то совсем близко сочился ключ, роняя в тишину ясный звон капель. Почти скрытый густой травой, он блеснул желтизной песка, и я опустился на колени. На поверхности родничка плавали блеклые листья, смутные их тени ползали по песчаному дну, сквозь песок, негромко побулькивая, курились желтые вулканчики.

Сдув листья, я припал к ключу, всасывая через занывшие зубы обжигающий холодок воды. Потом ополоснул лицо, вымыл руки и долго сидел так, наслаждаясь бесхитростной музыкой рождавшихся в тишине капель. Отдохнув, я поднялся и зашагал дальше. На взгорье постоял, заслоняясь ладонью от солнца: высоко в небе, тоскливо гогоча, ниточкой тянулись гуси, может быть, унося на своих крыльях последнее тепло северного лета. Окинул взглядом открывшийся с взгорья родимый сердцу простор и не спеша зашагал навстречу тянувшему с тундры ветерку.

Небо всё выше поднимало светлеющую синеву, всё прозрачней и торжественной становился восток, одевая в искристый пурпур рождающееся солнце. Бодрым гомоном пробуждался мир пернатых в березняке, что зеленел за речкой. К пению ранних птиц присоединялись всё новые и новые голоса пробуждавшегося мира пернатых. Стайки куропачьих выводков, громко треща крыльями, выпархивали из-под ног. Кровавокрасная луна поднялась на косогор неба. Ветерок прошумел по верхушкам берёз. Бодрящие запахи незабудок струились в голубизне росистого утра.

Лёгкие испарения поднимались с лужайки навстречу солнцу, купавшемуся в неотразимых глубинах небес.

Дойдя до кузьминской избушки, я решил отдохнуть, вечер был ещё светел, но сумерки уже настигали.

По небу поплыли тучи, низкие, серые, холодные. С улицы медленно текли сумерки, сгущались по углам, заполняли избу. Я не зажигал лампу, долго сидел в потёмках. Покидая землю, солнце ползло по стволам бе-

рёз, зажигая лоскутки отставшей кожицы, похожей на луковичную шелуху, добиралось до кроны и, омыв закатным огнём верхушки, точно гасило их на ночь. Спать не хотелось, и чуть забрезжил рассвет, я уже покинул избушку.

Подходя к Лопскому ручью, я окинул взглядом акварель ярких красок осени. Да, отшумело зелёным шумом лето, незаметно подоспела осень, тронула желтизной берёзы. Луговой берег точно придвинулся ближе, дали прояснились, и каждый зарод за рекой (зароды остались, когда ещё были бурёнушки) обозначился чётко, как нарисованный и как бы вчера скошенный и уложенный. Прочертились, потемнели дороги, петлявшие к реке, и небо над ней засинело по-осеннему ярко, в синеве этой уже не было тепла, а сквозила предзимняя стылость.

Утро выдалось на редкость солнечное. Листья берёз, рябины светились богатым разноцветным золотом. Среди ярких красок неприступно мрачно темнели вековые горы, под которыми, словно в крепости, расположилась деревня. Всё это увиделось сразу, одним скользящим взглядом и мгновенно обозначилось в душе бессловесно и сладостно-грустно до слезливой шероховатинки в горле: родина, вот она – великая радость. На закрайке деревни пронзительно кричали чайки-клуши: они словно бы провожали и встречали каждого, кто входил в село.

И уже на удалении долго слышалось их прерывистое стенание. Эта птица тоже была знакома моей родине, как и задумчивый дозор редких тоньских избушек, оставшихся за спиной по всей прибрежной горе, как и ребристые остатки рыбацких карбасов, покрытых ржавью и плесенью, так похожих на остовы огромных объеденных рыб, как и обветшавшая рванина старых неводов, ставленных когда-то в тени крутых морщинистых ручьевин.

Смотрел вокруг, как дитя, которое разлучили с кормилицей. Здесь я родился, рос, познал радость любви. Это была отчизна, начало всех начал, первый и последний вздох человека. Как же не горевать мне было в этом пасмурном рассвете, на безлюдном берегу среди оставшихся домов, среди вытащенных на берег чёрных карбасов и мотодор, среди нагих сизых брёвен, которые были с таким трудом доставлены на этот угор. У деревни, в которой я не был много лет, на которую глядел теперь со стороны моря, узнавал и не узнавал?..

Я всё стоял в нерешительности, всё глядел на скопление человеческих жилищ, вспоминая далёкое детство и юность. Легко кружил снег, редкий, призрачный. Горы с округленными вершинами мягко спускались в воду, казалось, купались в ней. Нравилось моё село, живописно лепившееся у берега, оно лежало на ровной площадке. Светлые, рядами выстроенные дома тянулись к реке, дальние убегали к горе, стеной прикрывшие село от свирепых ветров. Снег местами белел на склонах – видно, ещё с лета; быть может, оттого берег выглядел светлым. Вон и мой дом, дверь, подпёртая батожком, как будто хозяева вышли на минутку или ушли на шолоники за ягодой, и не будь этого батожка, кажется, что сейчас выйдет мама на крылечко, перемыв всю посуду, всё перескоблив в избе, в сенях, разостлав нарядные, пёстрые и брезентовые половики, до блеска начистив старинный медный рукомойник и таз.

Сейчас мне стали понятней рассуждения отца о постройке нового крепкого бревенчатого дома как о чём-то необходимом не только в житейском смысле, но и уже для души, для укрепления родовых корней и чувства хозяина на своей земле. И как не вспомнить благодарно основателя села, облюбовавшего этот высокий угор! Ни одно место на земле не сравнится с ним. Здесь мой дом. Этот весь широко простирающийся простор с извилистым Поноем, с тропинками, исхоженными с

детства. И верится мне, что будет вечной и прекрасной жизнь на этой благословенной земле, как вечно бьют из её глубин живые родники.

Пурга

Мне вспоминается пурга 1960 года. Было мне в ту пору всего восемь лет. Такой пурги за всю жизнь я никогда больше не видел. Двое суток над Поноем свирепствовала страшная буря, какой даже древние старики не помнили в этих краях. Ураганный ветер не утихал ни на минуту, словно пытался снести с лица земли всё живое. Он ломал и корежил берёзы в редких берёзовых вараках[1], срывал с деревенских изб крыши, словно спички в спичечном коробке, уложил брёвнышко к брёвнышку новую овчарню. По улицам катало пустые бочки, принесённые от электростанции.

Люди и днём сидели при свете керосиновых ламп. Некоторые дома начисто похоронило под снежными сугробами. Потом избы отыскивали по дымам из печных труб и откапывали всем миром. А в избе жарко, керосиновая лампа разливает жёлтый свет и тихо попискивает, выгорая.

Отец горбится на своей низенькой табуретке, чинит наши валенки. В зубах у него чёрная, просмоленная варом дратва с иглой на конце. Отец ловко ковыряет шильцем, багровея лицом, растягивает дратву за концы обеими руками и ворчит не сердито, по привычке:

– Как на огне обувка горит, ядрёна корень. Где же её напастись, ежли только и умеете, что глызы[2] пинать…

---

[1] Варака – гора, сопка. Высоки места – вараки. Поной

[2] Глыза – кусок чего-либо. Глызу сахару большую взял. Поной

В комнате бабушка Наталья качает зыбку и убаюкивает брата Володю. Сестры Римма и Саша и мы с братом Василием спим в той же комнате.

Проснулся я поздно и по радостному визгу Василия и сестрёнок сразу определил, что в избе творится что-то интересное. Живо спрыгнул с печи и чуть не наступил на лежавшего в углу, у порога ягнёночка.

Вот она, радость-то какая! Значит, овца ночью окотилась! Ягнёночек был чёрный, с белой звёздочкой на лбу, и вместо рожек на затылке у него нежно курчавилась не обсохшая ещё шёрстка. Он удивлёнными круглыми, как у плюшевого медвежонка, глазами глядел на пляшущих вокруг него ребятишек. Наконец ему самому захотелось поиграть с нами, он стал подниматься, но слабые ножки подкосились, ягнёночек завалился на бок. Римма помогла ему встать, он широко растопырил дрожащие ножки, постоял немного, нагнув голову, будто примериваясь бодаться, и вдруг подкинул зад, начал козлыкать по избе, забавно топоча жиденькими ещё жёлтыми копытцами.

– Рановато ещё разбойничать, – строго сказала бабушка. – На-ко вот лучше подкрепись.

Она поднесла ягнёнку миску жёлтого густого, как сметана, молозива[3].

Ягнёнок бестолково засуетился, тыча смешной мордочкой мимо миски. И не успела бабушка отойти, как у ягнёночка из длинного пупка под животом побежала тоненькая струйка

– Вот-вот, – засуетилась бабушка, – бедные ещё за стол не садились, а богатые уже до ветру пошли. Этого гостенька я быстро в стайку отправлю.

Буря утихла утром третьего дня. Как ни в чём не бывало, любопытствующим оком выглянуло из-за горизонта солнце, словно хотело посмотреть, что здесь натво-

---

[3] Молозиво – сдоенное молоко коровы после отёла.

рилось за эти два дня, пока оно не видело землю. Но никаких следов страшной трагедии на земле не осталось.

Она безмятежно покоилась в розовом сиянии, рябила голубыми сугробами, острые гребни которых лишь чуть-чуть курились позёмкой. Первыми вышли на работу доярки. Они торопились на ферму, где бились, исходили диким рёвом голодные, не доенные двое суток коровы.

Пурга не прошла без трагедии, захватив с собой Николая Шошина. В тот день он выехал на лошади по кличке Громкий из фактории Лахта, где из года в год по договору колхоза «Север» работал на заготовке льда, который добывался в Чайном озере.

Озеро, расположенное на горе, имело своё стратегическое назначение. На нём выпиливались бензопилой большие глыбы льда, называемые «кабаны». Затем на лошади подвозились на край горы, откуда по деревянным лоткам спускались вниз, прямо в помещение фактории, где он равномерно распределялся вдоль стены, находясь там до начала путины, пока не начнут свозить на факторию пойманную рыбу со всех промысловых тонь[4]. Когда доходила до готовности в тузлуке сёмга, её укладывали в продолговатые бочки, называемые чанами, и пересыпали сёмгу этим льдом. Затем судами рыба вывозилась по назначению. Заготовку льда, обычно проводили в марте месяце.

Пурга застала Николая, когда он был уже в пути. Только на третий день, когда стихла пурга, удалось найти его. Нашли его недалеко от ручья Гремяха. Нашли по коню. Громкий стоял, широко расставив дрожащие передние ноги и опустив почти до земли большую голову. Перебитая снегом шерсть смёрзлась на нём сосульками, бока запали, и резко выпирали ши-

---

[4] Тонь – рыболовный участок, предназначенный для ловли рыбы ставным неводом. Поной

рокие рёбра, словно густо набитые на бочку деревянные обручи. И в недвижности своей похож он был на каменное изваяние. И в тусклых, затуманенных слезой глазах, казалось, проглядывала обреченность, страшное предчувствие. Впоследствии конь, может, по случайности, может, по року судьбы был найден недалеко от места гибели своего хозяина: его засосала трясина. И я часто думаю: «Даже смерти бывают одинаковы, да!»

После Громкого был конь Буян. Попал он к нам откуда-то со средней полосы. Мне вспоминается один случай. Зима, дорога в гору, по которой Буян тянет сани, а кто бывал в Поное, тот знает, какие там высокие горы. Конь падает вперёд, напрягшись каждой жилкой, помогая себе всеми четырьмя ногами.

Это сколько же он за свою жизнь перетащил на себе всяких грузов, сколько сделал людям добра! И за всё это люди помнят и благодарят его: розового коня моего детства. И погонять Буяна не надо. Видно, много он принял от человека мук, столько натерпелся побоев, что и теперь боится удара кнута, судорожно дёргается, как от ожога, напрягается каждой жилкой, и тянет, тянет, пока не упадёт, продолжая ползти на коленях. Хорошо знает лошадь своё дело. Пройдёт сотню шагов – бока начинают ходить ходуном, шерсть пятнами темнеет от пота, а в пахах закипает грязная пена. Но всё равно, выгнувшись и опустив почти до земли голову, будет тянуть, пока не остановишь. Буян тяжко вздыхает, переступает клешневатыми ногами на разбитых треснутых копытах. Мы, уже подростки, вытряхиваем из карманов чёрные крошки и подносим на ладони Буяну, как делал его хозяин Виктор Шошин, брат погибшего Николая. Конь осторожно берёт их мягкими тёплыми губами, благодарно кивает головою.

Пялица

Море было неподвижным, шелковистым, едва заметно поднималось и опадало, будто дышало. Небо затягивалось лёгкими светлыми облаками, пряталось в них солнце, светило мутным пятном. А там, над горбатым голубым мысом падали в море веерообразные, бело-синие столбы света, и нестерпимо сияло, вспухало и как бы дымилось в том месте море. Лето стояло прекрасное, радостное, необычно тихое. Мы с мамой плыли в Пялицу к бабушке Федоре погостить. Мама сама была родом из этой деревни. Плыли мы на пароходе «Репин». Пароход был небольшой, серо-грязного цвета, кособокий, как утка с перебитым крылом.

При сильном взводье, часто зарываясь в воду и натужно ревя, выкарабкивался из волн.

Вечер уже померк и неприятно догорел, облака нагромоздились плотно, слегка освещенные по дальней кромке, и оттого непривычно темным для лета чудился мир. Море под предвечерним солнцем густо позеленело и едва колыхалось, морщиня скользкую безбрежную гладь, за которой на самом горизонте, где стекались небо и вода, вставала сизая маревая стена. Ночь родилась тихой и прозрачной: она походила на матовое зеркало, чуть присыпанное серебристой пылью, и оттого странно чудилось, что стоит только напрячь воображение и можно вглядеться в него и запечатлеться в нём надолго. Пароход приплыл утром. За каменистой коргой бросил якорь и всполошил деревню басовитым криком. Низкие облака стремились к югу, моросил стылый обложник, неуютно и сиротливо было в мире.

Море ворочало грязные пенистые валы, и когда оно опадало, набирая силу, вдали, в зыбкой пелене, проступал тусклый лик корабля, расцвеченный желтыми огнями и далёкой игровой музыки. По правой траверзы корабля под июльским ярилом пламенела тунд-

ра, вся обрызганная киноварью мхов и соцветиями конского щавеля, седыми зыбкими лужицами меж них растекался гусиный пух, жалостно поникая цыплячьими пушистыми головками. Тундра жила торопливо, хмельно тянулась к солнцу, вся пестро и зазывно облитая красками. Воздух стеклянно струился, и в этом знойном мареве рыжие глинистые холмушки зыбились, расплывались и казались неприступными горами.

В отличие от других сёл Терского берега Пялица не жалась у воды, не сбегалась в тесный кружок на мысу, а раскинулась широко и вольготно на высокой ровной террасе, отступая от мира к тыльному склону и даже перебросившись несколькими домами на другой берег реки, через которую на ржавых тросах был протянут раскачивающийся над пеной порогов ненадёжный мостик.

А на угоре уже стояли встречающие, среди которых находилась и бабушка Федора. Утро было пасмурное, и мы стояли в окружении родных среди бань, среди вытащенных на берег чёрных карбасов, среди невысоких валов гниющих водорослей, среди нагих сизых брёвен, многие из которых занесены были уже песком, у деревни, в которой я был впервые 10 лет назад, на которую глядел теперь со стороны моря, узнавал и не узнавал…

Немногие женщины и дети, сошедшие вместе с нами с парохода, быстро разошлись по домам, теряясь среди бань, и пароход, выбрав якорь и развернувшись, стал уходить, стал скрываться за горизонтом, а я всё стоял в нерешительности, всё глядел на скопление человеческих жилищ, вспоминая далёкий чистый вечер и то, как я ждал тогда встречи с Пялицей, где родилась моя мама, как впервые 10 лет назад попал сюда.

И как будто бы из тьмы времён появилась опять старенькая дора, гружённая мешками с мукой (где-то, в какой губе дотлевают теперь её многострадальные рёбра?), остановился среди стекленеющих утренних вод, и

якорь плюхнулся, круги от него пошли по всей губе, и заколыхалась опрокинутая, отраженная в розовой воде деревня. Вот от тёмного ещё берега отделилось совсем уж черное пятнышко карбаса с мерно пошевеливающимися усиками вёсел по бортам.

А когда позабылся уж шум мотодоры, а потом прекратились и скрип уключин, и плеск весел, и я ступил на твёрдый песок, другие звуки мгновенно охватили меня: вот с глухим шуршанием трущихся боков кинулись в сторону овцы, вот проехал верхом парень с растопыренными локтями, и фырканье его лошади, мягкий топот копыт по песку долго были слышны между избами, и детские голоса с разных сторон прилетели ко мне, и плеск случайной волны с обнаженных отливом камней.

Там и сям на берегу красно горели и дымили костерки, дети пекли картошку, перебегали от костра к костру, а другие копались в отмелом песке, выковыривая себе морских червей для завтрашней утренней рыбалки, и когда я выбрался на берег с колотящимся от предвкушаемого счастья сердцем, они не оставили своих занятий, но зоркие взгляды их и внимание к себе я сразу почувствовал, и один белоголовый мальчик, когда я проходил мимо костерка, предложил вдруг доверчиво:

– Пацан, а пацан! Картох печёных хочешь дак?

Даже и теперь помню, как я был рад, что мама из этой деревни родом, что живёт тут у меня много близких, которые думали обо мне, и я знал это, и приезжал бы сюда чаще, и мысленно видел бы следы на песке, оставшиеся ещё от моих младенческих ног.

Вот и сейчас был отлив… Широкая песчаная полоса с тёмными пучками водорослей была обнажена под заунывным рассветом. И я пошёл по берегу, как гонимый ветром лист, дошёл до гладкого, с сизым блеском бревна, сел и задумался, глядя на перламутровое от рассвета море.

И мне почему-то захотелось пожить в этой деревне подольше. В деревне, в месте старинного русского поселения, где жизнь идёт не на скорую руку, а постоянная, столетняя, где людей привязывают к дому семья, дети, хозяйство, рождение, привычный наследственный труд и кресты на могилах отцов и дедов.

Много лет спустя – я уже был довольно зрелым человеком – потянуло меня обратно в Пялицу. Помню, как с лёгким сердцем взошёл я по трапу теплохода «Вацлав Воровский», и когда настала ночь, не мог заснуть, стоял на пустой палубе, ждал морской качки. Но не было качки, сияла низкая багровая луна, у борта вспыхивали, мерцали зелёные искры, а широкая лунная дорога тянулась до горизонта и там растворялась в блистающем мраке. А когда проснулся утром, теплоход давно уже стоял в Пялице, на пристани была суета, что-то грузили и выгружали, кричали им махали друг другу. И всё это грянуло на меня, ошеломило до озноба: вот и я здесь, вот и я сам вижу через столько лет эту деревню. Завывали лебедки, туда и сюда поворачивались стрелы, и какой же запах охватил сразу меня - запах моря, свежей и соленой рыбы, дерева, смолы, перегорелого угля, какие тут же возле теплохода, покачивались, скреблись друг о друга бортами карбасы, доры, мотоботы, сколько везде было палуб, рубок, мачт, и какой был к северу за горами, за выходом из губы, глубокий морской простор!

Но меня подстерегало и другое – чувство пустынности, одиночества... Едва устроившись в стареньком дедовом доме, едва напившись чаю из шумящего самовара, едва вслушавшись в музыку местной растяжистой речи, пошёл я на берег губы. Я всё забирал влево, зашёл по песку далеко от деревни и вышел на берег. Всё, что было живо, осталось у меня за спиной, я стоял лицом к воде, к пустыне. Какие увидал я маленькие скрюченные берёзы и елки, какой заунывный ветер мел по берегу песок, катил и катил волну! А противопо-

ложный берег губы был уж совсем дик и пуст, а за ним где-то вдали лежали ещё какие-то деревни, очень редкие, небольшие, и между ними простирались десятки километров пустынного берега, по которому мне было пройти. Что же это, конец света, край земли, всеми забытый? Но почему ж всё-таки легко было у меня на душе, почему светлые были потом мои воспоминания об этом береге, об этих людях, населяющих этот берег?

День прибывал понемногу, как прибывает вода в тихую погоду, я встал и пошёл в деревню. Я очень был рад, что попал снова в родительский дом мамы, мгновенно был очарован просторными сенями, из которых вела лестница на поветь, высокой кроватью с периной в комнате, печкой, окном на море, старой мебелью, запахом столетней жизни.

Я вошёл, самовар уже шумел на столе, а за столом сидел дедушка Саша, радостно смотрел на меня. Не успели мы как следует насладиться чаепитием, не успели наговориться вдоволь, как новая радость ударила мне в сердце: дедушка завтра должен бы ехать на мотодоре к себе на тоню за 20 километров, и я тотчас попросился ехать с ним туда, где я бывал ещё в детстве, и помню, как однажды мы попали в шторм и волна швыряла к нам в карбас мелкую рыбёшку.

Напившись чаю, я пошёл к себе в комнату, сел к окну, стал опять смотреть на море, стал перебирать в памяти все свои прошлые поездки сюда. Я как будто бы высоко вознёсся над Беломорьем, так что всё море и все берега сразу стали видны мне.

Пустыню увидел я. Мелкое море, которое проглядывалось до дна, ржавые пятна болот в лесах, черные оспинки озёр – и ни души уже нигде, кроме как на берегу, ни деревни, ни дорог, ни избушки! Пустыня…

Едкая печаль пришла ко мне. Зачем я опять здесь, зачем с постоянством магнитной стрелки я вновь и вновь стремлюсь сюда? Пришли мне на память заброшенные тони, сизый плавник по всем берегам, низкое

небо, низкие угорья, бесчисленные комары, злобный крик чаек над головой. Вспомнилось мне, как сидел когда-то в бессилии, застигнутый осенним штормом, в деревне, без конца перечитывал старые книги и вёл дневник.

«7 сентября. Вчера и сегодня на море шторм. Ходил по берегу, песок мело, как позёмку. Мутное море, низкое осеннее небо – больше ничего. Ветер шолоник, говорят рыбаки. Не знаю, сколько баллов, но сильный. Вечером вчера усилился чрезвычайно, бил в стену дедовой избы. Стёкла звякали, вздрагивали пол и стол, лампа мигала…

8 сентября. Сегодня облака разошлись, солнце, но ветер не утих, и море по-прежнему бушует. С утра на тони должны были идти доры, но не пошли, и я опять в деревне.

10 сентября. Рано утром шёл сильный снег и потом град. Рыбаки томятся дома, председатель хмурый, несколько дней уже нет никакой связи с тонями, ни карбасы, ни доры не ходят. Прошёл из Мурманска теплоход. Две доры было попытались к нему выбраться, но дошли только до устья реки. Говорят, смотреть страшно было – такую волну роет! Все люди вернулись, будут ждать следующего рейса через неделю.

19 сентября. Пароход опять прошёл мимо. На море ещё волнение, и доры не выходят, уехать нельзя.

20 сентября. Я всё ещё в деревне, погода не устанавливается, доры не ходят».

Но сегодня море было спокойно, и ничего не предвещало непогоды. Я вышел из избы, прошёл проулками, миновал поскотину и поднялся на угоры.

Деревня была подо мною, широко разбежавшаяся по берегу, но всё-таки ничтожно маленькая по сравнению с огромностью губы, образуемой двумя наволоками, далеко выдающимися в море. Нет, думал я, ничего здесь нет среднерусского, где летом сенной дух по лугам, пыльные дороги среди ржи и пшеницы, яблони и

вишни в садах, равнинные извилистые речонки, частые деревеньки, гуси ходят по дорогам, ночные зарницы, пыльные автомашины и комбайны, запахи клевера и ромашки…

И здесь глянешь вдруг из окна, увидишь угол сарая, картошку под окном, дрожащий тёплый воздух над щепной крышей, и дрогнет сердце – повеет Русью. Но переведёшь взгляд дальше, и уже звучит деревянная музыка Севера, видишь изломанные линии изгородей, бегущих вверх и вниз, дворы, бани, амбарушки, расположенные ниже и выше, под разными углами к тебе, старые, сизые, и новые, с висящими из пазов мхом, деревянные гати-мостовые и дощатые мостки в проулках, поющие под ногой, а дальше к горизонту –невысокая пустынная гряда холмов, почти плоская тундровая равнина и река, странно текущая вспять в часы прилива.

И пахнет здесь иначе: пахнет карбасами, просмоленными их бортами, пахнет сетями, и песком, и сладким мхом, и рыбой, и тюленьей кожей. А о соловьях, зарницах, землянике, о пыльных текучих дорогах, о яблоках и вишнях знают здесь только по песням.

Что-то здесь присутствует, какая-то сила в этих домах и людях, и этой природе, которая делает Север ни на что не похожим, древность ли живёт здесь и властвует над всяким или века, которые тут как бы и не текли, новгородская ли жизнь, которая у нас давно прожита и забыта, а тут отдается ещё, как эхо, или белые ночи и море, которое как бы высоко ни поднялся, все, кажется, стоит выше тебя? Да, другая жизнь и берег дальний…

И я тотчас вспомнил, как ехал на лодке вверх по реке Поной на сенокосные угодья, как заплескивала на берега наша ходовая волна, какой стеной стоял тогда кипрей, как плясали хариусы возле перекатов.

Давно уже, давно среди всевозможных моих занятий, увлечений случалась минута, когда я как бы останавливался вдруг с разбега. Это долетал до меня

тихий зов моих покинутых деревень. Ослабленный расстоянием и временем, он всё-таки, тревожил меня.

Знакомо ли вам то грозовое ощущение, когда про себя уже звонко и твердо решил: «Поеду!» Но путешествие ещё впереди, в каком-то счастливейшем будущем, а пока…

Река

За плечами века.
Но столетья пронзаются геном!..
По душе нам река,
Потому что душа по реке нам!

В. Семёнов

Река Поной! С детства ты даришь радость здешним людям, манишь к себе: и рыбёшкой побалуешь, и освежишь тело, и смягчишь душу одним своим видом. Куда бы ни занесла потом судьба понойчан, вспоминая о самом дорогом сердцу уголке земли, они будут прежде всего представлять тебя, Поной, твои торопливые перекаты и дикий лук по твоим берегам, отраженным в светлой воде. И сразу приходит запах свежей осенней листвы. И совсем близко от меня высоко поднимается в небо большой жёлтый лист. Вот ветер уже пропал, а лист всё покачивается в воздухе, и переворачивается, и дрожит. При мглистом свете месяца он сверкает над рекой, словно сотканный из тонкого прозрачного льда.

А берега всё тянутся и тянутся, и нет им конца, и не утомляют они, потому что живописная река делает так много поворотов, так часто меняются картины одна другой краше, что за каждым поворотом ждёшь чего-то нового, и ожидание это оправдывается всякий раз. Лунная ночь преобразила деревню. Избы, деревья, трава – всё было охвачено ровным и мягким светом, всё сияло, и было неузнаваемо в этом сиянии и казалось необычным даже в своих очертаниях, потому что чере-

довалось, перехватывалось, прорезалось чередой глубоких теней. Особенной белизной выделялась дорога и тропинка к Первому взвозу. Глядя на удивительный пейзаж ночной деревни, на миг ощущаешь прелесть этого поистине, подлунного мира и ещё сильней, ещё острей и горше чувствуешь тягу к этой жизни и возможные утраты в ней.

Август рано выхолодил воду. По берегам мягкой преждевременной желтизной проклюнулись березняки. И хотя в тенистых зарослях ещё томилась перезревшая, жарко-сизая черника, её нагоняла, бушуя по холмам и полянам, крупная в тот год брусника. И была ещё осень, тёплая и золотая, она пришла как искупление за дождливое лето, за короткую радость. Утра ещё не было, и земля, вся охваченная трепетной межранью, будто ждала той минуты, когда ночь на востоке отмякнет фиолетовым пятном-широким, не угаданным в границах, и в мире, казавшемся неподвижным, сдвинется что-то с незримого стержня и хлынет зоревой свет.

1972 год, возвращение из армии. Величаво плыли над Поноем-рекой лиловые облака. Щедро лилось ласковое июньское солнце, затухая лишь на короткие часы ночи. Я вышел на крыльцо. Ветер шаром выкатился из черноты дверного проёма, хлопнул печной заслонкой, потёрся о занавеску из старой марли, висевшую над широким окном. Прошёл к берегу и присел на угоре, смотря на короткую чёрную дору, которая неуклюже расталкивает зелёную волну, держа курс к причалу. Кисея облака тянется за ней словно дым. Солнце разгребает волны под низкой, похожей на сковородку кормой доры. Волны несут над собой белую пену. Потом она вдруг исчезает вся без остатка, словно лопнувший мыльный пузырь.

А река бормотала о чём-то, и кто знает, как далеко неслись её прохладные воды. Жизнь, как и река, – с истоком и устьем. У каждого своя река. У одного - извилистая, петлистая, с мелководьем на перекатах, так

что не плыть, а брести приходится; у другого - бурная, клокочущая, несущая воды с такой яростью, будто она накопила силы, чтобы пролететь сто тысяч верст, и вдруг встречается с другой рекой, теряет стремительность, шумливость, и начинается спокойное движение вперёд к устью. Если глянуть с истока, иной думает: нету конца-края течению его реки, и он радуется.

В истоке не оглядываются назад. За плечами розовый туман, и в том тумане игрища, потехи, мать да отец, братья да сестры, бабушки да дедушки, прилежание иль леность – чем любоваться? Зато вперёд глядеть радостно. Неведомые берега тянут к себе, новые люди, встречи, и разминки – жизнь! Вот кто-то пришёл с Корабельного и кричит перевоз. За ним пошёл катер «Одер», за рулём белоголовый мальчишка, а чуть выше порога по тросу ходила сама лодка, натянешь верёвку от троса, и она пойдёт носом против течения, не надо ни гребцов, ни вёсел. Солнце стояло над рекой, кутаясь в прозрачное облако. Шёл прилив, а вместе с ним шли и волны, карбаса покачивались у берега, зарываясь в воду то кормой, то носом.

Рождество

В этой деревне огни не погашены.
Ты мне тоску не пророчь!
Светлыми звёздами нежно украшена
Тихая зимняя ночь.

Н. Рубцов

Призрак солнца, этот верхний, уроненный небом и всосанный чернью каменьев свет предвещал морозы. Скорые. Начнут лопаться за рекой деревья, с глухим звуком станет рвать камни. Раскатываясь по каньону реки, глухой звук будет полниться, приближаться, нарастать и ахнет громом, так, что содрогнутся горы,

рухнут обвалы, увлекая за собою потоки мёрзлых, сыпучих лав. И только тогда, в трескучие морозы, отмучается, успокоится всюду, и в порогах тоже, Поной загонит её под лёд, и только тогда будет возможно пройти к устью, к морю.

Мужики встречали Рождество. Медленно и беззвучно продолжало кружиться небо, снижаясь всё ближе и ближе и набираясь сухо-дымчатой безоблачной плоти. За горой его уже не было, там зияла серая и неприятная пустота, всё небо стянулось и стало над Поноем, точь-в-точь повторяя и цвет его, и форму. Но теперь и вода в Поное, подчиняясь небу, начала движения медленными и правильными, не выплёскиваясь на берег, кругами, будто кто-то, как в чане размешал её и оставил затихать.

Солнце перевалило на понойскую сторону, на закатную, и било прямо в кухонное окно, озаряя его полно и ярко, как чело горящей печи. Стол, за которым сидели, стоял в кухне напротив оконного проёма, солнце и его веселило, ещё больше поднимая настроение. Пили стограммовыми гранёными стаканчиками, как принято в Поное. Выпитую бутылку сунули под лавку. Потом тот же путь проделала и вторая бутылка. Солнце садилось чётко очернённым остывающим диском, свет его в натопленной избе казался жарким. Мужиков пробрал пот.

Январь 1965 года был лют. Скована льдом река, сугробы в проулках слежались. Возьмёшь в руки глыбку снега – звенит, словно новенькая, только что обожженная на огне глиняная крынка. По ночам в темно-синем небе играют сполохи северных сияний.

Но вот наконец мороз немного смяк. На улице было тихо и не так морозно. С севера-востока наползали тяжёлые, занявшие всё небо у горизонта облака. Выйдя на улицу и глянув вокруг и глубоко вдохнув повлажневший воздух, заметил: к ночи ударит заряд. Морянка подходит. В здешних местах бывает так, с

моря подкрадётся непогода – вмиг накроет землю. Широкий сильный ветер понесёт хлопья липкого снега, и ничего вокруг не видно. День, два бесчинствует вьюга. Потом ветер спадёт, обессилев, и берёт тогда деревню в свои ледяные лапы мороз. Полная луна лила яркий белый свет, какой бывает только зимою. Светло было в деревне, как днём, луна, сгорбившись, кралась над крышами домов, чёткие тени лежали на синем снегу. В ту ночь всё было безмолвно, всё застыло от холода, и река простиралась, залитая потоком лунного света, в неизъяснимой тихой печали. Холодно, неуютно.

Большой, хорошо начищенный самовар клокотал и пел на разные голоса, а рядом обтаивал в тарелке кусок оленьего жира. Блины жирно блестели и так приятно пахли, что украдкой сглатывал слюну. Оглядел темное село. Было звёздно и холодно. Тишина такая, какая бывает в рождественскую ночь, кроме скрипа снега под ногами, ни одного звука вокруг.

В соседском доме красновато светилось боковое окошко в кухню. Стукнул в раму. Мелькнула тень на промерзлом стекле; хлопнула дверь сначала в избе, потом в стайке: это мать вышла посмотреть, окотилась ли овца, из-за сильного мороза чаще выходили во двор смотреть скотину. В некоторых домах потянулись белые, прямые струи дыма, тянулись высоко и растворялись в небе: из-за сильного мороза подтапливали.

Луна скрылась, но видно далеко – от звёзд. Крупные чистые звёзды горели в густо-синем небе. Морозно. Лютовали январские морозы, дороги и перепутья заметало сугробами, деревенька затерялась в глубоких снегах. Над жильём синели дымки: люди оберегались от стужи. Птица замерзала на лету. Над Поноем стекался от мороза густой туман. С оглушительным треском на реке лопался лёд. Зимняя река покойно дремала в берегах, храня подо льдом озябшие воды. Бело было вокруг, белым-бело.

Но и под обманчиво-покойной белью видел глаз могучее тело несмирённой реки. Сверху она катила нешироким струистым рукавом, а здесь, на крутом калаче, вдруг начинала разворачиваться, словно плечами раздвигала тесное русло. И, разлившись просторно, успокаивалось. Теперь уже донизу, до моря.

В этот год мы прилетели из школы-интерната на зимние каникулы в канун Рождества. И в этот же день оделись ряжеными, или, как их называют ещё в Поное, шулюхи. Ряженые – и дым вверх коромыслом, сивушенный туманец, прель обтаявших одежд, смех и грай.

И вот, натешивши хозяев, выметутся из избы лихим валом, наплывут на соседнее жильё. А жизнь вечерняя накаляется, ближе к полуночи вовсе кипит и до утра не замирает: кому-то двери приморозят, сани оленьи на крышу заволокут, сажные тропы наведут от избы к избе, от милки к ухажёру, трубу печную заткнут фуфайкой иль перо куриное опустят на нитке да так, что утром не уразуметь, отчего изба полна дыма.

А сколько способов гаданий: то на кофейной гуще, то расплавляли воск, жгли бумагу, гадали на блюдце с золой, ходили по улицам, прислушиваясь, где стукнет дверь или ещё что, кто-то выйдет, значит, в этом доме суженый будет. Ряжеными ходили стар и мал, хотя и были мы пионерами, но очень любили этот праздник. Синие знобящие звёзды близкими гроздьями висели в фиолетовом небе, а мы всё не могли успокоиться.

На севере, за деревней бесшумно и призрачно ворочались необъятные сполохи: на святки гулял везде дородный мороз. Жёлтым нездешним светом источались повсюду и мерцали под луною снега, далеко вокруг дымились густо скопившиеся в деревне дома.

Ночь выдалась морозная, ясная. Сгорбленный месяц висел низко-низко, казалось, что он вот-вот заденет одним своим рогом за гору и повиснет. Месяц

висел над клубной трубой, высокий и ясный, он заливал деревню золотисто-зелёным, проникающим всюду сумраком. Может быть, в самую душу. Широко и безмолвно светил он над миром. Большая тень от клуба падала под гору до самой заснеженной реки.

К полуночи шибануло откуда-то звонким, ровным морозом. Месяца не было, но небо вызвездилось, и над деревней перекинулась исполинская белая полоса Млечного Пути. Мы с сестрами второй раз уже одевались ряжеными, когда услышали скрип промерзлых половиц в сенях, это пришли друзья, с которыми мы договаривались идти шюлюхами. В сенях оглушительно пальнуло треснувшее от мороза бревно. Мы выбежали на улицу. Мороз ярился, ночь была на избыв. Как мелкие битые стекляшки, мерцали в небе звёзды, но за деревней уже обозначилась лиловая заря.

С каким нетерпением ждали мы новогодних каникул! Можно было вдоволь покататься на лыжах. С лихвой катались с полгоры, вылетая на лыжах на завалок, где стоял дом Августы Ивановны, мимо него проезжали дом дяди Гены Устинова, где был устроен второй трамплин. Выезжали на улицу и, минуя её, прыгая ещё через один трамплин, вылетали на реку, и несло тебя через реку аж до другого берега реки. А катание на оленьих шкурах, аж дух захватывало… Родители дадут шкуру, чтобы мы её обкатывали, в результате чего шкура была идеально выделанной. Очень любили, когда мама напечет козули, всяких собачек, оленей, а потом, наигравшись с ними, мы их отправляли на забой, то есть постепенно откусывая то заднюю часть оленя, то рога, пока не съедали всё. Варили холодец из оленьих суставов, ног, а потом очищенные суставы (баски) отдавались нам, детям, и мы играли с ними в оленей. Также привязывали к спиленным рогам санки, представляя, что это олени, и ехали то в стадо, то в лоскут, нещадно подгоняя палкой (хореем) этих якобы оленей, громко ругаясь, подражая взрослым.

В очередной раз приезжая на каникулы, в который раз слушаю маму и наблюдаю, как делает она козули, раскатывая и укладывая длинные жгуты теста в замысловатые фигуры.

– Пока не знаю, ещё кто будет-много ли теста вытяну. Заинька, наверное, будет. Заинька, попляши, серенький попляши! Ой, котька вышел-то… Сидит котик на полу, да моет мордочку свою!

Хлебу как символу вечной жизни приписывалась в древности магическая целительная сила. У многих народов Европы существовал обычай - выпекать к праздникам, связанным с земледельческим календарём, фигурки животных и птиц из теста. Этот обычай зародился в глубокой древности: люди как бы приносили богам жертву, стремясь заручиться их покровительством на весь год.

В русском быту хлеб и пряники издавна играли обрядовую роль, без них не обходились свадьбы и пиры, именины и поминки, Новый год и масленица. Изготовление «козуль» (так называют на Севере фигурки животных из теста) связано с зимними праздниками – встречей Рождества и Нового года. И смысл игровых обрядов этих праздников гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд: человек помогает Солнцу в самые трудные для него дни побороть Смерть, Зиму, чтобы не прекратилась Жизнь. Именно в эти дни предсказывают судьбу, пытаются повлиять на неё, гадают об урожае, погоде, благополучии семьи; девушки гадают о замужестве. В зимних гадальных песнях-колядках, что распевали на Рождество, ребятишки и молодёжь расхваливали хозяев дома и просили за это дары. Считалось, чем больше подарков раздала семья, тем благополучнее будет у неё жизнь в новом году. А дарили на Рождество праздничные пироги, а чаще козули.

Ходила коляда по святым вечерам,
Искала коляда Борисова двора,
Борисов-то двор, он не мал, не велик.
На семидесяти столбах, на восьмидесяти верстах.
Где хозяин сидит, красно солнышко печёт,
Где малы детушки сидят, там звёздочки горят.
Кто даст пирога – тому двор живота.
А кто даст рогушек – тому двор телушек!

– Помню, кто хорошо славит, самые красивые козульки подавали, –вспоминает мама, – а нам ещё и споют в ответ:

Нам не дорога чара зелена вина
И нам не дорога братыня пива пьяного,
Дорога нам козулечка рождественская
...Конь, лось, олень, корова, бык…

Некогда этих животных почитали как солнечные божества. Неслучайно именно они преобладают среди козуль.

Как же их делали? На Севере до наших дней сохранилось несколько способов. Были и лепные объёмные фигурки животных из ржаного теста (Поморье, Пинега, Мезень), напоминающие по пластике архаичные глиняные игрушки. Были и катанные из длинных жгутов теста козули, изготовленные с помощью специальных форм, вьёт-крутит хозяйка из него на плоскости стола фигурку – кто получится.

– Ну пусть это коровушка будет, у коровушки копытца-то расколоты, – приговаривает мама, делая разрез на ногах. Отдельно приделаем хвостик, пусть машет! А теперь и оговорить её надо. Пусть коровушка идёт, молока ушат несёт. Будем коровушку доить, будем детушек кормить!

Мама, когда делала козули, всегда говорила это, а мы повторяли. У меня память хорошая была, я всё с семи лет в голове держу. Нас у мамы пять детей было,

а козули катали только женщины и девочки. Соберемся все вместе накануне Рождества – мама и показывает сестрам. Глаза мамы светятся, а руки уже взялись за следующую фигуру:

– Олешек бегает по болоту, себе пищу достаёт! Ишь, какой упитанный получился, много мяса набегал! Когда снег-то мягкий, так ему легко будет ягель копытом доставать.

Обрядовое действие наполнялось земным смыслом, близким и понятным. Конечно же, понойские козули в частности животных не повторяют, скорей всего, они напоминают первобытные формы исскуства. В основе изображения круг из спиралеобразно закрученного жгута теста, означающий солнце. Из него фантазия мастерицы рисует голову, хвост, ноги обычно крепятся по отдельности. Но и здесь своя символика: две ноги – значит, животное стоит, четыре ноги – идёт. Если человека изображали в фас, то животное только в профиль. Так наиболее выражен и характерен его силуэт. И никаких подробностей, никакого натурализма. Все пропорции фигурки задает человеческая рука, единственный и главный инструмент.

Козуля предназначалась для еды, тесто делали сдобным: ржаную муку смешивали с солью на молоке и масле. Для показа брали ржаную муку, соль, воду, такое тесто особенно пластично в работе, из него можно скатать длинный и тонкий жгут. Мама не только показывала своё искусство, но и щедро раскрывала его секреты. Спешила рассказать, что помнила и знает, а богатство памяти кажется неисчерпаемым.

Ходит баран по крутым берегам,
Сорвал травку, положил на лавку –
А кто возьмёт, тот и вон пойдёт!

С этой присказкой обычно делали последнюю козулю и выносили на мороз. А утром желтком помажут – и в печь!..

РУЗ (рыбоучётное заграждение)

Пробивается косо, криво
Мимо гор,
По горбам камней.
Сосны тундровые с обрыва
Постирают ветви над ней.

А. Решетов

А дождь всё крапал и крапал, но уже потяжелевший, он летел наискосок литой дробью и взрывал оплывшие свинцовые лужи, в которых ничто не отражалось, кроме бесконечной сиротской тусклости. Поной почернел и нахохлился, обесприютел сразу, как больной, постаревший и всеми забытый дом, из которого уже всё вывезли, кроме пыльной завали. И река под деревней была тускло-оловянной, безглазой, застывшей меж нагих пока берегов, повитых куделью прошлогодней травы. И только море позади Поноя так же неутомимо и прибойно гудело, и заструги волн, будто тюленье сало под ножом-клепиком, все копились на всхолмленной чёрной шкуре, набегали чередой на песчаный откос и, обрушив всю накипевшую ярость, тут же смирялись, опадали вяло обратно, теряя на берегу жидкие гривы пены.

И куда хватало взора, среди бесконечного простора качались мрачные горы с текучими изменчивыми отрогами, всё жались и жались, вспыхивая порой морские валы: они вскидывались белоснежно, как вольные звери-белухи, заныривали тут же обратно, чтобы через мгновение снова показать сильное гибкое тело. Северная моряна нынче задувала. Она несла в себе свежесть простора, ощущение истинной вечности и хмельную горчинку несбывшихся желаний. Здесь дышалось легко, вялость и хмурь душевная вычищались, прогонялись ветровым навалом, и оставалась внутри лишь зябкое щекочущая и радостная пустота.

Рыбалка

Ещё только начало размывать небесную полынью над деревней, ещё совсем мутный, затяжной рассвет вставал в запотевших окнах, а меня без всякого будильника точно кто толкнул – договаривались идти на рыбалку.

Всё плотней сгущался туман, мешавший хуже темноты, он был настолько ощутим, что изморосью оседал на лица. Ни единого звука, земля потонула и заглохла в тумане, только над огнём, кажется, пробилось небольшое чело, не понять, то ли в него проглядывает, то ли просто чернеет дым. В двух шагах не видно реки, не слышно её приплеска, но с детства впитавшийся в кровь крапивно-смородинный и ещё какой-то особенный травяной запах выдаёт её близость. Ещё только занимается утро, рассвет мутный, долгий, чуть брезжит за тучами, то ли заря, то ли взошедшее солнце. Воздух настолько насыщен влагой, что изморосью оседает на лицо. И впереди и позади слышатся голоса грибников, они глохнут в тумане, да и разговаривают всё почему-то негромко, точно совершают какой-то скрытый переход.

День постепенно выгуливался, тучи начали редеть, иногда в голубые полыньи выплывало солнце, изгоняя из березняка утреннюю сумеречность.

Близилась межень, пора высокого солнца, прозрачно- голубого неба, пора летних отпусков. Время это удивительно зрелое, полное особой красоты и очарования. Земля ещё не устала от палящего солнца, если и нет дождей, то по утрам ложатся и освежают обильные росы – всё цветёт и благоухает. И вода прогревается в озёрах и реках. Устье Поноя не зацвело, не покрылось зелёной тиной, хотя волны уже не те, не свинцово-холодные, а мягкие, голубоватые, манящие в свою прохладу.

В это время от зари до зари такая широта и полнота, день кажется необъятным, точно само время обретает иную протяжённость. И думается, что в такие дни люди не умирают, не могут умереть и даже не ссорятся между собой. Какая смерть, какая ссора, когда вокруг такая благодать! Ветерком чуть морщило воду, но тут же всё успокаивалось.

Поной, входящий в межень, уработавшийся, наревевшийся за весну, погулявший во хмелю половодья, довольный собою, убаюканный глубокой силою, широтой и волею, сиял под солнцем. С берега, из-за гор, дымчато реющих вдали, наносило парким духом болот, холодного последнего снега, в самой уже глухой глуши дотаивающего. Тлен прошлогодней травы, закисающих болот и умершей листвы плотно прикрывало ароматами новоцветья. Весна закончилась в изломе и незаметно перешла в короткое быстротечное заполярное лето. И наконец истаяла, утекла в озёра и реки. Солнце, выпутавшееся из густого меха зимы и поднявшееся уже высоко над тундрой, вдавливало всякое растение в мягкий ворс тундры, загоняло в заросли стлаников, смахивало к озёрам, в поймы рек. Весёлое северное лето щедро раскидывало в падях всё новые и новые цветы: жёлтый мак и бело-розовые марьины коренья, синие незабудки и фиолетовые колокольчики. Тундра полыхала фиолетовым пламенем цветущего багульника.

Утро было позднее и тихое, солнце, вставшее уже высоко, светило ясно и ярко, когда мы подошли к Богатому, славившемуся глубокими омутами и здоровенными хариусами. День должен быть жарким, жгуче блещущим. Ярко отсвечивала зелень листвы и трав, сверкали на горизонте белые терема облаков, ослепительно синело небо. А пока солнце давно уже поднялось, нежарко сияло над деревьями. Дул ветерок, тихонько подсушивая росные травы. Рассчитывали прийти к Богатому раньше, но задержались у Мельничного

ручья, который летом был с гулькин нос, вода в нём светилась. Опаловое и настоенное, как июльский мёд, и у каменистого дна то и дело вспыхивали сизые молнии форелей.

Молодой день наливался теплом, сиял синевой неба, звенел разноголосым пением птиц. Выше порога, над широким плёсом, подымалась тучка тумана. В чистом синем небе плавилось солнце, разгоняло остатки утреннего тумана, стекало на землю густыми обжигающими струями. Солнечные блики на воде резали глаза. У берега их почти не было, метрах в трёх покачивались редковатые золотые блюдца, но чем дальше, тем их становилось всё больше и больше, и где-то посреди протоки они сливались в сплошную сверкающую полосу.

Все мы заторопились разматывать удочки, наживлять червей, и через минуту я услышал бульканье, шлепоток и увидел, как от упавшей с берега берёзки брат поднимает ярко взблескивающего на свету хариуса.

Вот и у меня поплавок вдруг косо скользнул в глубину. Леска со звоном разрезала воду, булькнув, выскочил поплавок, задрожал на туго натянутой волосяной струне. Отступая, я тянул удочку к себе, а какая-то сильная рыбина – я чувствовал, как она билась на крючке, старалась уйти в глубь. Рябиновое сухое удилище гнулось, потрескивая, вот уж поплавок опять коснулся воды, пополз обратно в холодную глубь. Закусив от волнения язык, я продолжал бороться с рыбиной. Наконец решил: будь что будет! И из последних сил дёрнул удилищем. Выпрыгнул из воды поплавок и, словно догоняя его, взметнулся вверх, сверкнув на солнце желто-зеленой радугой, огромный хариус и, сорвавшись в воздухе с крючка, шлёпнулся на камни почти у самой воды. Я вскрикнул, сорвался с места, грудью упал на свою добычу, и облегчённо, радостно засмеялся. Потом минут пятнадцать в безмолвии махали удилищами, но клёва больше не было. Брат Василий, чтобы сделать подальше заброс, зашёл даже по

пояс в воду. Но всё было бесполезно. Солнце тяжёлыми струями всё полосовало землю, словно задалось целью расплавить её.

Раскалённые прибрежные камни, которые время от времени окатывала ленивая и тёплая речная волна, тотчас, на глазах, обсыхали. Бабочки-капустницы, ещё полчаса назад мельтешившие под ногами, куда-то исчезли. Небо было по-прежнему пустынным, только на одном его краю, там, где за текучим маревом недавно вспух маленький ватный комочек, сейчас пузырился огромный столб больших белых облаков. Верхушка облачного столба была намного шире основания и, увенчанная громадной шапкой, от тяжести заломилась на правый бок, грозя рухнуть как раз на Поной. И берёзы, знавшие себе цену и оттого горделиво вознесшиеся, словно освещали всё вокруг медно-солнечным отблеском своих стволов. И были в них могучее постоянство, беззаветное служение людям и тепло, солнечное тепло даже зимой, которое и переходит в стены деревенских изб, создавая и храня уют домашнего очага

Посидев ещё с часик, стали сматывать удочки, ожидаемого клёва больше не последовало. Над землёй вставал ясный, солнечный день. Молодое жёлто-оранжевое солнце медленно поднималось из-за гор. Широкий, неохватный простор наполнился разнотонными звуками. С каждой минутой их становилось всё больше и больше, и они сливались в один общий гул.

Сколько раз за прожитые годы слушал эту песню! Но сегодня я воспринимал её по-особому: мне казалось, что это поёт не земля, а душа моя. Обратно шли не спеша, поднялись на гору и пошли через Карповку, посидели у Широпялки, Разожгли костёр. Рыжеватое пламя торопливо обгладывало сухие ветки, и они, потрескивая, никли на огнедышащей груде углей а в ручье плавала половинка луны. Дождались, пока на берегу, окутанном ночной прохладой, догорел костёр, и стали спускаться по Мельничному ручью к деревне.

Суеверно обегали неогороженное кладбище, всерьез опасаясь, как бы не разбудить страшный кладбищенский сумрак и эту густую толпу длинноруких крестов, дружно шагнувших к самой обочине.

С парохода

Проносятся волны, что горы,
Вновь Белое море темно.
Но в море уходят поморы,
Их с детства качало оно.

А. Решетов

В сентябре на Белом море темнеет рано, сумерки коротки, а ночи аспидно-чёрны и холодны. Вырвется иногда перед закатом солнце из облаков, бросит последний угасающий луч на море, на холмистый берег, желто отразится в окошках изб и тут же побагровеет, сплющится и уйдёт в воду.

Тускло светится темно-красная полоска зари, слабо и зыбко сияет высокое холодное небо, а земля, избы в деревне, угоры – всё погружается в темноту, только долго ещё светятся в ответ заре, свежеошкуренные брёвна возле правления, и маслянисто блестит, хрустит под ногами щепа. Но скоро погаснут и окна, и деревня погрузится в долгий осенний сон. А в полночь вдруг станет светло, прянут в зенит длинные дрожащие столбы, молча и странно задвигаются, меняя бледные краски, отражаясь в море. Потом погаснут так же внезапно, как и возникли, и опять темнота сомкнётся над землёй и будет держаться упорно, долго до неохотного рассвета следующего дня.

Всё чаще бушует море, я всё смотрю на него, грязно-взлохмаченное, и на без конца бегущие и ревущие на отмели взводни с белыми гривами – знакомая картина! Ветер холодеет, небо темнеет, заря окрашивается в винный цвет, воздух делается прозрачней, смуг-

ло румянеют избы наверху, а на востоке загораются редкие бледные звёзды.

С востока потянуло крепкой проницающей сыростью. Показались густо-плотные клочки облаков, превратившиеся вскоре в сплошную массу, затянувшую ту часть горизонта, откуда появилось впервые густое, дымчатое облачко-первый предвестник тумана. Солнце, до этой поры яркое и жгучее, со всеми характерными признаками летнего июльского солнца, стало каким-то матово-фольговым кругом, на который даже смотреть было можно безнаказанно, а там и совсем его затянуло туманом; ни один луч, ни одна искра света не могли пронизать тумана, чтобы осветить и нашу серую дору, нахмурившееся море, начинавшее усиленно плескать в борта её. Заводился ветер, но противняк.

Вся надежда возлагалась на полую воду, которая, следуя законам отлива, пошла с берегов и понесла вслед за нами клочья изжелта-зеленой туры (морского горошка). Осенью морские ветры – северный, северо-восточный и восточный – часто дуют беспрестанно не только по целым дням, но даже и по целым неделям.

Белухи лёщатся: знать, ветер чуют. Спину показывают, целым юровом выплыли. Круто прогибаясь в воздухе, белухи играли. Мы же в ожидании воды кружились по острову. Он был тих и по-кладбищенски печален. Груды камней беспорядочно и неряшливо навалены, и меж них проклевывались желтые колокольцы-первоцвета да болотный пух.

Темнело, вода кругом холодела, становилась густой и тяжёлой, а берег виден был узкой чернильной полосой. В полных сумерках мы подошли к деревне, поставили дору на якорь в устье реки, подтянули карбас, что был на отводке, перелезли в него и двинулись к берегу. Но был отлив, везде обмелело, и метрах в ста от берега мы сели на кошку (мель), толкались вёслами в разные стороны, под днищем скрипел песок.

На берегу, на едва белеющей песчаной полосе под высокими избами появилась тёмная женская фигура, тут же к ней присоединилась другая, третья… Скоро на угоре образовалась странная какая-то, неподвижная немая кучка женщин, смотрела на нас, ждала, внимала нашим весёлым крикам. Повыше них едва различались тёмные пятна изб, слабо горели красноватые огоньки в окнах. Горели над головой звёзды, и на воде всюду светились их отблески. Внезапно по небу промчался как бы вздох, звёзды дрогнули, затрепетали, небо почернело, затем снова дрогнуло и поднялось, наливаясь голубым трепетным светом. Из-за горы, из-за немой её черноты, расходясь лучами, колыхалось северное сияние. И когда оно разгорелось, всё начинало светиться: вода, берег, камни, мокрая трава. Оно гасло – всё сжималось, становилось невнятным и пропадало во тьме.

На разгрузку доры я опоздал, проснулся, когда комната была залита ровным жёлтым светом. Солнце било прямо в глаза. Не позавтракав, бросился на берег, но груз уже был перевезён к магазину. Деревня была тиха и безлюдна, но, несмотря на ранний час, около бревенчатого, похожего на амбарчик ларька с зарешеченным окошком уже гудели хмельные голоса. В нескольких шагах от крылечка, рядом с горой пустых ящиков, сидели на траве три мужика и попеременно передавали друг другу трёхлитровый бидончик с пивом, попеременно тянули из него. Рядом стояли четыре бочки пива, выгруженные с теплохода «Вацлав Воровский», и мужики брали его просто в долг (на запись).

Самолёт Ан-2
(трудяга «аннушка»)

Вот-вот грозилась опрокинутся на землю осень. Небо пеленалось в палевое, в стынущем воздухе осеребрились и ещё не пожухли от заморозков травы, на берёзах озолотился лист. На полях косили овёс на силос и возили его на тракторе к силосорезке. Порывистые ветры со стороны моря пронизывали деревню. Сырой воздух был простуден и неприятно холоден. Такое безвременье, что и земля представлялась плоской.

Нам же надо было улетать в с. Ловозеро, в школу-интернат. В тот год у нас уже закрыли среднюю школу, оставив только начальную. Однообразно-серое небо подвижно висело над аэродромом. С осенней ленцой крапал нудный, обложной дождишко. Сеялся он с ночи, и взлётное поле, ровное и пустое, с одинокой, сколоченной диспетчерской будкой посередине, побурело и потерялось краями за сизой моросью. Лишь с одной стороны к нему подступали призрачные очертания, казавшиеся особенно высокими в тумане.

К самолёту никто не опоздал: в полутёмном чреве кабины уже сидели и лейтенант со своей женой, оживленный предстоящим полётом, и гражданин с ревизорским портфелем, и девчата, которые поспешили занять место в кабине. Самолёт взревел, задрожал всем телом и помчался, мы, грузно припечатанные к сиденью, уставились друг на друга окаменело, переживая оторопь. На нас стремительно накатывался столб. Самолёт тряхнуло, подбросило в воздух, и мы полетели.

И сразу стало тихо, земля, замедлив бег, поплыла внизу лениво, будто зажмурившийся линяющий гусь, а потом и вовсе остановилась. Сначала за окном струилась близкая трава, потом она незаметно отступила вниз, стала полем, самолёт накренился, поворачивая, земля резво провалилась, и в этом провале оловянно

заблестела река. Мы летели над ней, внизу проплывали четкие квадратики дворов, нитки тропинок, веером протянувшихся к избам, я отыскал по вялому затухающему дымку над крышей свой дом. За иллюминатором в обнимку с солнцем двигались облака, голубела даль там, где-то под облаками лежала земля.

Средний холм за Мельничным ручьём был чем-то похож на тысячи таких же раскиданных под крылом самолёта по всей тундре. Может быть, поэтому гуси предпочитали прокладывать маршруты именно над этим холмом: утром в одну сторону, где чернели гладкие глыбы гор, вечером в другую, где было просто море. Свинцовая лента реки Поной куда-то исчезла. Кругом была ровная грязно-жёлтая тундра с редкими проплешинами снега в провалах низин.

Пассажиры все задремали. Самолёт шёл невысоко, трещал хоть и громко, но миролюбиво, по-свойски, и, когда проваливался в яму и, натужно гудя, выбирался из неё, чудилось какое-то извинительное хурканье и дребезжанье, словно бы он отряхивался на ходу от прилипшего облака, беря новый рубеж. Начали пролетать над пустыми тоневыми избушками, мелькавшими под крылом самолёта вдоль береговой линии моря, покосившихся, с темными проемами окон, с пустыми вешалами для сетей.

О поморах вообще и в частности обычно принято говорить, как о людях неиссякаемой щедрости и доброты. Так оно и есть. Застанет ли тебя в пути буран или кончится в дороге запас еды, будь уверен, что впереди тебя ждёт тоневая избушка, расположены они друг от друга за километр. А в ней сухие дрова, спички, еда, соль, чайник. Эта великая традиция жива и по сей день. Под крылом пластались дымные космы тумана, и вскоре самолёт нырнул, точно в вату, во что-то белое и глухое. Гудел, покачивался самолётик, трудяга Ан-2, дребезжал железной дверцей. Вдруг его качнуло, ровно бы предоставляя мне возможность увидеть ещё раз реку и

землю, но уже опрокинутыми на ребро, небо в самом окошке-протяни руку и хватай клочья ваты из облака. Круг завершился, и самолёт по наклонной катушке реки заскользил дальше.

Вот уже второй час самолёт летел к Ловозеру, и через сорок минут должна быть посадка. Слепило глаза от тонких белых покрывал, от продолговатого, как дыня, багрового солнца. И когда ловко клюнул на посадку самолётик, и басовито вскипев, затих разом, нелепо раскорячившись на раздвинутых ногах, мы поняли, что теперь до зимних каникул уже не увидим свой Поной.

Сбор плотов

Проблем с дровами нет. Почти после каждого прилива, особенно после шторма на берегу остаётся множество всяких разных брёвен, уже разделанных, без сучков и даже без коры. Море выбрасывает на берег то, что теряют архангельские лесозаготовители на сплаве. Жители ходят по отливу, оттаскивают брёвна подальше от воды, клеймят их топором. У каждого своё клеймо. Отец оставлял на бревне топором две зарубки: одну поперёк ствола и сверху одну, получался знак похожий на букву «Т».

На рассвете меня разбудили гуси, они гнездились сразу же за фермой. Проснулся я в пепельном полусвете северного утра. Свет этот всю ночь брезжил в окнах. Казалось, истекал он отовсюду: светилось серенькое и ровное, будто натянутая волглая холстина, небо, светились из моренных глубин тихие озёра и те, что были на виду, и те что таились за холмами.

Гуси кричали всё настойчивей. Перед восходом солнца крик их был так гулок, что казалось, будто птицы кружатся над коньком избы. Крик этот не был резок или тороплив, нельзя было назвать его и трубным кличем. В нём было что-то глубинное, грудное, как в силь-

ном женском меццо-сопрано, какой-то русалочий полувопль, таинственный и печальный, невольно уносящий воображение в мир полузабытых сказок детства.

Уже гудел самовар, приставленный трубой к душнику печки. Отец набирал в тушилке угли и, приподняв трубу, бросал их в огненное жерло. Окончательно проснувшись, я увидел, как предзоревая ночь втягивалась в комнату через окошко, растекалась по полу, дрожащая, вползала по тёмному углу на божницу и там застывала в сумрачных ликах святых. Слышно было, как за стеною дома гудел ветер. Было обычное утро. Оно принесло с собой туман. Туман пах йодом и рыбой, потому что на берегу Белого моря туманы всегда пахнут так. Взбудораженно просыпалась деревня. Калитки хлопали, двери, лениво взлаивали собаки. Где-то потревоженно блеяли овцы и кудахтали куры. Улица наполнялась стуками, голосами.

Густой туман оседал на карбас холодной сыростью, изменяя привычные очертания, когда мы, плотно позавтракав и взяв с собой паужин, выехали в море. Над Поноем-рекой курилось марево. Пели комары, ровно сверлили невидимые дырочки в воздухе. Белесым пологом навис туман над пригорками по взгорью, а в низине, в логу, он лежал, как перила в серой наволочке, и пенился. Вершины кудрявых берёз, что стояли за рекой, торчали из перины, как золотые веники. Солнце проглядывало сквозь морок, и лучи его цедились на землю красные, будто кровь.

После ночного дождя туман поднимался и зависал в вараках, грозя новым дождём. На угоре за селом чуть заметно переливалась белесая пелена тумана, за грядой уже и не видать ничего было. Пологие крутые волны без единой морщинки легко скатывались с этой ступени и плавно шли к берегу. Море можно было назвать зеркальным, если бы не вздымались эти ровные гряды волн. Колышень-то на море, зыбь, ветра нет, а волны ходят, колышутся. Туман уже рассеивался, стоя-

ла тишина, даже комары не звенели, только резко вскрикивала сопровождающая нас одинокая чайка, и крик её тут же гас в вязкой пелене тумана. День понемногу разгуливался, и хоть погода была безветренной, туман рассеялся, только воздух ещё был пропитан влагой.

Высокие волны легко качали наш карбас, то вздымая его на гребне, то погружая в провал. Шли мы по воде, чтобы на отливе успеть сколотить плоты и уже с приливом идти домой, чтобы было легче грести. Насобирав и сколотив плоты с водой, собрались назад.

Мы уже прошли Лахту, когда всхлопала о бортовину тугая волна, качнуло карбас, но мы не обратили внимания на размашистый всплеск. Засиверило, белые широкие гребни побежали от края до края, море загудело, выбелилось, запылало крутыми языками; это ветер резко повернул на материк. Заморосил дождь, резкий ветер так взбунтовал море, что с гребней волн срывались белые лохмотья пены и, казалось, перемешивались с совсем низко летящими грязно серыми облаками.

Рядом встал пароход, с полчаса покачался, не отдавая якоря, и ушёл вдоль берега дальше, увозя и грузы и пассажиров. Брёвна, просоленные, мокрые, пригнанные ветрами из неведомых далей, тянули обратно, и приходилось чаще налегать на вёсла. Мы подошли к Дулатову, когда вода повернула вспять, грести стало тяжелей, но недалеко уже был Корежный ручей, откуда до деревни рукой подать. Торопились. Надо было как можно выше оставить плоты, чтобы они обсушились на берегу, а затем их пилить на двух-трёхметровки и на плечах доставлять к дому.

Брёвна давили плечи, жали к земле, но зато какие это были жаркие с красной мякотью в середине, как спелый арбуз, дрова. И если из них построить дом, то ему нет сноса. И никакая гниль их не берёт, и стоят такие дома не одну сотню лет.

Сбор яиц

И вот опять святое дело!
И наш корабль, заботой полн,
Совсем не так осиротело
Плывёт среди бескрайних волн...

Н. Рубцов

Серая безликость дождя над селом, закутанная в липкую мутноватую пелену река, а там впереди за чёрным мыском – море, продрогшее, насупившееся. Волны, грязноватые и невысокие, идут широко, одна за другой, с брызгами и бормотанием, шумным, тягучим. Скребутся о прибрежную гальку, лопаясь белой пеной, похожей на мыльные пузыри.

Утра ещё не было, и земля, вся охваченная трепетной межранью, будто ждала той минуты, когда ночь на востоке отмякнет фиолетовым пятном, широким, не угаданным в границах, и в мире, казавшемся неподвижным, сдвинется что-то с незримого стержня и хлынет заревой свет. Мы с приливом собирались ехать на острова на сбор яиц.

Ежегодно с родителями уезжали и дети на не менее опасный промысел. Яйца собирали не только на лудах, но и приходилось перевязываться верёвкой и лезть по отвесным скалам и утёсам, то и дело ожидая удара пикирующих птиц. Яйца забирали не все, всегда оставляя в гнезде 2–3 штуки, в зависимости от количества высаженных яиц. Серою пеленой занимался день, когда мы вышли из устья реки. Берега уже скрылись, дождь перестал. Небо стало льдистым и бесплотным, солнце залегло за лохматым белесым облаком, и холодный сквозняк, будто открыли громадные ворота, тянул из бесцветной пустоты. Всё – море и дали – было чисто, но воздух по-июньски не дрожал от тепла, а фиолетовые горы, которые видишь совсем рядом, плоско стояли в горизонте.

Поднимался ветерок-полуночник[1] студеный, который родил ещё и град. Взводень[2] пошёл крупнее, дору заметно покачивало. День по времени ещё не угас, но тучи спустились к самому морю, шли низко, отяжеленные, наглухо закрывали небо. Ветер стал беспокойным. В это время мы обогнули скалу под птичьим базаром, где во множестве гомонили, хохотали и вскрикивали люрики и гагары, тупики и моевки, тулупаны и поморники.

Всё пело, рождалось и страдало неистово и нетерпеливо. Но сам птичий грай был похож на перебранку ветра в дымнике, то морские зайцы[3] ворчали басовито, и казалось, будто шквалистый побережник[4] бьётся накатом в бревенчатые стены, и тогда перед этой неистовой силой всё меркнет, тухнет, гаснет. Добравшись до Евстифеевки – тоня колхоза «Север» – мы спешно бросились с корзинами, и другими подручными средствами на сбор яиц, согнав с насиженных мест несколько десятков морских гаг. Яйца были крупные. Гагачьи яйца с красным желтком по калорийности очень ценились: одного яйца, жаренного на сковороде на завтрак, хватало на целый день. Собрав в корзины и баки яйца, мы поехали в сторону Терско-Орловского, где напротив находилась тоня Яички, само название её говорило само за себя.

Гренландские тюлени лежали совсем рядом, лениво катались на каменной площадке. Утренний холод

---

[1] Полуночник – северо-восточный ветер. Дня четыре полуношник тянул. Поной

[2] Взводень – высокая волна. Со взводней брызги летят. Поной.

[3] Морской заяц – большой гренландский тюлень. Кожа зайца, да белуги на оленьи тяжы хороша была. Поной

[4] Побережник – северо-западный ветер. Побережник тожо не жаркой. Поной

заставил вздрогнуть, усохший чуть мёрзлый мох скрипел под ногами, небо было низким и печальным, и, хотя ветер поддувал слабо, кудлатые тучи спешно пролетали к югу. Загрузив всю тару, что была с собой, перекусив паужином, мы с поносным ветром выехали домой…

Связь

Когда спустился с горы в Поной, наступил вечер. Затуманились изгибы реки, и снежные валуны нависли над обрывом, походили на белых медведей. Небо утеряло свою обычную серую безликость: видимо, завтра будет мороз, потому как покрылось оно лёгкой пеленой. Звёзды сквозь неё проглядывали выпукло, а по закрайкам неба багровость, и это лихое пламя метнулось на деревню, косо легло красными языками на окна и крыши. Всё было извечное, знакомое, трогательно близкое. И запах моря, и навоза, и воздуха был свой, постоянный, но и сегодняшний.

С горушки понесло далеко, и снег, подбитый морозом, похрустывал и неровно прогибался под лыжами, но совсем не крошился, и оттого скользить было легко, а лыжня, неясно продавленная в насте, быстро стекленела.

Было уже далеко не утро, но день под мглистым низким небом так и не ожил по-настоящему и едва теплился, до краев наполненный безрадостной морозной тишиной. Ресницы заиндевели, даже веки ломило от ледяной навесы. Деревня уже показалась лицом, едва видимая из-за сугробов, вся обмётанная куржаком, и навалы снега свисали прямо с крыш над верхними оконницами, и только чёрные сажные вытайки вокруг печных труб говорили, что Поной ещё жив и не осиротел вовсе. Тут опахнуло дымом и лёгкой навозной киселью, наверное, на скотном дворе только что выметали наружу из-под коров.

В Поморье каждый час другую погоду родит. Только что от промозглой стыни воротило душу, жить не хотелось – и вдруг дёрнуло материковым ветром с русской стороны, потянуло весной, и небо густой синевы сразу отшатнулось от земли, слегка рябоватое от белых покойных облаков, и на солнце, ещё пронзительно холодное до рези в глазах, хотелось глядеть и держать на нём блаженный взгляд.

И сугробы кругом зажелтели, словно полили их луковым отваром. От изб опрокинулись синие тени, и чувствовалось, что в застрехах уже рождалась первая весенняя слеза, и снег на крышах с исподу, куда парило избяное тепло, начинал куржаветь и точился, готовясь к апрельской потоке.

И деревня-то сразу ожила, словно столкнули её с полатей: мол, хватит сонничать. Небо уже позеленело, а первый взвоз, куда предстояло войти, был повечернему мрачен и окутан кисеей сумерек, выплывающих из сузёмов. Тени у изб загрубели и, казалось, жили отдельными чёрными существами на снегу, кое-где наледь окон затеплилась ранним светом, видно, керосином в тех домах жили богато и не прижаловали этого добра. Деревня настаивалась тишиной, сонно смирнела и потому становилась особенно домовитой и желанной.

Небо из земного стало свинцово-мглистым, слегка осыпанным белой пылью, из которого должны были, наверное, народиться потом звёзды. Заря плавилась тускло и холодно, вся пронизанная перьями густой синевы, и от этой всеобщей угрюмости чудилось, что мир вокруг опасливо затаился, готовый залить бесконечным мраком и захолодевшие поля, и крохотную деревеньку в распадке меж высоких гор, едва роняющую слабые жёлтые тени и в путаницу сугробов и тропин.

Ещё раз оглянулся назад, и на месте моря, что начиналось сразу же за рекой, увидел лишь зыбкое

непроницаемое марево, которое слегка искрило и вроде бы жило, густо покачиваясь: знать, был прилив, прибылая морская вода взломала припай и, корежа льды, ставила их торчком, жала на берег и тут же неряшливо замораживала их.

Сенокос

(Ода понойским женщинам)

Ты видишь, за спиной косцов
Сверкнули косы блеском чистым,
И поздний пар от их котлов
Упитан ужином душистым.

А. А. Фет

Лето было сухое, с пламенным незаходящим солнцем, без единого дождичка. Погода стояла истинно сенокосная: в ясном небе палило жаркое солнце, лишь на горизонте над морем мутнелась лёгкая дымка облаков. Чуть тянула моряна, разгоняя комаров и мошек. И они одолевали только в кустах, в заветерье. Погода будто только и ждала окончания сенокоса. Небо вновь было задернуто низкими облаками, и всток опять потянул, будто не прекращался он всё лето, лишь на несколько дней затихал, сил набирался.

Но до полных сил было ему ещё далеко, море только слегка рябило, да у берега шуршали в накатном прибое грязные волны. В то лето косили мы в губе Алдовинской и около озера Нижний Шупаши. А солнце уже стояло над самой головой, комар скатился от жары в тенистые места, осел в траву, озеро, полное воды, прогнулось в берегах и там залегли черные тени, но по самой середке плавилась мелочь, тускло отсвечивая серебристыми стрелками сквозь верхнюю воду, золотые круги рождались и вспухали словно из ничего, и чудилось, что из безоблачного неба идёт солнечный

дождь. Какое благословенное место на земле, нет, знали всё-таки наши предки, где осесть, срубить избу, заполнить её детьми!

Слева направо: Анна Феофановна Совкина, Екатерина Семеновна Тарасенко, Клавдия Ефимовна Устинова, Августа Ивановна Долгих, Наталья Алексеевна Ледкова

Травы уже вышли в рост, пламенно-малиновым огнём загорелся иван-чай, густыми гнёздами забелелась полынь, по межам заголубела сурепка, в сухом и жарком воздухе разлился медовый цветочный дурман и, боясь упустить время, до наступления жары, председатель Павел Иванович решил выйти на покос.

Июль набирал скорость. В это время стояла пустая пора, рыба не шла, и всех рыбаков снимали с тонь на сенокос. Но больше всего на сенокосе находилось женщин и подростков. До губы Алдовинской нас довезли на машине пограничники, в то время много было на территории Понойского сельсовета воинских частей, которые никогда не отказывали ни в чём и всегда помогали колхозу.

Густая темная зелень шевелилась, шелестела, окутывала мир. Бездонная голубизна в белых мазках и клубах облаков накрывала его. Зеленели, колосились травы, светились в них ромашки и васильки, малиновые костры иван-чая, дразнили колокольцы и кашки, дурманили пестротой, тонкими сладостными запахами. Смородина лоснилась на солнце, матово сияла на сопках и припеках черника.

Утро теряло последние капли росы. Воздух наполнялся комариным гулом, знойным шелестом ветерка, тянувшимся с моря, запахами подсыхающих трав. Берёзы торопливо убирали свои тени, давая простор медосбору. Тяжёлые травы прогибались под ветром, а глухого шума её не было слышно в гуле людских голосов. На опушке пожни, острым углом врезавшейся в кустарнике, белела осевшая полукругом парусиновая палатка. Там же дышал костёр, а за пожней снова желтела в разнотравье поляна, мелькали головы, покрытые платками, и чей-то голос раздраженно кричал:

– Давай, давай! Эх, чёрт, не задерживай!

Косцов было немного: бабы, несколько подростков.

Первой шла Августа Ивановна Долгих, за ней как по ранжиру Тарасенко Екатерина Семёновна, Полина Семёновна Харлина, Наталья Алексеевна Ледкова, Анастасия Матрёхина, замыкающими были моя мама Клавдия Ефимовна Устинова и Анна Феофановна Совкина и мы, подростки. Они ступали на влажную землю твердо, всей подошвой и по-мужски, широко взмахивая косой. Трава падала плавно, точно ложилась отдохнуть, ни на шаг не отставали от них и мы.

Но давалось это нам нелегко. Во рту стало сухо, горло стянуло: очень хотелось пить. Но пить нельзя. Помнится, ещё отец говорил: пить на косьбе – последнее дело; от воды кровь жижеет, усталость больше и потливость одолевает, дунет ветер с холодной стороны

– и простыл. Трава шумела густая, высокая, а сколько её ещё впереди! Ни конца, ни края не видно.

Взмах косой… А плечо ноет-ноет, и между лопаткою холодно, дрожат коленки. Поворот плечом, шаг-взмах косой. Дзиньдзи-взи. Озиндзи-взи.

А голова болит, точно на неё надели раскаленный обруч. Наверное, за день солнце нажгло.

Возле ивового куста сидит мой отец, Трофим Григорьевич, обтачивая косы. Кроме этого, он ещё и скирдовал стога. Он умел так укладывать стога, что ветер обдувал их ровненько и дождь мочил лишь одну головку.

Скоротечно пролетел июль. Мужики, а их было на сенокосе не так уж и много, разбирали косы и уходили на пожни по росе до завтрака, спеша накосить больше, вот-вот должна пойти рыба и всех снимут по тоням, останутся только бабы и подростки. И уже при солнце шли ворошить сено бабы, девки и подростки. Над пёстрыми косынками колыхались грабли, будто оленьи рога. Плелись неспешно, с ленцой. Но, придя на место и рассыпавшись каждая по своему валку, сноровисто и легко начинали подбивать и ворошить сено граблями. Дело вроде бы немудрящее, а поди ж ты: забивали здоровых девок пожилые бабы. Откуда что бралось: держались прямоспинно с неуловимым достоинством, грабельки в руках невесомы, знай себе мелькали ошорканными до костяного блеска зубьями. Не гнула, не старила бабу работа, а наоборот молодила: не дело делает – играет, кружева вяжет. Но всё это так, между прочим.

Сенокос же кипел своим чередом. Махали косами на пожнях мужики. Выпростаны из штанов рубахи, чтобы обдувало, мокры и темны сатиновые и ситцевые спины, багровы лица под выгоревшими картузами и кепками, виски влажно лоснились, а косари всё ступали рядом нога в ногу, замах в замах: так спорей и легче, чем вразнобой. Ярко сверкает сразу дюжина кос над

травами, переступит сразу дюжина сапог, на одно мгновенье задержатся, повиснут в воздухе косы – и тотчас снова с шелестящим певучим звоном все разом нырнут в земную глубину. Будто узкие белые рыбы играют, выплескиваются над волнами.

И ложатся травы в ровные валки, то с подкошенным мышиным горошком, сиреневой дугой промелькнувшим на пятки косы, то с малиновой свечкой иван-чая. Свежие валки истекают соком, терпко млеют от зноя и тянет по всему поречью сладким настоем увядания. К полудню собирались к реке, пили и плескались, смывая сенной зуд и соль. Потом, разлегшись вокруг своих мисок, хлебали уху. Отдохнуть после жирной ухи, по палаткам и балаганам, где под темными сводами ещё хранилась ночная прохлада, не удалось.

Через реку переплыл на лодке подросток – посыльной от председателя, и сообщил, что пошла сёмга, мужики стали спешно собираться, давая наказы бабам и подросткам.

Паи, распределяемые в бригаде рыбаков, делились не только на них, но и на сенокосчиков, что было очень справедливо. Ибо каждый, кто был в сенокосной бригаде, он же числился и в бригаде рыбаков и имел определенный пай. Я сам в то время имел 0,5 пая, каждое лето мы помогали колхозу.

Бабы и мы, подростки, докашивали последнюю неделю. Вот-вот должны пойти дожди. Тихо шевелилась листва на березах, плыли по небу лёгкие, будто бы вовсе не заставшие полуденного солнца облачка, сохло сено, запах которого витал по всей окрестности. Солнце ещё не зашло, но на горизонте уже проступал по-осеннему блеклый румянец вечерней зорьки. После Ильина дня купаться уже было нельзя, но мы всё равно лезли в воду.

Солнце уже уселось на подернутые синеватой дымкой плечи понойских гор, когда мы тронулись с покоса домой, унося с собой шорох и звон, запах со-

зревшей травы. На закате на пожнях пахло молодым острецом и мышиным горошком. В кустах заливались птицы, звонко куковали беспокойные кукушки. В заречье проступила иссиня-красная, в каких-то прожилках ущербная луна, клочковато оборванная, окромсанная с одного края. Я забывшись, исподлобья глядел, как она натужно выпутывалась из сизой наволочи, скопившейся за долгий знойный день.

Долгий был сенокос. На бабьих плечах сгорела не одна кожа, пока потемнели последние июльские ночи. Но и ещё после этого с неделю вспыхивали жаркие, словно пороховые, дни и красноватые, с медным отливом облака, подолгу громоздились в дымчатой мгле. Иногда громыхали тяжкие, никого не облегчающие грозы. Найдёт, навалится густого замесу надменная туча, ошпарит землю дымящимся ливнем, вымечет свои красные клинья, и снова гудят всесветные оводы. Жара, духотища. А над головою жжёт солнце. В затылок, в спину, в лицо и шею. Припекает, как от печки.

Солнце только что зашло и бьёт исподнизу алым горячим заревом, широко растекающемся вдоль западного горизонта и ярко, чисто отражающемся в воде и правом от деревни, нижнем её разливе. Когда подошли к реке, мы, мальчишки сразу же бросились вплавь, а женщины уселись в лодку и стали переезжать через реку. Кто бы видел, как управляют лодкой наши женщины? А река у нас порожистая, быстрая, говорливая и надо уметь с ней справиться, тем более управляя одним шестом без всяких вёсел. Вроде бы и силёнок у женщин не много, но берут они выносливостью, которая приобретается втяностью в работу. Не каждый приезжий мужик может переехать нашу. широкую, быструю реку даже на вёслах, про таких у нас говорят – ваган. А вот наши бабы на одном шесте переплавлялись, и пристанут к берегу точно в том месте, где наметили. Это как бы был особый шик, визитная карточка. Вот такой уж у наших понойских женщин характер, вот такие они

наши милые труженицы. И я очень горжусь, что мне пришлось жить и работать с такими замечательными людьми, как наши прекрасные женщины!

Собрание в колхозе

Должно быть, бабье лето припасло один денёк специально для Серёгиных проводов в армию. В этот же день наметилось собрание по переезду понойчан. С утра туман белым половодьем поднялся из Поноя, затопил деревню, так что из окон видны были только соседние дома, но долго не удержался, тронулся ещё выше, растаял, оставив на крышах и заборах седой росяной налёт. Под ясным, но скупым на тепло, солнцем смирно пригрелась земля, ко всему готовая, всё сделавшая, что можно было успеть за короткое северное лето. Даже вороны, беспокойно летавшие в ненастье над домами, примолкли, чинно рассевшись по коньку на избе бабки Ледковой.

В стареньком сельском клубе, где проходило собрание, было сыро и неуютно. Тяготила какая-то необжитость, сумрачность. А на стене клуба большая картина, веет от неё радостью и благополучием. Широко улыбаются передовики… Лозунги прошлых лет с избитыми фразами. Сидя в неприглядном зале, слушая выступления людей, порой резкие, с болью думал: грош цена тем словам, если они оторваны от реальной жизни. Кого они вдохновляют, кому нужны? Проще надо говорить, ближе быть к деревенским мужикам, к их сердцу. Но вот вышел директор совхоза О. Н. Добровольский, человек молодой, горячий, бросил в зал: «Перестройка – это миллионы новых квартир, благополучие людей...»

Рядом со мной сидел Владимир Матрёхин, слушал директора и, как говорится, ухом не повёл. Слышал он подобные речи и раньше, не раз слышал. Да

толку-то? Как стояла деревенька, так и стоит, из дорог только воздушный да водный транспорт, да ещё и магазин закрывают, ну а детского садика уже сколько лет нет. И душа-то у каждого болит, перемены в жизни через призму своей деревушки оценивают.

Да, перестройка – это забота о человеке, миллионы новых квартир. Перестройка – это и новое отношение к деревне, к её людям. В Поное, к примеру, ещё несколько лет назад поняли: дальше отступать некуда. Люди уходили с насиженных мест, деревня хирела на глазах. Проблемы нарастали, словно снежный ком. Или надо было что-то предпринимать, или конторским служащим, засучив рукава, придётся идти на ферму, доить коров, убирать с полей. Сказано, может, резковато, но, думаю, справедливо.

Жизнь всё равно берёт своё, и те крутые повороты, которые мы делали, она со временем выпрямляет. Неумолимо. Пусть не сразу, но время и жизнь все ставят на свои места. Три десятилетия деревня считалась перспективной, а вдруг оказалось, что уже неперспективная, и не имеет право на дальнейшее существование.

А что значит неперспективная? Это одно и то же, что дерево, лишенное корней, земной силы. Оно засыхает да и валится. Не кто иной, как мы сами сделали её неперспективной, бросили на произвол судьбы. Сначала закрыли почту, потом медпункт, следующий М магазин. Что оставалось человеку, когда он зажат в угол, зажат вроде бы «объективными» обстоятельствами. Путь был один – из деревни. Либо в город, либо в райцентр. Вынуждали его идти на такой шаг, порывать с землёй, резать скот.

Говорят, что ломать – не строить. Да, возводить новое куда сложнее. Хотя скажу прямо, порадовало меня стремление понойчан другими глазами взглянуть на проблему неперспективной деревни, помочь ей встать на ноги, чтобы и там жизнь не угасала, а била ключом.

После долгих споров и разговоров, накричавшись вдоволь, люди расходились по домам. Где-то в груди затаилась надежда, что настанет такой день, когда и здесь зазвенят ребячьи голоса, потянется дым из печных труб. А что через 50 лет останется от нас? Что мы передадим следующему поколению? Что они будут возрождать? И будут ли? Сумеем ли мы оставить после себя нужное внукам и правнукам? Зашелестят берёзки листвой, улыбнётся гриб-боровик среди яркой зелени, зацветут луга, поколение сменится поколением. А память о прошлом должна жить, память, сохраняющая любовь к родине, своей, малой родине, которая перерастёт в любовь и нежность к великой родине – России.

Будем откровенны: нас ожидают нелегкие будни. Так чем же «сердце успокоится» в этом, мятежном 1975 году? Гадать можно по-разному, но есть понятия, значение которых непреходяще. Это благополучие в семье и счастье детей, взаимные любовь и уважение, это забота друг о друге, милосердие к малым, старым и инвалидам, это честный труд и достойная жизнь. Мы хотим, чтобы наши пожелания, дорогие друзья, совпали с вашими возможностями, воплотились в реальность.

Небо, усыпанное мелкими звёздами, лежало над деревней. То и дело распахивалась скрипучая дверь правления, и прокуренный луч вырывался на волю, и люди останавливались на ступенях, привыкая к темноте, их длинноногие тени стлались поперёк дороги. Дверь отворялась всё реже, реже, голоса утихали, и в окнах изб загорались огни. Сейчас поужинают, умоются, лягут спать.

Ночи стали знобкие, фиолетовый полог неба унизан переливчато-живыми звёздами: иней, наверное, будет к утру. Пахнет лежалой на земле травой и дымом, запах этот более всего напоминает о приближающейся осени. Неприкаянно одинокой душе в голой осенней

тундре, где лишь низко летящие вороны лениво качают мокрыми крыльями. Деревня погрузилась в аспидную темноту. Желтый свет в окне правления, от которого уходили люди, казался случайным, заблудившимся. Дождик холодил лицо, тукал по брезентовому плащу, под ногами хлюпала грязь. От этой неуютности в природе, от неприятностей, которые ожидали их впереди, было скверное до тошноты настроение. Дождь утихал. Ветер метался впотьмах по деревенской улице, скрёбся о стены, пытаясь пробраться к избяному теплу…

1975 год

Сплав леса

Мчится так:
И звеня, и воя,
И швыряя на берега,
Точно кружево дорогое,
Пену белую, как снега.

А. Решетов

Стоял тихий июньский вечер. Солнце, отяжелевшее за день, лениво опускалось на дальние, в голубичном, бледно-синем налёте сопки. Его темные брусничные отсветы разбросаны были повсюду: на засыпающей переливчатой воде, на бронзовых сосновых брёвнах, лежащих в завалах, на серых палатках, задравших высоко свои полы. Шёл лесосплав.

Мы, мальчишки, прибежали к своим отцам, чтобы тоже помочь в сплаве леса, ну и, конечно, поиграть, покататься на брёвнах и плотах.

Превосходный вечер опять был ярок и зелен. Лето только что вошло в полную силу, но оно ещё не изнуряло людей ни работой, ни зноем, только скотина уже страдала от оводов. Так славно было ступать по этой весёлой тропе! Молодые сочные зацветающие

травы росли чуть ли не на глазах, они так и выпирали из теплой земли. Казалось, от одного вида мясистых стеблей щавеля вязало во рту. Дикий цветущий белорозовый клевер источал едва уловимый медовый дух. Везде домовито гудели шмели, они кургузо садились то на клевер, то на бордовые колокольцы, сгнетая их своей тяжестью, купальницы, затопившие было внешней желтизной все луга, теперь уступили место этим колокольцам, первым ромашкам и нежной, пронзительно-розовой, словно лазурной гвоздичке (полярной). Кое-где в парных низинах уже зацветал пушистый, белый, с кремово-желтым отливом багульник. В конце сенокоса он будет дурманить косцам головы, но пока его очень немного, и тонкие запахи других трав овевают лицо при каждом, еще нежарком луговом вздохе. Дорожка бежала по сенокосным полянкам. Она то касалась молодого березняка, то огибала густые всплески ивы, рябины, то вскидывалась на краснеющую малиной горушку, то спадала в комариную, пахнущую папоротником низину.

Остро, слепяще мерцало в зеленых прогалинах густой синевы долгое озеро Глубокое. Было далеко за вечер. Вокруг переливались от ветра травы: поле овса сквозило тем сизым отливом. Густой, но не навязчивый запах зеленых соков плотно и настойчиво вместе с ветром давил со стороны поля.

Лес принимали на двух переёмных ямах: первая находилась около деревни у Мельничного ручья, вторая километра за три у Богатой корги. Сплавщики, закончив работу, готовились к ужину. Ребята, что помоложе, купались, что постарше – лежали возле костра, где в котлах на треногах варилась уха и каша. Дым струился жидким сизым столбом, а над костром летала, толклась мошкара и комары, смешиваясь с гаснущими пепельными искрами.

Там, где сопки вплотную подходят к реке, по серым каменистым уступам карабкаются в небо редень-

кие большие островерхие березки, да где-нибудь на самой вершине за Бревенным подпирает облака тупая, будто спиленной макушкой могучая сосна. Лес готовили в верховьях реки у Каневки, а потом сплавляли его вниз по Поною. Река бежала среди гор, каменных утёсов. Стремнину перегораживали грозные камни; об их каменную грудь часто разбивались лодки.

Поной весной мчится и разливается неоглядно. Гляди да поглядывай, ухо востро держи, река закружит лодку, перевернет вверх дном, о каменную грудь, бывает, хряснет, – прощай! В низинах пологие размытые берега сплошь покрыты бурой щетиной оголённого ивняка, словно выщербленный, чахлый лес. Брёвна, ободранные и зализанные водою, тесня друг друга, ныряли под камни, как огромные сёмги. Хватаемые мощным потоком, они то перевёртывались, как соломины, то вставали торчмя, то бухались в воду, ударяясь о камни. Я, напросившийся в лодку к отцу, завороженно глядел на воду, которая бурлила и клокотала под нами. Крупные шапки пены всплывали из-под камней, из-под коряг и ошалело крутились в водоворотах. Лодка, стремительно лавируя между темными корягами и каменными выступами, вырвалась наконец на спокойно разлившееся стремя реки.

Небо затянуло кисейными облаками, они куда-то спешили, наваливались друг на друга и клубились белыми клочьями. Иногда сквозь их рыхлую толчею проваливалось солнце, и тогда видны были далеко косой порог Логового ручья, а ещё дальше матово поблескивал плёс Богатого. Лодка ещё несколько минут с тихим плеском летела по инерции и наконец застыла.

Река в этом месте была широкая, течения не ощущалось. После грохота порога стало неестественно тихо. Уже полнеба зарделось, заиграло зарёй, уже верхушки берёз стали ловить красноватые отблески восхода, когда показались Мельничный ручей, а за ним разбросанные друг от друга дома Поноя.

На берегу у последней запани суетились сплавщики, словно литые из бронзы, по пояс голые, загорелые, мускулистые, в мокрых закатанных штанах, иные в резиновых сапогах с длинными голенищами. Ловко прыгая с бревна на бревно, балансируя баграми, они направляли лес дальше вниз по реке. На берегах, на отмелях, виднелись целые штабеля леса, вытесненного во время затора.

Работа сплавщиков трудная. Необходимо иметь не только ловкость, смекалку, но и проворство. Малейшая оплошность – можно угодить под лес. Сплавщиков подстерегала опасность на каждом шагу, на каждом прыжке.

С высокого берега Поноя было видно, как от Богатой корги до Пахтенного ручья река была вся загружена плотами. Сжатые бревна трещали, налезали одно на другое. Ограждение с трудом сдерживало напор, и если бы разорвалось надвое, то весь драгоценный лес мог бы уйти по течению в море. Вода в реке грозно пенилась. По всему берегу и в воде работали люди, одни рубили топорами связки, другие вколачивали в дно реки колья, закрепляя концы геркулеса. Третьи выносили на берег мокрые брёвна.

Слышались обрывистые команды, крики. Стон и гул стоял над рекой, хлестал дождь с ветром. Штабеля вырастали вдоль берега, а люди продолжали выносить из реки мокрые брёвна, иные подгоняли вплавь отдельные бревна. Обратно шли уже ночью. Странная, непонятная плыла ночь, вернее, висела над безмолвными деревьями. Она была статична, недвижима, и в то же время она словно проникала из всех вещей и предметов, весь мир был этой белой ночью. Она рождала самоё себя. Деревня и тихие избы, неопределенное небо и цветы в неопределенно-зыбком поле – всё было самой этой белой северной ночью. Бесцветная кисея белой ночи пеленала поля и деревню, комары звенели с бесконечным терпением. Но лето было все в цветении и ветре.

Синее, почти безоблачное небо открывалось так глубоко, так сильно пахло диким белым клевером. Солнце заливало золотым, ослепительным светом чуть ли не половину неба. Полярные жаворонки пели над лугами, их голоса со всех сторон струились в деревню. Пух от раскрывшихся одуванчиков веялся между домами, в речке с нагретой за день водой орали и брызгались купающиеся ребятишки.

И тут меня осенила мысль, простая мысль. Вот она, река-кормилица, вечное начало всему живому. Сколько людей кормилось только этой рекой из рода в род! Неисчислимо. И ещё тысячи будут ею жить. Всё пройдёт, а река останется. Никуда не надо ходить от родного порога. Здесь легко душе, как от правды и чести. И всё утвердится: и жизнь, и любовь.

1965 год

Супрядки

Куделю-то, бывало, пряла одна,
а не на вечеринке.
Поморская поговорка

Крепко держались никольские морозы, правда, не те морозы, когда трещат деревенские избы, когда, как постовые, перекликаются электрические столбы, когда дымы из труб уходят вверх, точно по отвесу. Нет, мороз держался двадцатиградусный, но под чистым небом, поэтому и казался цапким да хрустким.

Серая без края равнина осиротелых зимних полей. Белесая пустошь неба. Ветер гонит наискось седую позёмку, перехватывает белыми жгутами дорогу, стонет в телеграфных проводах. Изредка сквозь сухой шорох позёмки и повизгивания полозьев доносится рокот трактора, потом снова висит стылая тишина.

Дымно курится тундра, студено дышит в лицо. На запущенных бахромой инея проводах виснут, покачиваясь, нахохлившиеся вороны.

Беспредельная тишина полярного зимнего вечера. Застыли белые от куржака деревья, застыла луна над головой, застыли столбы дыма над избами. Под боком сверкает торосами Поной, а за Поноем растекается море. Но в придавленной сугробами деревушке чувствовалась запрятанная за бревенчатыми стенами жизнь. А белесо отсвечивающие столбы дыма над трубами напоминали о тепле, которое не иссякнет до утра.

Хорошо помню эти лунные ночи. Вот луна опустилась, и ещё недавно белые холмы и угоры всё больше темнеют, уходят в полумрак. А ведь, казалось бы, чем ниже опускается к земле луна, тем светлее должно быть на земле. На самом же деле наоборот: когда луна стоит высоко в зените-внизу светло как днём.

А теперь окрестности становятся всё сумрачнее, всё глуше. В улицу деревни нехотя вползали сумерки, синели стекла окон, меркли на них снежные узоры, за окнами копили вечернюю мглу сугробы, загорались над крышами первые звёзды. Морозный вечер накапливал густейшую мглу, от заснеженных крыш тянулись синие дымы, стекленеющий воздух ясно доносил каждый звук – мычали коровы на скотном дворе, блеяли овцы в стайках.

В такие долгие вечера собирались бабы на супрядки. Собирались по очереди то в той избе, то в другой. Брали с собой прялки, кудели, вязанье и под дышащий жаром, томившегося углями самовара пряли, чесали шерсть-еретинку (первая шерсть с овцы), вязали. Вели беседы, пели песни и рассказывали страшные истории. Любили мы мальчишками, лёжа на теплой русской печи, слушать их рассказы и песни. А потом провожали друг друга домой. Наш дом стоял на самом краю деревни, недалеко от кладбища. Хотя за нашим

домом раньше стояло ещё три дома, но со временем дома эти были снесены и наш дом оказался крайним. Проводив товарищей домой и оставшись одни, мы с братом неслись до своего дома сломя голову, и всё казалось, что длиннорукие кресты, шагнув за обочину, тянутся к тебе, зловеще скрипя на ветру…

Терско-Орловский

Всё раздражительней бурун;
Его шипучая волна
Так тяжела и так плотна,
Как будто в берег бьёт чугун.

А. А. Фет

День выдался с утра ненастный, с ветром, с беспорядочным волнением на море. На рассвете прошёл короткий крупный дождь, изба потемнела, приняла сразу невзрачный вид, скупо, бледно отсвечивала стёклами. Особенно много навалило на берегу в этот день водорослей, на песке – влажно-алых медуз, буро-желтых мелких звёзд. В невод попало много сёмги.

И сегодня в Поное был праздник, День молодёжи, и мы, молодые рыбаки, погрузили сёмгу на дору, слава богу, что дора находилась ещё у нас на тоне, и все вместе поехали сдавать её на рыбоприёмный пункт, а заодно попариться в бане, переночевать дома и погулять на празднике.

Бригадир Григорий Павлинович Куковеров смотрел в окно, и мы точно знали, что он стоит у окна и ругается на нас, мол шторм идёт, а они гулять поехали. Море потемнело, билось в берег, ветер посвистывал в вешалах. Волны шли быстро, пенясь, налезая друг на друга, а по горизонту росла, приближалась чёрная-лиловая полоса. И вчера на море был шторм. Ходил по берегу, песок мело, как позёмку. Мутное море, низкое небо – больше ничего. Ветер шелоник, юго-западный. Очень сильный. Вечером усилился чрезвычайно, бил в стену избы, где жили мы. Стёкла звякали, вздрагивали пол и стол, лампа мигала.

Сегодня облака разошлись, солнце, но ветер не утих, и море по-прежнему бушует.

С утра на тони должны были идти доры, но не пошли. Неожиданно пошёл сильный снег и потом град.

Вчера пробовали доры пробиться к пароходу, что пришёл из Мурманска, но не смогли, дошли лишь до устья реки. Говорят, смотреть страшно было – такую волну роет! Все люди вернулись, будут ждать следующего рейса, через неделю. Если взводень опадёт, то доры пойдут, а не опадёт – не пойдут.

После полудня облака расступились, открыв чистое с золотинкой небо, и над водой обрадовано закружились чайки, то кидаясь вниз и чиркая крыльями по волнам, то взмывая вверх. Мы прошли уже Русингу, когда с северо-запада стала надвигаться сизая хмарь, и подул холодный резкий ветер. Море нахмурилось, потемнело, и снова по нему понеслись в быстром беге злые, пенные барашки. Дора летела будто на крыльях,

кренясь на левый борт и то ныряя носом в волны, то выбираясь на гребни.

Стало слышно, как напряженно работает двигатель, но мы уже подходили к фактории. Подойдя к берегу и развернувшись носом к волне, дора встала на якорь, тут и произошла казусная история.

Николай Тарасенко крикнул Валере Каневу:

– Бросай якорь!

Он незамедлительно это и сделал, однако при этом сказал, что якорь не привязан. На что Виктор Попов ответил:

– Ничего сколько-нибудь подержит.

Сдав рыбу и пересев в моторную лодку, мы поехали в Поной.

Днём погода наладилась. Восточный ветер согнал туман, очистилось небо и вокруг всё заиграло красками. Ослепительно засверкали синяя вода, снежные откосы, и тундра оказалась не серо-коричневой, а красноватой, ярко-зелёными пятнами мха. Лето всё не наступало, даже лист на кустарнике ещё не успел проклюнуться, и, хотя на огородиках возле домов картошку посадили с ростками, она вся успела померзнуть и погнить, а пересаживать уже не имело смысла.

Погуляв на празднике, мы собрались ехать обратно на тоню. Спустили на воду карбас, сели в него, чтобы добраться до доры, которая стояла на якоре ниже Корежного ручья. Карбас мотался на прибойной волне, рыбаки изо всей мочи гребли и наконец отошли от берега. Река под деревней полога, мутна, но высокие приливы дважды в сутки совершенно меняют её лицо и характер: она полнеет, и на сонную её гладь падает зеркальный отблеск. Море во всей своей неоглядной ширине лежало перед нами, на этот раз гладкое, как стекло. И за два часа мы добежали по воде к Терско-Орловскому. На карте нашего района и родного Кольского края мыс Терско-Орловский – на самом востоке, одна из самых дальних точек.

Каким-то неярким и мягким казался луч маяка с берега. Полоска света быстро «пробегала» дугу по морю и возвращалась отражателем в обратную сторону ещё более слабой. Царство тьмы поглотило и нас. Битых два часа оно держало в плену, пока наша дора пробивалась к огоньку на длинном пути рыбацкого домика. Маяк – самый старый на Кольском полуострове и один из древнейших на всем Севере. Строили маяк монахи с Соловков в первой половине XIX века. Кирпич доставляли парусными судами. Раствор готовили на гагачьих и утиных яйцах. В давние времена, в XVI–XIX веках, понойская земля была свидетелем важных событий в истории освоения русского Севера. Поморы выдерживают нападения англо-французов. В середине XVIII века в устье речки Русинги ведётся добыча медной руды на так называемых «лапландских заводах». Во времена М. В. Ломоносова на крутом понойском берегу действовала астрономическая обсерватория. В начале XX столетия подводный телефонный кабель был проложен по дну Белого моря к Архангельскому берегу. В годы войны район реки Поной был стратегическим. Земля здесь бережно хранит ещё не раскрытые страницы боевых событий. Добыча сёмги, морского зверя, выпас оленей, выращивание картофеля, турнепса и прочее, чем можно и должно гордиться нам, русичам, за дела наших предков.

Маяк запустили в 1841 году. Французская фирма «Барбиер» снабдила его, оптикой и всеми механизмами светильника. Полутораметровые прочные стены второе столетие успешно выдерживают натиски непогоды и времени. Как-то при осмотре линз я обратил внимание на плакат: «Маяки – святыня морей, они принадлежат всем и неприкосновенны, как полпреды держав».

В двух километрах от нынешнего маяка находится площадка на обрывистом берегу моря. Здесь ещё до строительства существующего маяка, монахи соорудили и поддерживали огонь небольшого сигнального ма-

ячка. На вершине деревянной треноги укреплялась стеклянная банка, в которой на тюленьем жиру горела как бы большая свечка. Также находится там и пушка. Ещё по историческим меркам недавно корабельное орудие давало знать идущим в тумане судам: здесь берег, осторожно. Оно служило при маяке как бы помощником, ведь туман поглощал световые сигналы. С развитием радиальной техники пушка утратила былое значение, да и время наложило отпечаток. Она сиротливо стоит на одном колесе и пеньке, но, как и в 1891 году, её дуло смотрит на море. Вот уже полвека орудие молчит.

За ним виднелся Городецкий маяк. Именно там в 1889 году в июле месяце потерпел крушение английский корабль, было спасено 25 моряков. Ещё раньше, в июле 1886 года – девять норвежцев. Английских моряков спасала королева лопарская Куковерова Татьяна Ивановна. Когда ей предложили деньги, Татьяна Ивановна оскорбилась: «Жизнь людская дороже всякого золота, я и мои лопари спасали их от души, добра желая, а не денежной выгоды».

Если смотреть на мыс издали с моря, он казался чёрным, и снег, что тянулся многокилометровой широкой полосой по склону, не таял всё короткое лето и ещё более усиливал ощущение нелюдимости.

У самого моря, в полосе прибоя – мелкий песок, кое-где изборождённый илистыми размывами. В прилив песчаная кайма сгущалась, в отлив расширялась. Когда дул шелоник, юго-западный ветер, беломорская волна жадно кидалась на пески, пытаясь начисто смыть, слизать их. Но они не поддавались, лежали плотно, ровно, будто городской асфальт. Волны неистовствовали, и от них по песку катилась пена.

От берега в море уходила укреплённая на высоких шестах (гунтера) «стенка» ставного невода. В воде она упиралась в горловину снасти. За «горлом» – обширный ящик» сетной отвод овальной формы тоже на

шестах, вбитых в грунт ила, на якорях. В отлив «ящик» обсыхал, в прилив скрывался под водой. Избушка на горе и ставной невод назывались тоней.

Ловили здесь боярышню-сёмгу. Зажгли массивную настольную лампу, хотя окна темнели ещё негустыми сумерками. Низко над морем, заполняя редкие голубые просветы, летели лохматые, изжелта-серые тучи. Молочно-синее, даже зеленоватое с ночной стороны и мигающее последней звездой небо у края продольного сизого облака разверзалось в сквозную бесконечную пропасть. Застывшее с вечера облако всю ночь темным полотнищем висело над морем. Очень скоро его разнесёт, развеет поднимающийся с земли ветерок, и тогда бесконечность, затканная невидимой пеленой, исчезнет. Но пока бесконечность разверзается у самого края перистой тучи. Чем выше небо, тем безбрежнее и сильнее. Оно теряет холодный зеленоватый оттенок, переходит в откровенную голубизну, и чем ближе к солнцу, тем ярче и золотистей.

Первый поход сёмги – с начала июня и называется она залетка, сёмга крупная, сильная, жиловатая. С 10 июня и до 21 июля (Прокофьев день) идёт всё межень, мелкая сёмга. С Прокофьева до первого Спасу, то есть до 14 августа, может идти, но не каждый год, сёмга – чёрная рыба. Эта уже будет покрупнее межени. А со Спасу и до конца октября, пока лёд не появится, идёт осеняя сёмга, самая крупная и постоянная, и это называется главный поход.

Светало, понойская летняя ночь – не ночь, в третьем часу на дворе видно каждую травинку.

В углу избы печурка с плитой, на ней кипяток в большом и заварка в маленьком чайниках. Вдоль стены узкие нары в два этажа. Стол, две скамейки. Тоня рассчитана на шесть человек, но сейчас на ней сидели четверо. Три часа ветер не стихал. Белоглазая понойская ночь равнодушно глядела в оконце, и по избёнке зыбился таинственный спокойный полусвет. Утром

направление ветра не изменилось. Юго-запад зарядил, кажется, на неделю. Рыба в берег не шла, пряталась в глубине. В неводе оказалось пусто, если не считать нескольких маленьких никудышных камбалок, да трёх пинагоров.

Начинало штормить. Море взлохматилось, побелело от пены. Ветер вроде бы потянул на побережник северо-запад. К ночи шторм поутих. Ветер сменился на северо-западный. Волны били не в берег, не в лоб, а наискосок. Когда ночью звено спустилось к неводу, то все увидели, что и небо прояснилось. И была снова чарующая тоньская белая ночь, наполненная посвистом ветра и грохотом прибоя. И море отсюда, с высокого берега, открывалось во всей необъятности и красоте.

В тихие часы волны спокойно бежали в берег, наполняя всё вокруг шумом вкрадчивым, словно доверительный шепот. А во время прилива, да ещё с ветром, бьющим прямо в мыс, море гремело, пена шариками катилась по песку. Нептун ярился и плевался ею, словно хотел выжить рыбаков с насиженного места. А за сетным отводом плескались волны, если было солнечно, вода в ячейках блестела стёклышками. Чайки кружились над неводом, высматривая в нём рыбу на песке и не решаясь спуститься: боялись запутаться в сетях... И от досады чайки кричали пронзительно и недовольно.

Вот и лето уже пошло под закат. Белые ночи кончились. Вечерами солнце садилось где-то за тоней Яички в воды Студеного моря. Юго-западная стенка избёнки на тоне некоторое время излучала чуть ощутимое, если потрогать щелястые брёвна рукой, тепло, и как только пряталось солнце, тотчас остывала. С моря надвигалась холодная мгла с пресноватым запахом тумана. В сизую наволочку сливалось небо и вода. Далеко у горизонта вспыхивал, словно маячный огонь, блеск зари и таял у нижней кромки облаков. Всё становилось неопределённо-серым: косогор, изба, облака и

море. В полутьме, будто ощупью, плескались волны внизу. От них непонятного плеска и бормотания на душе становилось знобко и неуютно.

Мы уезжали с Терско-Орловского. День, как нарочно, отменно хорош, солнце светит в полную силу, с моря дует лёгкий ветер, идёт прилив, губа наливается, мутнеет и тужеет. Моторист крутит ручку, мотор хлопает и начинает биться ровно и приятно по тогу. Моторист идёт на нос, берётся за якорный канат. Мы помогаем ему и втаскиваем на борт мокрый чёрный якорь. Потом моторист идёт на корму, и мы трогаемся.

Погода установилась окончательно, ветер нам ходовой, всток, и помогает ещё отливное течение. Мы проходим мимо голых кольев от ставных неводов, мимо пустых тонь.

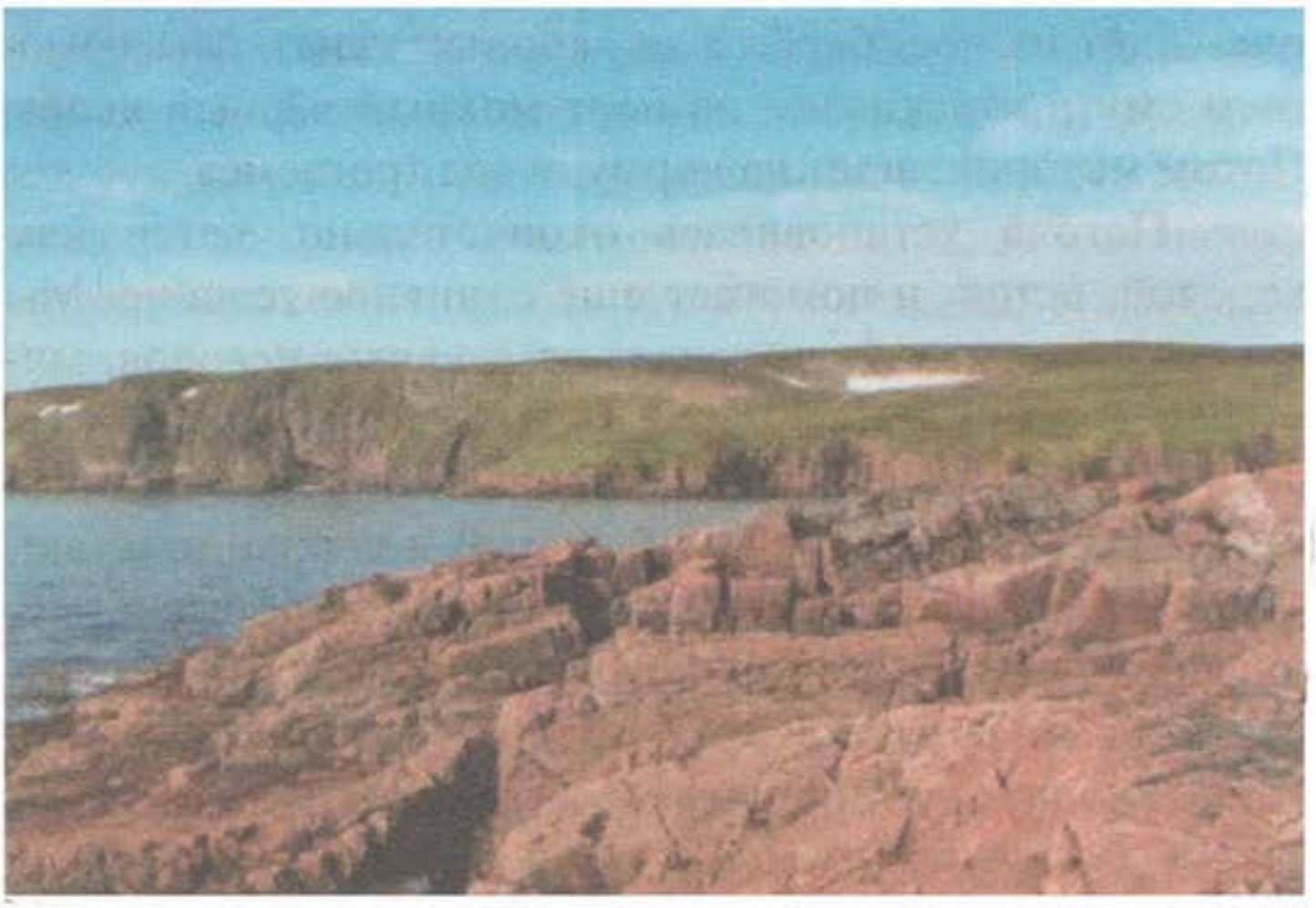
Справа море с темными полосами обнажившихся кошек, с чайками, грузно сидящими и лениво взлетающими. Слева – берег, всё повышающийся, обрывистый, голый, с угрюмыми стариковскими складками, с белыми пятнами лепящихся на обрывах цветов, похожих отдалённо на одуванчики.

С водой не успевали зайти в Лахту и пришлось ждать воды на Трёх островах. Зажгли лампу, разделись, разлеглись на мешках и оленьих шкурах возле стола. Печка гудела, было тепло, за стеною жахало и жахало море, а у нас грелся чайник, карбаса были выкачены на берег. Ловушки сняты, развешаны на кольях возле тони и водорослевые бороды, источая дурманящий запах, мотались на ветру. На дальнем мысу посверкивал маяк, его хорошо было видно, и было приятно от мысли, что не такая уж пустыня кругом, что в море сейчас взбивают белые дороги теплоходы, всякие лесовозы и буксиры, что на берегах светят маяки, и по таким же, как и наша, избушкам сидят рыбаки, ждут чаю и гадают насчёт завтрашней погоды.

Тоня Красный Нос

«Я, юный сын морских факторий,
Хочу, чтоб вечно шторм звучал,
чтоб для отважных вечно море,
а для уставших - свой причал»

Н. Рубцов



Наступает вожделенный, давно ожидаемый август месяц. Именно в это время, к середине месяца, начинает шевелиться рыба и мужики снимаются с сенокоса, оставляя косьбу на баб и подростков, тем более больше половины уже скошено. Рыба идёт заметно не дружнее, чем в меженное время.

Дни убывают, и солнышко давно уже уходит в море, и чем дальше до первого Спаса идут летние дни, тем дальше ночует солнышко в море. Морские ветры отдают крепким осенним холодом, а летние дуют и реже, и далеко не постоянно. Морошка, которой такое обилие по всей тундре за гористым берегом, поблекла, заводянела.

Чаячьи выводки, чабры стали большими птицами и покрикивают сильнее и учащеннее, чуя свой скорый отлёт в тёплые дальние страны. Показались кое-где даже вороны со своим зловещим криком, редкие летние гости. Лист на берёзках и ивняке начинает крепко желтеть и к концу августа летит и прогниет на сырой влажной тундре к середине сентября, когда выпадает первый снег, который почти всегда бывает зимним нетающим снегом.

После Успеньева дня завязываются частые холодные туманы и начинают дуть северные ветры. Высокие гранитные скалы до 25 и 30 сажен высотою, выкрытые тундрой с вечным снегом в оврагах, темно-красноватые горы, которые тянутся от Святого Носа до реки Поной, даже они преобразились от поменявшегося цвета карликовых берёз, растущих на них и золотого корня. Всё это мы видели, проплывая мимо скал к Красному Носу, где была рыболовная тоня. Там нам надо было перехватить поход сёмги. Нам – это моему отцу, Трофиму Григорьевичу, Александру Алексеевичу Харлину и нам, зуйкам (на побережье так звали мальчиков-подростков) мне и Каневу Ване. Вечерело, когда мы подошли на доре[1] к тоне[2]. Солнце легло на море и раскатило до берега зыбкую желтую тропу: свет слегка померк, затуманился, захолодел вроде бы, и каждая травинка за окном потемнела и стала строже. Но вот солнце ушло за горизонт, оставив на море тёплые сумерки и тишину. Пока готовился ужин, стаскали все вещи и рыболовные снасти на берег. После ужина вышли на воздух, усаживались, перебрасываясь словами, и нежились в тёпле вечера.

---

[1] Дора – большая морская лодка с двигателем на корме.

[2] Тоня – рыболовный участок, предназначенный для ловли рыбы ставным неводом. Кто на тонь, кто ф стада поезжают. Поной

Ночью пробудил шум дождя. Ливень катился по крыше с порывистым шумом, и я ещё сквозь томление и сон понял, что дождь перемешан с ветром и идёт с полуночной стороны. Темно было, как октябрьской ночью, в чёрное оконце едва сочился тусклый свет, более похожий на плесень.

Пора было вставать на установку невода. Надев желтые роканы и рыбачьи сапоги, сразу растянув сапоги на всю ногу до самого паха, кинулись на берег. Ливень стегнул по лицу и заставил отвернуться, сначала показалось, что воздух выкачан, а осталось вокруг лишь эта секущая бесконечная вода, потому что ветер забивал рот, дождь хлестал по лицу, даже больно стало щекам и нечем было дышать. С гор и болота в море хлынули темные ручьи, спуск от избы размыло, и мы катились вниз на седалищах, скользя резиновыми штанами. У моря было светлее, и оттого казалось ещё страшнее. Мутная волна мчалась с накатистым рёвом, и громово рассыпалось по берегу. Только безумец мог покинуть сейчас спасительный берег.

Тут неожиданно черкнула по небу молния, словно бы на оконном стекле царапнули мелом, и следом на своей грохочущей телеге прокатился Илья, высекая из небесных булыг искры. Казалось, дождь сразу запах гарью, потяжелел и присмирел. Надобно, лихорадочно работая гребями, вытащить карбас[3] в голомень[4], мористее, где волна хоть и выше, но не столь частая и дробная.

Море шумело довольно сильно. В воздухе, однако, уже успокоилось, стало тихо, даже глухо и вал жало многие десятки километров, но и здесь он шёл с такой мощью, прочеркивая раз за разом под тихим молодым

---

[3] Карбас – большая поморская лодка.

[4] Голомень – открытое море, море вдали от берега. Снастя на голомени коньцом – ф самом голомени. Поной

месяцем огнистые полосы пены, и с таким гулом, что становилось ветрено и зябко от возникающего в тебе собственного холода.

Бедная дора, поставленная на отводнице подпрыгивала у скалы, словно силясь заскочить наверх. Камень и море – ничего больше. Привычное, холодное море. Легонький снег вился за стеклами окна. Снова поглядел в окно: камень, камень и камень. Страшно подумать, с какой неукротимой силой веками стремились к этому угрюмому, штормовому, трудному морю русские люди. Ведь и природа бедна, гола, и мест под жильё, под огороды – о пашне и речи нет! – мало. Недра? Кому была охота копаться в этих недрах на краю земли? Это уже потом, при Петре, стали искать здесь руду для заводов. Что же влекло сюда, к морю, людей?

Ясно – тюлень, пушной зверь и рыба, несметные богатства. И ещё открытые во весь мир незамерзающие воды. Вот и шли на ладьях, на греблях. К Шпицбергену, к Груманту, к Новой Земле-на парусах. У края лесов ставили салотопки, валили лес, собирали жемчуг на иных реках, таких как, Поной. Гибли от зверя, замерзали в пургу, проваливались сквозь лёд, возводили остроги, рубили крепости. И шли на Север. На Север. Шли и плыли. Вон и дора идёт, с фактории из Лахты, качается, дымит, прыгает, точно поплавок. Штормит, не меньше пяти баллов, трудно будет подчалиться к скалам, ещё труднее перегрузить рыбу.

Тут риск, горячка, напряжение крайнее, тут не зевай, не подводи других и себя береги: покалечит, раздавит между бортом доры и скалами; в открытую воду свалишься – на личное счастье надейся.

А потом налетел шквал, всё утонуло в дожде и тумане, свет фары-прожектора с доры едва пробивался

к губе[5], и нельзя было что-нибудь увидеть, различить. Когда пронёсся заряд[6] и прожектор осветил карбаса, увидели, что натиск моря выдержан: концы не оборвались, люди на местах, дора прыгает с волны на волну, как раскалённый самовар, шипит паром.

Загрузили карбас, подвели второй. После шквала, глубже распахавшего воду, работать стало труднее. Почти невозможно. Огромный вал перехлестнул через борт, залил дно, рыба всплыла. Бригадир мокрый, злой, силился перекричать ветер, волны, скрежет бортов, называя нас, зуйков[7] – «туес берёзовый». Его никто не слышит и не слушается.

Сколько лет потом пришлось мне работать с Александром Алексеевичем, и я никогда не слышал от него ругательных слов и мата. От усталости, качки, опасности рыбаки перестали понимать друг друга, работали по памяти, по привычке.

Постепенно море успокоилось и не ворочалось более угрозливо, розовый половик раскатало солнце по едва сморщенной глади, и блики света, похожие на больших разомлевших зверей, легко колыхались на воде. Тихо было, и утомлённо шелестя, накатывалось море на песок, истончаясь до прозрачности, сочилось в желтую зернь и чуть слышно шипело. Ветер заметно стих, и небо прояснилось, заблестело звёздами. На восточном склоне его появились белесые полосы, пред-

---

[5] Губа – морской или озерный залив. К им в губу лес несёт. Поной

[6] Заряд – короткий проливной дождь или мокрый снег. С моря зарят пришол с лепой. Поной

[7] Зуёк – мальчик, помогавший взрослым на промысле на Мурманском берегу. Он в зуйках ходил. Поной.

вестники рассвета. Свинцовое небо жалось низко, море ещё ворчало, но покорно ложилось у ног.

После шторма прибой был грязен. Он выбрасывал на берег (мол) разный мелкий мусор и, словно жалея расстаться с ним, нерешительно слизывал его обратно, но далеко от берега не уносил.

Новая волна тащила его опять, выплёскивала на прежнее место, а следующая не ленилась, забирая с собой. Что здесь только не сталкивалось, не скапливалось в вынужденном соседстве. Яркие жестянки, недопитые бутылки, промасленные концы, всякие бидоны и плоские, и круглые, пластмассовые и алюминиевые, которыми море каждый год щедро одаривало. И после каждого шторма на берегу моря были выброшены сорванные с палуб какие-то бочки, обрывки верёвок и всяких разноцветных швартовых концов, из которых пастухи-оленеводы плели хигны[8], и всякая мелочь.

Любили мы, детвора, искать всякие выкинутые морем интересные вещи, приспосабливая баночки под хранение соли, чая и всяких мелочей. Однажды, когда я подростком сидел на тоне Орловский, мы увидели пляшущую в волнах бочку, которую тут же вытащили на берег. Бочка оказалась с комбижиром, целое лето пекли на нём блины. Откуда всё это бралось, наносилось, несмотря на бдительность санитарной портовой инспекции, качалось часами, пока прилив не перемешает основательно слои воды, и тогда где-то в глуби её пропадут, уничтожатся отбросы бытовой жизни приходящих и уходящих кораблей. Но морское дыхание над этими отходами всегда свежо.

---

[8] Хигна – оленья узда. Нынче хигны передовы ремённы плетут из ровдуги. Поной

Школа

Одно начало, да разная дорога
Поморская пословица

В тот далекий 1959 год, когда я пошёл в первый класс нашей школы, день за днем все резче становились краски утомленной природы. Всё тяжелее набухало небо тучами, и в воздухе чувствовалось суровое дыхание осени. Вставали ясные зори, и играл пурпурный закат, предвещая ранние заморозки. С криком и беспокойным гомоном кружились на холодном ветру птицы, собираясь в отлёт.

В то утро, выйдя из дома в школу, я увидел траву, седую от инея. Всё кругом влажно блестело, а капустный запах морозца был прохладно свеж. По реке тяжело катились волны, на их серых гребнях вскипала пена. Ветер перекрутил листву кустарника, берег был серый и весь какой-то шершавый, вода набегала на ка-

менистый берег и тут же с отвращением отпрядывала. Пришла осень.

Школа наша стояла на горушке, недалеко от моего дома, мне оставалось лишь только взбежать на пригорок. В то время это была большая двухэтажная, десятилетняя с двухэтажным интернатом школа, в которой учились дети из Каневки, Краснощелья, Сосновки, Терско-Орловского, Корабельного, Гремихи, Лахты даже из Ловозера. Построена она была углом, в форме буквы «Г», и мне кажется, что я понимал простой и ненавязчивый замысел её строителя. Здание школы должно быть больше обычных домов, вместительнее, но если вытянуть его в длину, поперек села, то перегородишь улицу, если же развернуть вдоль, откроешь господствующим ветрам, северному и южному, которые будут продувать его насквозь. Форма буквы «Г» – мудрый компромисс. В каждом классе есть печь. Посреди урока без стука распахивается дверь, входит уборщица, она же и по совместительству истопница Нюра, и длинной кочергой начинает перемешивать и разбивать прогоревший уголь, а затем подбрасывает новую порцию дров. Бесполезно объяснять ей, что надо делать это на перемене. Она полна серьезности, и лучше принять её приход как должное.

Да, многое вспоминается про нашу родную школу: и как с нетерпением ждёшь перемены, чтобы поиграть в чехарду, а на большой перемене в лапту, зимой же прокатиться на оленьих шкурах, которые родители специально давали нам, чтобы их раскатали, этим доводили шкуры почти до полной обработки, удаляя верхний слой мездры.

Через двадцать лет, когда вновь пришлось посетить нашу уже безлюдную школу, мне пришли грустные мысли. Никого там, как мне хотелось, не было. В брошенном на пол, разбухшем от сырости классном журнале против каждой фамилии оценки. Есть «пятер-

ки», есть и «двойки» – как везде. Разве что спрашивали ребят ежедневно: учеников уже оставалось мало, каждый на виду. Тихо, как в церкви. Прошёл дальше в свой первый класс, руки сами сдернули кепку. Вот здесь, за этой партой, ставшей такой маленькой, что я с трудом пролез, когда-то сидел я. Вот сюда целых семь лет я бегал, когда с радостью, когда неохотно. Здесь мы выбегали из класса в зал на переменку, устраивали тут кучу малу, гонялись за визжащими девчатами.

Сейчас зал представлялся странно маленьким, такой же показалась вся школа – и классы, и учительская. Заглянул в неё впервые и безбоязненно. Всё как-то сузилось, сжалось, стало тесным. Таким, должно быть, взрослая птица, вернувшись спустя какое-то время, находит гнездо, в котором увидела свет. Грустно…

1994 г.

Шторм

Несмотря на осень, день был тёплый и ясный. Солнце склонялось к закату, погружая косые лучи свои в воды Белого моря. Свежий приморский ветер хотелось жадно вдыхать всей грудью.

Не успели пройти Городецкий маяк, как погода начала портиться. По небу заходили тяжёлые, лохматые тучи, кружась, подул ветер; вздрагивая сурово, нахмурилась вся водная равнина. Вокруг сразу всё посерело, изменилось. Чувствовалось приближение бури.

Это было с утра, а к вечеру, подбрасывая дору, уже в бешеной пляске прыгали волны, на разные голоса завывал ветер. Буря усилилась. Клубясь, ниже опускались рваные тучи, громоздились неуклюжими пластами, вдали тяжело наваливались на море и суживали горизонт, пенные, как соломенный дым; вскипая и пенясь, громадными буграми катались волны, по необъ-

ятному простору, со свистом и воем проносились вихри, поднимая каскады перламутровых брызг. В полумраке, разрезаемом ослепительными зигзагами молнии, беспрестанно грохотал гром, раздражаясь оглушительными ударами; всё вокруг ревело и ухало. Море клокотало, точно подогреваемое адским огнём. Дора еле справлялась с разбушевавшейся стихией. Зарываясь носом в волны, она качалась на них, как скорлупа, то скатываясь в разверстые бездны, то снова поднимаясь на водяные холмы. Иногда волны, раскатившись, стеною обрушивались на дору, задерживая ход, обдавая брызгами, приводя в содрогание весь корпус, но дора рвалась вперёд, упорно держа свой определённый курс.

И снова сверкнув молнией, ещё сильнее загрохотал гром, сливаясь с рёвом бури в один грозный аккорд. Мотор работал, изнывая на полных оборотах. Море накрывало волною дору всю от носа до кормы. И она, казалось, напрягала последние силы, погружалась в кипящие провалы, падала с борта на борт, упорно поворачиваясь влево. В разрыве чёрных туч показалась молодая луна. Это небо серебряным полуглазом смотрело с высоты, следило за нашим рискованным маневром.

В неравной борьбе истощались последние силы. Отчаяние рвало душу. Нет, никогда нам больше не причалить к желанному берегу. Он пропал для нас навсегда в этом бушующем хаосе, мрачном и холодном, как сама пучина. И безмолвно стонала душа, истерзанная злобой циклона. Я настолько устал, что перестал ощущать страх. Сознание помутилось. Всё стало противным. Смерть дышала холодом бездны, так близко раскрывшейся перед нами, рвала нас лохматыми лапами циклона.

Но вот дождь прекратился, ветер немного ослабел. Из прорыва туч на короткое время глянуло солнце, залило блеском вспененную ширь и спряталось надолго. И снова тысячеголосым зверем зарычало море, хищно вздыбив на своей широкой спине пенные космы.

Буря, сожрав солнце, продолжала неуёмно буйствовать. Иногда на короткое время она будто затихала, чтобы сейчас же разразиться ещё с большой силой. Воздух был настолько упругим, что сгибал человека в дугу и взрывал море словно огромнейшими железными заступами. Клокоча пеной, катились водяные глыбы величиною с трёхэтажное здание. Гудела высь, клубясь тучами, похожими на кипящий клейстер, хрипло рычали, разверзаясь, пучины.

Ничего не было видно, кроме взлохмаченного моря и падающих к горизонту скомканных туч. Так продолжалось до ночи. Наступила тягостная тьма, усиливая безнадёжность в душе. Небо и море исчезли. Мир казался раздробленным в брызги.

Дора снова ринулась в бесконечность, окутанная хохочущим мраком. Погода не улучшалась. Над дорой по-прежнему вздымались мутно-зелёные стены, обрушиваясь на нас пенно-белыми потоками. В лохматой и ревущей тьме, в чёрных потоках воды и воздуха, продолжая содрогаться, мчалась дора. Буря утихла резко, как и началась, рано утром. Уже на востоке проявились блики зари, как от бури, истощившей свою энергию, остался свежий ветер, гнавший дору в сторону берега.

Багрово пенилась заря, разливаясь по зыбучей шири малиновым соком. Спустя ещё некоторое время над волнистой далью показался край лучезарного диска. Чайки, летая, приветствовали восход бодрыми криками, улыбались люди. Теперь нам ничто не угрожало, под ногами ничего не качалось, твёрдая земля находилась рядом. Показалось солнце, мутное, как сальное пятно на серой бумаге. Усиливалась качка, несмотря на малый ветер. Это приближались к сувою – к двум встречным течениям Белого и Баренцева морей, которые образуют толчею. Утренний туман понемногу начал редеть. Наступало пока ещё прохладное сентябрьское утро, хотя безоблачное небо цвело золотым

виноградом звёзд. Море, заштилев, дремало мёртвым молчанием. И мы, наслаждаясь утром, поглядывали на высокое бархатное небо, усеянное звёздами.

Наконец-то наступило тихое, ясное утро. С левой стороны виделись первозданные массивы гор. Они были совершенно голые, безлюдные и уходили в голубую даль серыми очертаниями. Некоторые взметнули к небу тяжёлые куполообразные вершины, другие сгрудились остроконечными скалами, точно там когда-то бушевали гранитные волны и навсегда застыли в разнообразных формах. Иногда казалось, что из моря надвигались поколебленным фронтом великаны: одни из них храбро выступали вперёд, обрушиваясь в пучину крутыми уступами, другие будто в испуге остановились, образуя в извилинах заливы, губы, бухты. В них кое-где скрывались становища смелых поморов.

А справа, уходя на север к таинственному полюсу, величественно раскинулось Белое море. Ни одной морщинки не было на нём. Сыто поблескивая, оно лишь чуть-чуть вздыхало, молочно-голубое, такое мирное, внушало одно полное доверие к себе. Дора, сопровождаемая криком чаек и рыданиями гагарок, продолжала разворачивать морские воды. Встречались стайки чистиков, так красиво ныряющих в прозрачные глубины за пищей. Изредка недалеко от борта, всплывала белуга, блестя атласной белизной своего длинного туловища.

По бирюзовому небосклону, бесконечно высокому и прозрачно-нежному, местами подёрнутому, словно белоснежным кружевом, маленькими перистыми облачками, быстро поднимается золотистый шар солнца, жгучий и ослепительный, заливая радостным блеском водяную холмистую поверхность моря. Голубые рамки далёкого горизонта ограничивают его беспредельную даль. Как-то торжественно безмолвно кругом. Только могучие светло-синие волны, сверкая на солнце

своими серебристыми верхушками и нагоняя одна другую, плавно переливаются тем ласковым, почти нежным ропотом, который точно нашёптывает, что в этих местах море всегда находится в добром расположение духа. Бережно, словно заботливый, нежный пестун, несёт он на своей исполинской груди плывущие корабли, не угрожая морякам бурями и ураганами пусто вокруг!

Не видно сегодня ни одного дымка на горизонте. Большая морская дорога широка. Изредка блеснёт на солнце белуга, покажет спину морской заяц или высоко в небе промелькнет белоснежный альбатрос – и снова пусто. Снова рокочущее море, солнце, да небо, светлые, ласковые, нежные.

Слегка покачиваясь на морской зыби, дора быстро идёт к Святому Носу, удаляясь всё дальше и дальше от сувоя, с попутным и ровным, вечно дующим в одном и том же направлении северно-восточным пассатом, бежит себе мили по три-четыре в час, слегка накренившись своим подветренным бортом. Легко и грациозно поднимается дора с волны на волну, тихим шумом рассекает их своим водорезом, вокруг которого пенится вода и рассыпается алмазной пылью. Волны ласково лижут бока доры. За кормой стелется широкая серебристая лента.

Дора, подгоняемая ровным мягким пассатом, легко и свободно поднималась с волны на волну. День разгорелся воистину волшебный. Спокойное море словно бы дремало и с ласковым рокотом катило свои лениво набегающие одна на другую волны, залитые серебристым блеском солнца. От моря веяло нежной, не осенней прохладой. Море едва трепетало рябью и словно о чём-то ласково шептало…

Эпилог

И снова я решаю: вот придёт весна, возьму билет – и прямо туда, в Поной. А пока мне снятся дома, утопающие в белых снегах, и пурги, поющие под окнами. И несутся с холмов стада оленей, шумит, путаясь в ветвистых рогах, растревоженный ветер. И сполохи сияния обжигают небо разноцветным огнём. И тяжёлая волна отлива с гулом заглатывает в тьму холодного моря береговую гальку.

А вдоль реки крутым коромыслом выгнулась улица – белые ромашковые дворы, сбегающие к воде тропинки и дома, дома, глядящие окнами на реку и тундру... И я даю себе в последний раз торжественную клятву: что бы ни случилось, но в этом году – непременно…

СОДЕРЖАНИЕ

Отзывы читателей о книге 5
Предисловие 8
Багульник 20
Баня 20
Бревенный порог 24
Бухта революции 27
Весна 33
Возвращение из армии 43
Гроза 48
Детство 52
Дровосечка 54
Есть ли власть у сельской власти,
или Так ли важно иметь сельское поселение? 59
Жара 65
Забой оленей 68
Закон российских грабель
(письмо в газету «Кольский маяк») 75
Зверобой 81
Зима 89
Зуд укрупнения 96
Колодец 98
Избомытие 101
Ильин день 104
Истоки 106

Историческая справка
Летопись с 1532 года 108
К пароходу 118
Карповка..... 124
Кому сегодня на Руси жить хорошо? 127
Лахта..... 135
Ледостав 139
Ледоход 143
Лето 154
Лисичкин хлеб 156
Малая Родина *(письмо в газету «Ловозерская правда», июль 2007 год)* 159
Мой дом 162
Старый дом 167
Море 167
На «буранах» в Поной 172
На погосте 178
Ночь в Русинге 180
Осень 182
Оттепель..... 192
Переправа..... 196
Подготовка к путине 200
Пожар 203
Покров день 205
Помощь колхозу 207
Приезд в Поной 213
Пурга 217

Пялица 221
Река 228
Рождество 230
РУЗ (рыбоучётное заграждение) 238
Рыбалка 239
С парохода 243
Самолёт Ан-2 *(трудяга «аннушка»)* 246
Сбор плотов 248
Сбор яиц 251
Связь 253
Сенокос *(Ода понойским женщинам)* 255
Собрание в колхозе 261
Сплав леса 264
Супрядки 268
Терско-Орловский 270
Тоня Красный Нос 278
Школа 284
Шторм 286

Эпилог 291